

Русский
литературный
анекдот
конца
XVIII~
~начала
XIX
века





Русский
литературный
анекдот
конца
XVIII~
~начала
XIX
века



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1990

ББК 84Р1
Р89

Вступительная статья

Е. КУРГАНОВА

Составление и примечания

Е. КУРГАНОВА и Н. ОХОТИНА

Художник

Г. КЛОДТ

Р $\frac{4702010101-419}{028(01)-90}$ 12-90

ISBN 5-280-01010-3

© Состав, вступительная статья, примечания, оформление. Издательство «Художественная литература», 1990 г.

«У НАС БЫЛА И ЕСТЬ УСТНАЯ ЛИТЕРАТУРА...»

В России анекдот как литературный жанр стал утверждаться в середине XVIII столетия. Воспринятый в ходе усвоения европейской (в первую очередь французской) традиции, в процессе ориентации на светскую культуру общения он достаточно быстро соединился с богатейшим национальным опытом, вобрав, в частности, в себя целый ряд живых особенностей русского народного анекдота. В результате возникло явление весьма органичное и своеобразное, хотя вместе с тем и существующее в рамках определенной культурной нормы.

Но настоящий расцвет жанра, его подлинный апогей пришелся на пушкинскую эпоху. Для этого были свои причины. Именно к середине двадцатых — началу тридцатых годов XIX столетия жанр русского анекдота, можно сказать, окончательно сложился, определились, выкристаллизовались его внутренние законы, традиции, репертуар сюжетов, круг и основные типы рассказчиков. Кроме того, в пушкинскую эпоху анекдот уже не просто был реальным и полноправным участником литературного процесса, но и начал осмысляться как достаточно важный и ценный элемент культуры, который, в силу устного характера бытования, легко может выдохнуться и забыться. Иначе говоря, явственно стала обозначаться тенденция к сохранению анекдота в национальной памяти. Однако происходило это при обстоятельствах достаточно драматичных.

Политическая дискредитация передового русского дворянства после восстания декабристов вызвала приток новых общественных сил (П. А. Вяземский назвал их «наемной сволочью»). Дворянской культуре, занимавшей до того главенствующее место в русской жизни, пришлось потесниться. Естественно, это отразилось и на неписаных законах общественного поведения. Воспитывавшаяся на протяжении нескольких поколений культура общения перестала быть определяющей нормой. И, как прямое следствие этого, ушел в быт и анекдот, довольно быстро потеряв ореол литературного жанра, к которому неизменно обращались лучшие русские писатели. Тогда-то под анекдотом и стали понимать нечто несерьезное, легковесное, малозначащее. Именно в ходе острого осознания того, что жанр уходит, выдыхается, что блистательные традиции его

меркнут, и были предприняты две фундаментальные попытки по спасению жанра: это «Table-talk» А. С. Пушкина и «Старая записная книжка» П. А. Вяземского. Показательно, что возникли они в ходе острой и непримиримой борьбы с так называемым «торговым» направлением в литературе, в процессе отстаивания лучших ценностей, созданных дворянской культурой. В круг этих ценностей и А. С. Пушкин и П. А. Вяземский включали не только создания архитектуры, музыки, литературы, но и совершенно особую сферу — искусство общения, устную словесную культуру, одним из ведущих жанров которой и был анекдот.

Какой же смысл вкладывали в него люди пушкинской эпохи? На этот естественный вопрос дать краткий, исчерпывающий ответ, к сожалению, практически невозможно. Под анекдотами тогда понимали и исторические сочинения, и литературные портреты, апологи, «невыдуманные повести». И все-таки существовало некое ядро, которое многое определяло в отношении к анекдоту: это требование неизвесности, неизданности, новизны. Более того, отвлекаясь от частных случаев, можно сказать, что в основе литературного анекдота лежал необычный случай, невероятное реальное происшествие.

В «Частной риторике» Н. Ф. Кошанского весьма точно было подмечено: «Цель его (анекдота): объяснить характер, показать черту какой-нибудь добродетели (иногда порока), сообщить любопытный случай, происшествие, новость...»¹ Понимание новости, неожиданности, невероятности, как ведущих черт анекдота, органично входит и в определение жанра, данное в «Энциклопедическом лексиконе» А. Плюшара (статья А. Никитенко): «...краткий рассказ какого-нибудь происшествия, замечательного по своей необычности, новости или неожиданности...» Выделив неожиданность, даже невероятность случая, лежащего в основе анекдота, А. Никитенко подчеркивает, что с особой силой данная тенденция реализуется в финале текстов: «Главнейшие черты хорошо рассказанного анекдота суть краткость, легкость и искусство сберечь силу или основную идею его к концу, и заключить оный чем-нибудь разительным и неожиданным»². Попробуем сейчас немного раскрыть и развернуть это краткое определение.

Итак, в центре анекдота находится странное, неожиданное, откровенно нелепое событие, выпадающее из повседневного течения жизни. Причем его нелепость нарастает и полностью разрешается лишь в бурном, остром финале. Более того, анекдот строится не просто на невероятном событии, а на событии, принципиально не совпадающем с читательскими или слушательскими ожиданиями.

¹ Кошанский Н. Ф. Частная риторика. СПб., 1832, с. 65—66.

² Энциклопедический лексикон. СПб., 1835, т. 2, с. 303.

Иначе говоря, внутренняя антиномичность, несовпадение прогноза с результатом, преподнесение откровенной «небывальщины» как самой очевидной реальности и определяют в главном суть той эстетической игры, на которой строится анекдот. Причем подача художественного вымысла или во всяком случае события достаточно невероятного не просто «работает» под действительность, ибо необычность и даже нелепость не скрыты, не затушеваны, а подчеркнуты, выделены. Это и есть то главное, что определяет феномен анекдота.

Хотя сфера бытования жанра устная, анекдот тем не менее представляет собой «особый вид словесного искусства» (Л. П. Гроссман), он несомненно литературен. Жанр демонстративно «играет» под действительность, ибо на самом деле тексты, создававшиеся по канонам анекдота, ни в коей мере не могут быть с этой действительностью отождествлены (как подметил В. Э. Вацуру, в анекдоте главный интерес переносится с фактической на психологическую достоверность события).

Но анекдот это не только и не просто игра. Он важен и интересен как своеобразная летопись времени, живая, необычайно колоритная, психологически достоверная, в лучших своих образцах доставляющая чисто эстетическое наслаждение.

Выше уже говорилось о роли финала в анекдоте, то есть о том, что принято называть его пуантом или острием. Однако часто финал анекдота не просто неожидан, но во многом и непредсказуем, осознанно непредсказуем (в этом суть жанра, так что в некотором смысле постижение анекдота можно сравнить с чтением захватывающего детектива) и даже зачастую вроде бы отделен от основного текста, как бы не вытекает из него, противоречит ему, изнутри взрывая сюжет, заставляя его играть и искриться. Так, в рассказе Д. Е. Цицианова об огромных пчелах — размером с воробья, — живущих в обыкновенных ульях, завершающая реплика («У нас в Грузии отговорок нет: ХОТЬ ТРЕСНИ, ДА ПОЛЕЗАЙ!») фактически не завершает основное развитие действия, а спорит с ним, переворачивает его, кардинально смещает акценты — и только тогда весь рассказ приобретает остроту, вырастает из рядового случая похвальбы и обычного бытового эпизода в подлинно художественный текст. Именно заключительная реплика цициановского «остроумного вымысла» (формулировка А. С. Пушкина) до конца убеждает, что рассказчик, говоря о диковинных пчелах, отнюдь не стремится ввести в заблуждение, он играет, импровизирует, творит, имея в виду произвести чисто эстетический эффект. В этом смысле финал текста отрицает все предыдущее изложение, строившееся как обычный случай похвальбы, отрицает стереотип читательского, а точнее слушательского восприятия и придает всему рассказу особую остроту и прелесть, вводя его в атмосферу подлинного творчества.

П. А. Вяземский как-то заметил, что француз, разрушая политические институты, не забудет остроумного слова, сказанного сто лет назад. Это был укор многим его современникам, которые, ниспровергая дворянскую империю, заодно отрицали и дворянскую культуру. Укор П. А. Вяземского и для нас должен явиться предостережением.

Анекдоты, эти эфемериды культуры, рассеяны по многочисленным (и далеко не всегда опубликованным) записным книжкам, дневникам, письмам, мемуарам. И сейчас этот искрящийся мир приходится воссоздавать буквально по крупицам. Наследие старинных русских рассказчиков и острословов не должно быть забыто.

Е. Курганов

ОТ ПЕТРА ДО ЕЛИЗАВЕТЫ





Государь (Петр I), заседаая однажды в Сенате и слушая дела о различных воровствах, за несколько дней до того случившихся, в гневе своем клялся пресечь оные и тотчас сказал тогдашнему генерал-прокурору Павлу Ивановичу Ягужинскому: «Сейчас напиши от моего имени указ во все государство такого содержания: что если кто и на столько украдет, что можно купить веревку, тот, без дальнейшего следствия, повешен будет». Генерал-прокурор, выслушав строгое повеление, взялся было уже за перо, но несколько поудержавшись, отвечал монарху: «Подумайте, Ваше Величество, какие следствия будет иметь такой указ?» — «Пиши, — прервал государь, — что я тебе приказал». — Ягужинский все еще не писал и наконец с улыбкою сказал монарху: «Всемиловитейший государь! Неужели ты хочешь остаться императором один, без служителей и подданных? Все мы ворует, с тем только различием, что один более и приметнее, нежели другой». Государь, погруженный в свои мысли, услышав такой забавный ответ, рассмеялся и замолчал. [12, с. 568.]

Привезли Петру Алексеевичу стальные русские изделия; показывал их после обеда гостям и хвалил отделку: не хуже-де английской. Другие вторили ему, а Головин-Бас, тот, что в Париже дивился, как там и ребятишки на улицах болтали по-французски, посмотрел на изделия, покачал головою и сказал: хуже! Петр Алексеевич хотел переуверить его; тот на своем стоял. Вышел из терпения Петр Алексеевич, схватил его за затылок и, приговаривая три раза «не хуже», дал ему в спину инструментом три добрых щелчка, а Бас три же раза твердил свое «хуже». С тем и разошлись. [67, с. 47.]

Один монах у архиерея, подавая водку Петру I, споткнулся и его облил, но не потерял рассудка и сказал: «На кого капля, а на тебя, государь, излился вся благодать». [92, с. 687.]

Шереметев под Ригою захотел поохотиться. Был тогда в нашей службе какой-то принц с поморья, говорили, из Мекленбургии. Петр Алексеевич ласкал его. Поехал и он за фельдмаршалом (Б. П. Шереметевым). Пока дошли до зверя, принц расспрашивал Шереметева о Мальте; как же не отвязывался и хотел знать, не ездил ли он еще куда из Мальты, то Шереметев провел его кругом всего света: вздумалось-де ему объехать уже всю Европу, взглянуть и на Царьград, и в Египте пожариться, посмотреть и на Америку. Румянцев, Ушаков, принц, обыкновенная беседа государева, воротились к обеду. За столом принц не мог довольно надивиться, как фельдмаршал успел объехать столько земель. «Да, я посылал его в Мальту». — «А оттуда где он ни был!» И рассказал все его путешествие. Молчал Петр Алексеевич, а после стола, уходя отдохнуть, велел Румянцеву и Ушакову остаться; отдавая потом им вопросные пункты, приказал взять по ним ответ от фельдмаршала, между прочим: от кого он имел отпуск в Царьград, в Египет, в Америку? Нашли его в пылу рассказа о собаках и зайцах. «И шутка не в шутку; сам иду с повинною головою», — сказал Шереметев. Когда же Петр Алексеевич стал журить его за то, что так дурачил иностранного принца: «Детина-то он больно плоховатый», — отвечал Шереметев. — Некуда было бежать от спросов. Так слушай же, подумал я, а он и уши развесил». [67, с. 50—52.]

Бирон, как известно, был большой охотник до лошадей. Граф Остейн, Венский министр при Петербургском Дворе, сказал о нем: «Он о лошадях говорит как человек, а о людях как лошадь». [29, с. 55.]

Во время коронации Анны Иоанновны, когда государыня из Успенского собора пришла в Грановитую палату, которой внутренность старец описал с удивительною точностию, и поместилась на троне, вся свита установилась на свои места, то вдруг государыня встала и с важностию сошла со ступеней трона. Все изумились, в церемониале этого указано не было. Она прямо подошла к князю Василию Лукичу Долгорукову, взяла его за нос, — «нос был большой, батюшка», — пояснил старец, — и повела его около среднего столба, которым поддер-

живаются своды. Обведя кругом и остановясь против портрета Грозного, она спросила:

— Князь Василий Лукич, ты знаешь, чей это портрет?

— Знаю, матушка государыня!

— Чей он?

— Царя Ивана Васильевича, матушка.

— Ну, так знай же и то, что хотя баба, да такая же буду, как он: вас семеро дураков сбиралось водить меня за нос, я тебя прежде провела, убирайся сейчас в свою деревню, и чтоб духом твоим не пахло! [135, с. 101—102.]

«Государыня *〈Елизавета Петровна〉*,— сказал он *〈генерал-полицмейстер А. Д. Татищев〉* придворным, съехавшимся во дворец,— чрезвычайно огорчена донесениями, которые получает из внутренних губерний о многих побегах преступников. Она велела мне изыскать средство к пресечению сего зла: средство это у меня в кармане».— «Какое?» — спросили его. «Вот оно»,— отвечал Татищев, вынимая новые знаки для клеймения. «Теперь,— продолжал он,— если преступники и будут бегать, так легко их ловить».— «Но,— возразил ему один присутствовавший,— бывают случаи, когда иногда невинный получает тяжкое наказание и потом невинность его обнаруживается: каким образом избавите вы его от поносительных знаков?» — «Весьма удобным,— отвечал Татищев с улыбкою,— стоит только к словам *«вор»* прибавить еще на лице две литеры *«не»*. Тогда новые стемпели были разосланы по Империи... [12, с. 397—398.]

Князь Никита *〈Трубецкой〉* был с грехом пополам. Лопухиным, мужу и жене, урезали языки и в Сибирь сослали их по его милости; а когда воротили их из ссылки, то он из первых прибежал к немым с поздравлением о возвращении. По его же милости и Апраксина, фельдмаршала, паралич разбил. В Семилетнюю войну и он был главнокомандующим. Оттуда (за что, то их дело) перевезли его в подозрный дворец, что у Трех Рук, и там был над ним кригсрат, а презусом в нем князь Никита. Содержался он под присмотром капрала. Елисавета Петровна (такая добрая, что однажды, зави-

дев гурт быков и на спрос, куда гнали, услышав, что гнали на бойню, велела воротить его на царскосельские свои луга, а деньги за весь гурт выдала из Кабинета), едучи в Петербург, заметила как-то Апраксина на крыльце подзорного и приказала немедля кончить его дело, и если не окажется ничего нового, то объявить ему тотчас и без доклада ей монаршую милость. Презус надоумил ассессоров, что когда на допросе он скажет им «приступить к последнему», то это и будет значить объявить монаршую милость. «Что ж, господа, приступить бы к последнему?» Старик от этого слова затрясся, подумал, что станут пытаться его, и скоро умер. [67, с. 57—59.]

Шувалов, заспорив однажды с Ломоносовым, сказал сердито: «Мы отставим тебя от Академии». — «Нет, — возразил великий человек: — разве Академию отставите от меня». [81а, с. 67.]

Действительный тайный советник князь Иван Васильевич Одоевский, любимец Елизаветы, почитался в числе первейших лжецов. Остроумный сын его, Николай Иванович (умер в 1798 г.), шутя говорил, что отец его на исповеди отвечал: «и на тех лгах, иже аз не знах». [92, с. 695.]



И. А. БАЛАКИРЕВ

Остроумный Балакирев, поражая бояр и чиновников насмешками и проказами, нередко осмеливался и государю делать сильные замечания и останавливать его в излишествах хитрыми выдумками, за что часто подвергался его гневу и собственной своей ссылке, но по своей к нему преданности не щадил самого себя.

Однажды случилось ему везти государя в одноколке. Вдруг лошадь остановилась посреди лужи для известной надобности. Шут, недовольный остановкою, ударил

ее и примолвил, искоса поглядывая на соседа: «Точь-в-точь Петр Алексеевич!» — «Кто?» — спросил государь. «Да эта кляча», — отвечал хладнокровно Балакирев. «Почему так?» — закричал Петр, вспыхнув от гнева, да так... «Мало ли в этой луже дряни; а она все еще подбавляет ее; мало ли у Данилыча всякого богатства, а ты все еще пичкаешь», — сказал Балакирев. [79, с. 20.]

Однажды государь спорил о чем-то несправедливо и потребовал мнения Балакирева; он дал резкий и грубый ответ, за что Петр приказал его посадить на гауптвахту, но, узнавши потом, что Балакирев сделал справедливый, хотя грубый ответ, приказал немедленно его освободить. После того государь обратился опять к Балакиреву, требуя его мнения о другом деле. Балакирев вместо ответа, обратившись к стоявшим подле него государевым пажам, сказал им: «Голубчики мои, ведите меня поскорее на гауптвахту». [79, с. 21.]

— Знаешь ли ты, Алексеич! — сказал однажды Балакирев государю при многих чиновниках, — какая разница между колесом и стряпчим, то есть вечным приказным?

— Большая разница, — сказал, засмеявшись, государь, — но ежели ты знаешь какую-нибудь особенную, так скажи, и я буду ее знать.

— А вот видишь какая: одно криво, а другое кругло, однако это не диво; а то диво, что они как два братца родные друг на друга походят.

— Ты заврался, Балакирев, — сказал государь, — никакого сходства между стряпчим и колесом быть не может.

— Есть, дядюшка, да и самое большое.

— Какое же это?

— И то и другое надобно почаще смазывать... [77, с. 40.]

Один из камергеров был очень близорук и всячески старался скрывать этот недостаток. Балакирев беспрестанно трунил над ним, за что однажды получил пощечину, и решился непременно отплатить за обиду.

Однажды во время вечерней прогулки императрицы по набережной Фонтанки Балакирев увидел на противоположном берегу, в окне одного дома, белого пуделя.

— Видите ли вы, господин камергер, этот дом? — спросил Балакирев.

— Вижу, — отвечал камергер.

— А видите ли открытое окно на втором этаже?

— Вижу.

— Но подержу пари, что вы не видите женщины, сидящей у окна, в белом платке на шее.

— Нет, вижу, — возразил камергер.

Всеобщий хохот удовлетворил мщению Балакирева. [77, с. 81.]

В одну из ассамблей Балакирев наговорил много лишнего, хотя и справедливого. Государь, желая остановить его и вместе с тем наградить, приказал, как бы в наказание, по установленному порядку ассамблей, подать кубок большого орла.

— Помилуй, государь! — вскричал Балакирев, упав на колена.

— Пей, говорят тебе! — сказал Петр как бы с гневом.

Балакирев выпил и, стоя на коленях, сказал умоляющим голосом:

— Великий государь! Чувствую вину свою, чувствую милостивое твое наказание, но знаю, что заслуживаю двойного, нежели то, которое перенес. Совесть меня мучит! Повели подать другого орла, да побольше; а то хоть и такую парочку! [77, с. 58.]

По окончании с Персиею войны многие из придворных, желая посмеяться над Балакиревым, спрашивали его: что он там видел, с кем знаком и чем он там занимался. Шут все отмалчивался. Вот однажды в присутствии государя и многих вельмож один из придворных спросил его: «Да знаешь ли ты, какой у персиян язык?»

— И очень знаю, — отвечал Балакирев.

Все вельможи удивились. Даже и государь изумился. Но Балакирев то и твердит, что «знаю».

— Ну а какой же он? — спросил шутя Меншиков.

— Да такой красной, как и у тебя, Алексаша,— отвечал шут.

Вельможи все засмеялись, и Балакирев был доволен тем, что верх остался на его стороне. [78, с. 41—42.]

Один придворный спросил Балакирева:

— Не знаешь ли ты, отчего у меня болят зубы?

— Оттого,— отвечал шут,— что ты их беспрестанно колотишь языком.

Придворный был точно страшный говорун и должен перенести насмешку Балакирева без возражений. [78, с. 46.]

Некогда одна бедная вдова заслуженного чиновника долгое время ходила в Сенат с прошением о пансионе за службу ее мужа, но ей отказывали известной поговоркой: «Приди, матушка, завтра». Наконец она прибегнула к Балакиреву, и тот взялся ей помочь.

На другой день, нарядив ее в черное платье и наклеив на оное бумажные билетцы с надписью «приди завтра», в сем наряде поставил ее в проходе, где должно проходить государю. И вот приезжает Петр Великий, всходит на крыльцо, видит сию женщину, спрашивает: «Что это значит?» Балакирев отвечал: «Завтра узнаешь, Алексеич, об этом!» — «Сей час хочу!» — вскричал Петр. «Да ведь мало ли мы хотим, да не все так делается, а ты взойди прежде в присутствие и спроси секретаря; коли он не скажет тебе «завтра», как ты тотчас же узнаешь, что это значит».

Петр, сметив сие дело, взошел в Сенат и грозно спросил секретаря: «Об чем просит та женщина?» Тот побледнел и сознался, что она давно уже ходит, но что не было времени доложить Вашему Величеству.

Петр приказал, чтобы тотчас исполнили ее просьбу, и долго после сего не было слышно «приди завтра». [78, с. 46—48.]

«Точно ли говорят при дворе, что ты дурак?» — спросил некто Балакирева, желая ввести его в замешательство и тем пристыдить при многих особах. Но он отвечал: «Не верь им, любезный, они ошибаются, только людей морочат, да мало ли, что они говорят? Они и тебя

называют умным; не верь им, пожалуйста, не верь». [78, с. 24.]

Петр I спросил у шута Балакирева о народной молве насчет новой столицы Санкт-Петербурга.

— Царь-государь! — отвечал Балакирев. — Народ говорит: с одной стороны море, с другой — горе, с третьей — мох, а с четвертой — ох!

Петр, распалась гневом, закричал «ложись!» и несколько раз ударил его дубиной, приговаривая сказанные им слова. [92, с. 686.]



ЯН Д'АКОСТА

Один молодец, женись на дочери Д'Акосты, нашел ее весьма непостоянною и, узнав то, всячески старался ее исправить. Но, усмотрев в том худой успех, жаловался ее отцу, намекая, что хочет развестись с женой. Д'Акоста, в утешение зятю, сказал: «Должно тебе, друг, терпеть. Ибо мать ее была такова же; и я также не мог найти никакого средства; да после, на 60-м году, сама исправилась. И так думаю, что и дочь ее, в таких летах, будет честною, и рекомендую тебе в том быть благонадежно». [77, с. 99.]

Д'Акоста, будучи в церкви, купил две свечки, из которых одну поставил перед образом Михаила-архангела, а другую, ошибкой, перед демоном, изображенным под стопами архангела.

Дьячок, увидя это, сказал Д'Акосте:

— Ах, сударь! Что вы делаете? Ведь эту свечку ставите вы дьяволу!

— Не замай, — ответил Д'Акоста, — не худо иметь друзей везде: в раю и в аду. Не знаем ведь, где будем. [77, с. 101.]

Известный силач весьма осердился за грубое слово, сказанное ему Д'Акостою.

«Удивляюсь,— сказал шут,— как ты, будучи в состоянии подымать одною рукою до шести пудов и переносить такую тяжесть через весь Летний сад, не можешь перенести одного тяжелого слова?» [77, с. 102.]

Когда Д'Акоста отправлялся из Португалии, морем, в Россию, один из провожавших его знакомцев сказал:

— Как не боишься ты садиться на корабль, зная, что твой отец, дед и прадед погибли в море!

— А твои предки каким образом умерли? — спросил в свою очередь Д'Акоста.

— Преставились блаженною кончиною на своих постелях.

— Так как же ты, друг мой, не боишься еженощно ложиться в постель? — возразил Д'Акоста. [77, с. 103.]

На одной вечеринке, где присутствовал и Д'Акоста, все гости слушали музыканта, которого обещали наградить за его труд. Когда дело дошло до расплаты, один Д'Акоста, известный своею скупостью, ничего не дал. Музыкант громко на это жаловался.

«Мы с тобой квиты,— отвечал шут,— ибо ты утешал мой слух приятными звуками; а я твой — приятными же обещаниями». [77, с. 104.]

Контр-адмирал Вильбоа, эскадр-майор его величества Петра Первого, спросил однажды Д'Акосту:

— Ты, шут, человек на море бывалой. А знаешь ли, какое судно безопаснейшее?

— То,— отвечал шут,— которое стоит в гавани и назначено на сломку. [77, с. 111.]

Д'Акоста, человек весьма начитанный, очень любил книги. Жена его, жившая с мужем не совсем ладно, в одну из минут нежности сказала:

— Ах, друг мой, как желала бы я сама сделаться книгою, чтоб быть предметом твоей страсти!

— В таком случае я хотел бы иметь тебя календарем, который можно менять ежегодно,— отвечал шут. [77, с. 114.]

Имея с кем-то тяжбу, Д'Акоста часто прихаживал в одну из коллегий, где наконец судья сказал ему однажды:

— Из твоего дела я, признаться, не вижу хорошего для тебя конца.

— Так вот вам, сударь, хорошие очки,— отвечал шут, вынув из кармана и подав судье пару червонцев. [77, с. 116.]

Другой судья, узнав об этом и желая себе того же, спросил однажды Д'Акосту:

— Не снабдите ли вы и меня очками?

Но как он был весьма курнос и дело Д'Акосты было не у него, то шут сказал ему:

— Прежде попросите, сударь, чтоб кто-нибудь ссудил вас порядочным носом. [77, с. 116.]

Сказывают, что гоф-хирург Лесток имел привычку часто повторять поговорку «благодаря Бога и вас». Д'Акоста, ненавидевший Лестока за его шашни с женой и дочерьми его, Д'Акосты, однажды, в большой компании, на вопрос Лестока:

— Сколько у такого-то господина детей?

Отвечал ему громко:

— Пятеро, благодаря Бога и вас. [77, с. 117.]

Князь Меншиков, рассердясь за что-то на Д'Акосту, крикнул:

— Я тебя до смерти прибую, негодный!

Испуганный шут со всех ног бросился бежать и, прибежав к государю, жаловался на князя.

— Ежели он тебя доподлинно убьет,— улыбаясь говорил государь,— то я велю его повесить.

— Я того не хочу,— возразил шут,— но желаю, чтоб Ваше Царское Величество повелели его повесить прежде, пока я жив. [77, с. 120.]

Жена Д'Акосты была очень малого роста, и когда шута спрашивали, зачем он, будучи человек разумный, взял за себя почти карлицу, то он отвечал:

— Признав нужным жениться, я заблагорассудил выбрать из зол, по крайней мере, меньшее. [77, с. 121.]

Несмотря на свой малый рост, женщина эта была сварливого характера и весьма зла. Однако Д'Акоста прожил с нею более двадцати пяти лет. Приятели его, когда исполнился этот срок, просили его праздновать серебряную свадьбу.

— Подождите, братцы, еще пять лет,— отвечал Д'Акоста,— тогда будем праздновать тридцатилетнюю войну. [77, с. 121.]

В царствование Петра посетил какой-то чужестранец новопостроенный Петербург. Государь принял его ласково, и, вследствие того, все вельможи взапуски приглашали к себе заезжего гостя, кто на обед, кто на ассамблею.

Чужестранец этот, между прочим, рассказывал, что он беспрестанно ездит по чужим землям и только изредка заглядывает в свою.

— Для чего же ведете вы такую странническую жизнь? — спрашивали его другие.

— И буду вести ее, буду странствовать до тех пор, пока найду такую землю, где власть находится в руках честных людей и заслуги вознаграждаются.

— Ну, батюшка,— возразил Д'Акоста, случившийся тут же,— в таком случае вам наверное придется умереть в дороге. [77, с. 121—122].

Д'Акоста, несмотря на свою скупость, был много должен и, лежа на смертном одре, сказал духовнику:

— Прошу Бога продлить мою жизнь хоть на то время, пока выплачу долги.

Духовник, принимая это за правду, отвечал:

— Желание зело похвальное. Надейся, что Господь его услышит и авось либо исполнит.

— Ежели б Господь и впрямь явил такую милость,— шепнул Д'Акоста одному из находившихся тут же своих друзей,— то я бы никогда не умер. [77, с. 124—125.]



АНТОНИО ПЕДРИЛЛО

Однажды Педрилло был поколочен кадетами Сухопутного Шляхетного корпуса. Явившись с жалобой к директору этого корпуса барону Люберасу, Педрилло сказал ему:

— Ваше Превосходительство! Меня обидели бездельники из этого дома, а ты, говорят, у них главный. Защити же и помилуй! [77, с. 138.]

Педрилло дал пощечину одному истопнику, и за это был приговорен к штрафу в три целковых.

Бросив на стол вместо трех шесть целковых, Педрилло дал истопнику еще пощечину и сказал:

— Ну, теперь мы совсем квиты. [77, с. 139.]

Жена Педрилло была нездорова. Ее лечил доктор, спросивший как-то Педрилло:

— Ну что, легче ли жене? Что она сегодня ела?

— Говядину,— отвечал Педрилло.

— С аппетитом? — любопытствовал доктор.

— Нет, с хреном,— простодушно изъяснил шут. [77, с. 140.]

Василий Кириллович ТрEDIAковский, известный пиит и профессор элоквенции, споря однажды о каком-то ученом предмете, был недоволен возражениями Педрилло и насмешливо спросил его:

— Да знаешь ли, шут, что такое, например, знак вопросительный?

Педрилло, окинув быстрым, выразительным взглядом малорослого и сутуловатого ТрEDIAковского, отвечал без запинки:

— Знак вопросительный — это маленькая горбатая фигурка, делающая нередко весьма глупые вопросы. [77, с. 140—141.]

Генерал-лейтенант А. И. Тараканов в присутствии Педрилло рассказывал, что во время Крымской кампании 1738 года даже генералы вынуждены были есть лошадей.

Педрилло изъявил живое сожаление о таком бедствии, и генерал в лестных выражениях благодарил шута за его участие.

— Ошибаетесь, Ваше Превосходительство,— отвечал Педрилло,— я жалею не вас, а лошадей. [77, с. 147.]

В одном обществе толковали о привидениях, которых Педрилло отвергал положительно. Но сосед его, какой-то придворный, утверждал, что сам видал дважды при лунном свете человека без головы, который должен быть не что иное, как привидение одного зарезанного старика.

— А я убежден, что этот человек без головы — просто ваша тень, господин гоф-юнкер,— сказал Педрилло. [77, с. 154.]

Когда Педрилло находился еще в Италии, один сосед попросил у него осла. Педрилло уверял его, что отдал осла другому соседу, и сожалел, что просивший не сказал о своей надобности прежде. Пока они разговаривали, Педриллин осел закричал.

— А! — молвил сосед,— твой осел сам говорит, что он дома и что ты лжешь.

— Как же тебе не стыдно, соседушка, верить ослу больше, нежели мне,— возразил шут. [77, с. 154.]

Один флорентинский итальянец, обокрав сочинение тамошнего писателя г. Данта и наполнив собственное сочинение его стихами, читал свое мастерство Педрилло. Шут при каждом украденном стихе снимал колпак и кланялся.

— Что вы делаете, г. Педрилло? — спросил мнимый автор.

— Кланяюсь старым знакомым,— отвечал Педрилло. [77, с. 155.]

Герцог Бирон для вида имел у себя библиотеку, директором которой назначил он известного глупца.

Педрилло с этих пор называл директора герцогской

библиотеки не иначе как евнухом. И когда у Педрилло спрашивали:

— С чего взял ты такую кличку?

То шут отвечал:

— Как евнух не в состоянии пользоваться одалисками гарема, так и господин Гольдбах — книгами управляемой им библиотеки его светлости. [77, с. 147—148.]

Быв проездом в Риге, Педрилло обедал в трактире и остался недоволен столом, а еще больше — высокой платой за порции. В намерении отомстить за это он при всех спросил толстого немца-трактирщика:

— Скажи-ка, любезный, сколько здесь, в Риге, свиней, не считая тебя?

Взбешенный немец замахнулся на Педрилло.

— Постой, братец, постой! Я виноват, ошибся. Хотел спросить: сколько здесь, в Риге, свиней с тобою! [77, с. 143—144.]

На одном большом обеде против Педрилло сидел один придворный, известный мот, проюрдонивший все свое состояние. Слыша чье-то замечание, что придворный этот ничего не кушает, шут возразил:

— Что ж тут мудреного? Он уже все свое скушал! [77, с. 144.]

Педрилло, прося герцога Бирона о пенсии за свою долгую службу, приводил в уважение, что ему нечего есть. Бирон назначил шуту пенсию в 200 рублей.

Спустя несколько времени шут опять явился к герцогу с просьбою о пенсии же.

— Как, разве тебе не назначена пенсия?

— Назначена, Ваша Светлость! и благодаря ей я имею, что есть. Но теперь мне решительно нечего пить.

Герцог улыбнулся и снова наградил шута. [77, с. 149.]

Поваренок, украв с кухни Педрилло рыбу, уносил ее под фартуком, который был так короток, что рыбий

хвост торчал из-под него наружу. Увидев это, Педрилло кликнул вора:

— Эй, малый! Коли вперед вздумаешь красть, то бери рыбу покороче или надевай фартук подлиннее. [77, с. 149.]

Брат жены Педрилло, выдав дочь замуж, просил Педрилло не сухо принять нового родича.

Педрилло выпросил у Густава Бирона часа на два пожарную трубу Измайловского полка и, установив ее как раз против двери, в которую должен был входить новый родич, наполнил заливной рукав водой.

Лишь только гость показался в дверях, Педрилло собственноручно отвернул все клапаны заливного рукава и окатил гостя с головы до ног.

— Скажи же тестю, что я исполнил его желание и принял тебя, как видишь, не сухо. [77, с. 150—151.]

Граф Вратислав, цесарский посол при русском дворе, любил кичиться своими предками. Заметив это, Педрилло сказал ему однажды в присутствии большого общества:

— Тот, кто хвалится только одними предками, уподобляет себя картофелю, которого все лучшее погребено в земле. [77, с. 151.]

Отобедав однажды в соседнем трактире, Педрилло хватился, что с ним нет кошелька, и просил трактирщика обождать уплату до следующего раза. Но трактирщик был неумолим и снял с Педрилло верхнее платье, которое оставил у себя в залог.

Педрилло решился отомстить. В этих видах он, квартируя рядом с трактиром, начал прикармливать трактирную птицу: кур, цыплят, гусей и индеек. И когда птица эта, привыкнув захаживать к Педрилло, была вся в сборе у шута, он оципал с нее все перья и в таком виде отпустил кур, цыплят, гусей и индеек домой. Трактирщик взбесился.

— Я поступил с ними точно так, как ты со мною, — говорил в свое оправдание шут. — Я потребовал с них денег за месячный корм. Они не могли заплатить — и я снял с них верхнее платье. [77, с. 152.]

В Петербурге ожидали солнечного затмения. Педрилло, хорошо знакомый с профессором Крафтом, главным петербургским астрономом, пригласил к себе компанию простаков, которых уверил, что даст им возможность видеть затмение вблизи; между тем велел подать пива и угощал им компанию. Наконец, не сообразив, что время затмения уже прошло, Педрилло сказал:

— Ну, господа, нам ведь пора.

Компания поднялась и отправилась на другой конец Петербурга. Приехали, лезут на башню, с которой следовало наблюдать затмение.

— Куда вы,— заметил им сторож,— затмение уж давно кончилось.

— Ничего, любезный,— возразил Педрилло,— астроном мне знаком — и все покажет сначала. [77, с. 155—156.]



М. А. ГОЛИЦЫН (КВАСНИК, КУЛЬКОВСКИЙ)

В одном обществе очень пригоженькая девица сказала Кульковскому:

— Кажется, я вас где-то видела.

— Как же, сударыня! — тотчас отвечал Кульковский,— я там весьма часто бываю. [77, с. 174.]

До поступления к герцогу <Бирону> Кульковский был очень беден. Однажды ночью забрались к нему воры и начали заниматься приличным званию их мастерством.

Проснувшись от шума и позевывая, Кульковский сказал им, нимало не сердясь:

— Не знаю, братцы, что вы можете найти здесь в потемках, когда я и днем почти ничего не нахожу. [77, с. 174—175.]

— Вы всегда любезны! — сказал Кульковский одной благородной девушке.

— Мне бы приятно было и вам сказать то же,— отвечала она с некоторым сожалением.

— Помилуйте, это вам ничего не стоит! Возьмите только пример с меня — и солгите! — отвечал Кульковский. [77, с. 175.]

Известная герцогиня Бенигна Бирон была весьма обижена оспой и вообще на взгляд не могла назваться красивою, почему, сообразно женскому кокетству, старалась прикрывать свое безобразие белилами и румянами. Однажды, показывая свой портрет Кульковскому, спросила его:

— Есть ли сходство?

— И очень большое, — отвечал Кульковский, — ибо портрет походит на вас более, нежели вы сами.

Такой ответ не понравился герцогине, и, по приказанию ее, дано было ему 50 палок. [77, с. 176.]

Вскоре после того на куртаге, бывшем у Густава Бирона, находилось много дам чрезмерно разурмяненных. Придворные, зная случившееся с Кульковским и желая ему посмеяться, спрашивали:

— Которая ему кажется пригожее других?

Он отвечал:

— Этого сказать не могу, потому что в живописи я не искусен. [77, с. 176.]

Но когда об одном живописце говорили с сожалением, что он пишет прекрасные портреты, а дети у него очень непригожи, то Кульковский сказал:

— Что же тут удивительного: портреты он делает днем... [77, с. 177.]

Одна престарелая вдова, любя Кульковского, оставила ему после смерти свою богатую деревню. Но молодая племянница этой госпожи начала с ним спор за такой подарок, не по праву ему доставшийся.

— Государь мой! — сказала она ему в суде, — вам досталась эта деревня за очень дешевую цену!

Кульковский отвечал ей:

— Сударыня! Если угодно, я вам ее с удовольствием уступлю за ту же самую цену. [77, с. 177.]

Один подьячий сказал Кульковскому, что соперница его перенесла свое дело в другой приказ.

— Пусть переносит хоть в ад,— отвечал он,— мой поверенный за деньги и туда за ним пойдет! [77, с. 177.]

Профессор элоквенции Василий Кириллович Тредиаковский также показывал свои стихи Кульковскому. Однажды он поймал его во дворце и, от скуки, предложил прочесть целую песнь из одной «Тилемахиды».

— Которые тебе, Кульковский, из стихов больше нравятся? — спросил он, окончив чтение.

— Те, которых ты еще не читал! — отвечал Кульковский. [77, с. 179.]

Кульковский ухаживал за пригожей и миловидной девицею. Однажды, в разговорах, сказала она ему, что хочет знать ту особу, которую он более всего любит. Кульковский долго отговаривался и наконец, в удовлетворение ее любопытства, обещал прислать ей портрет той особы. Утром получила она от Кульковского сверток с небольшим зеркалом и, поглядевшись, узнала его любовь к ней. [77, с. 180.]

Однажды Бирон спросил Кульковского:

— Что думают обо мне россияне?

— Вас, Ваша Светлость,— отвечал он,— одни считают Богом, другие сатаню и никто — человеком. [77, с. 183.]

Прежний сослуживец Кульковского поручик Гладков, сидя на ассамблее с маркизом де ля Шетардием, хвастался ему о своих успехах в обращении с женщинами. Последний, наскучив его самохвальством, встал и, не говоря ни слова, ушел.

Обиженный поручик Гладков, обращаясь к Кульковскому, сказал:

— Я думал, что господин маркиз не глуп, а выходит, что он рта разинуть не умеет.

— Ну и врешь! — сказал Кульковский,— я сам видел, как он во время твоих рассказов раз двадцать зевнул. [77, с. 183—184.]

Другой сослуживец Кульковского был офицер по фамилии Гунд, что с немецкого языка по переводу на русский значит собака. Две очень старые старухи перессорились за него и чуть не подрались.

Кульковский сказал при этом:

— Часто мне случалось видеть, что собаки грызутся за кость, но в первый раз вижу, что кости грызутся за собаку. [77, с. 184.]

Пожилая госпожа, будучи в обществе, уверяла, что ей не более сорока лет от роду. Кульковский, хорошо зная, что ей уже за пятьдесят, сказал:

— Можно ей поверить, потому что она больше десяти лет в этом уверяет. [77, с. 184.]

Известный генерал Д. (А. А. фон Девиц) на восьмидесятом году от роду женился на молоденькой и прехорошенькой немке из города Риги. Будучи знаком с Кульковским, писал он к нему из этого города о своей женитьбе, прибавляя при этом:

— Конечно, я уже не могу надеяться иметь наследников.

Кульковский ему отвечал:

— Конечно, не можете надеяться, но всегда должны опасаться, что они будут. [77, с. 185.]

Сам Кульковский часто посещал одну вдову, к которой ходил и один из его приятелей, лишившийся ноги под Очаковым, а потому имевший вместо нее деревяшку.

Когда вдова показала с плодом, то Кульковский сказал приятелю:

— Смотри, братец, ежели ребенок родится с деревяшкою, то я тебе и другую ногу перешибу. [77, с. 185.]

Двух кокеток, между собою поссорившихся, спросил Кульковский:

— О чем вы бранитесь?

— О честности, — отвечали оне.

— Жаль, что вы взбесились из-за того, чего у вас нет, — сказал он. [77, с. 186.]

Кульковский однажды был на загородной прогулке, в веселой компании молоденьких и красивых девиц. Гуляя полем, они увидели молодого козленка.

— Ах, какой миленький козленок! — закричала одна из девиц.— Посмотрите, Кульковский, у него еще и рогов нет.

— Потому что он еще не женат,— подхватил Кульковский. [77, с. 186.]

Красивая собою и очень веселая девица, разговаривая с Кульковским, между прочим смеялась над многоженством, дозволенным магометанам.

— Они бы, сударыня, конечно, с радостью согласились иметь по одной жене, если бы все женщины были такие, как вы,— сказал ей Кульковский. [77, с. 187.]

При всей красоте своей и миловидности девица эта была очень худощава, поэтому и спрашивали Кульковского:

— Что привязало его к такой сухопарой и разве не мог он найти поплнее?

— Это правда, она худощава,— отвечал он,— но ведь от этого я ближе к ее сердцу и тем короче туда дорога. [77, с. 188.]

Молодая и хорошенькая собою дама на бале у герцога Бирона сказала во время разговоров о дамских нарядах:

— Нынче все стало так дорого, что скоро нам придется ходить нагими.

— Ах, сударыня! — подхватил Кульковский,— это было бы самым лучшим нарядом. [77, с. 186.]

На параде, во время смотра войск, при бывшей тесноте, мошеник, поместившись за Кульковским, отрезал пуговицы с его кафтана. Кульковский, заметив это и улучив время, отрезал у вора ухо.

Вор закричал:

— Мое ухо.

А Кульковский:

- Мои пуговицы!
- На! На! вот твои пуговицы!
- Вот и твое ухо! [77, с. 190.]

Герцог Бирон послал однажды Кульковского быть вместо себя приемником от купели сына одного камер-лакея. Кульковский исполнил это в точности, но когда докладывал о том Бирону, то сей, будучи чем-то недоволен, назвал его ослом.

— Не знаю, похож ли я на осла,— сказал Кульковский,— но знаю, что в этом случае я совершенно представлял вашу особу. [77, с. 191.]

В то время когда Кульковский состоял при Бироне, почти все служебные должности, особенно же медицинские, вверялись только иностранцам, весьма часто вовсе не искусным.

Осмеивая этот обычай, Кульковский однажды сказал своему пуделю:

— Неудача нам с тобой, мой Аспид: родись ты только за морем, быть бы тебе у нас коли не архиатером (главным врачом), то, верно, фельдмедикусом (главный врач при армии в походе). [77, с. 144.]

Старик Кульковский, уже незадолго до кончины, пришел однажды рано утром к одной из молодых и очень пригожих оперных певиц.

Узнав о приходе Кульковского, она поспешила встать с постели, накинуть пеньюар и выйти к нему.

— Вы видите,— сказала она,— для вас встанут с постели.

— Да,— отвечал Кульковский вздыхая,— но уже не для меня делают противное. [77, с. 144.]



А. П. СУМАРКОВ

На экземпляре старинной книжки: «Честный человек и плут. Переведено с французского. СПб., 1762» записано покойным А. М. Евреиновым следующее:

«Сумароков, сидя в книжной лавке, видит человека, пришедшего покупать эту книгу, и спрашивает: «От кого?» Тот отвечает, что его господин Афанасий Григорьевич Шишкин послал его купить оную. Сумароков говорит слуге: «Разорви эту книгу и отнеси Честного человека к свату твоего брата Якову Матвеевичу Евреинову, а Плута — своему господину вручи». [6, стлб. 0197.]

На другой день после представления какой-то трагедии сочинения Сумарокова к его матери приехала какая-то дама и начала расхваливать вчерашний спектакль. Сумароков, сидевший тут же, с довольным лицом обратился к приезжей даме и спросил:

— Позвольте узнать, сударыня, что же более всего понравилось публике?

— Ах, батюшка, дивертисмен!

Тогда Сумароков вскочил и громко сказал матери:

— Охота вам, сударыня, пускать к себе таких дура! Подобным дурам только бы горох полоть, а не смотреть высокие произведения искусства! — и тотчас убежал из комнаты. [53, стлб. 957—958.]

Однажды, на большом обеде, где находился и отец Сумарокова, Александр Петрович громко спросил присутствующих:

— Что тяжелее, ум или глупость?

Ему отвечали:

— Конечно, глупость тяжелее.

— Вот, вероятно, оттого батюшку и возят цугом в шесть лошадей, а меня парой.

Отец Сумарокова был бригадир, чин, дававший право ездить в шесть лошадей; штаб-офицеры ездили четверкой с фореитором, а обер-офицеры парой. Сумароков был еще обер-офицером... [53, стлб. 958.]

Барков всегда дразнил Сумарокова. Сумароков свои трагедии часто прямо переводил из Расина и других. Например:

у Расина:

«Contre vous, contre moi, vainement je m'éprouve.
Présent je vous fuis, absent je vous trouve!»

у Сумарокова:

«Против тебя, себя я тщетно вооружался!
Не зря тебя искал, а видя удалялся».

Барков однажды выпросил у Сумарокова сочинения Расина, все подобные места отметил, на полях подписал: «Украдено у Сумарокова» и возвратил книгу по принадлежности. [53, стлб. 958.]

В какой-то годовой праздник, в пребывание свое в Москве, приехал он с поздравлением к Н. П. Архарову и привез новые стихи свои, напечатанные на особенных листках. Раздав по экземпляру хозяину и гостям знакомым, спросил он о имени одного из посетителей, ему неизвестного. Узнав, что он чиновник полицейский и доверенный человек у хозяина дома, он и его подарил экземпляром. Общий разговор коснулся до драматической литературы; каждый возносил свое мнение. Новый знакомец Сумарокова изложил и свое, которое, по несчастью, не попало на его мнение. С живостью встав с места, подходит он к нему и говорит: «Прошу покорнейше отдать мне мои стихи, этот подарок не по вас». [29, с. 21.]

Барков заспорил однажды с Сумароковым о том, кто из них скорее напишет оду. Сумароков заперся в своем кабинете, оставя Баркова в гостиной. Через четверть часа Сумароков выходит с готовой одою и не застаёт уже Баркова. Люди докладывают, что он ушел и приказал сказать Александру Петровичу, что-де его *дело в шляпе*. Сумароков догадывается, что тут какая-нибудь проказа. В самом деле, видит он на полу свою шляпу и ——— [81, с. 157—158.]

Сумароков очень уважал Баркова как ученого и острого критика и всегда требовал его мнения касательно своих сочинений. Барков пришел однажды к Сумарокову.

— Сумароков великий человек! Сумароков первый русский стихотворец! — сказал он ему.

Обрадованный Сумароков велел тотчас подать ему водки, а Баркову только того и хотелось. Он напился пьян. Выходя, сказал он ему:

— Александр Петрович, я тебе солгал: первый-то русский стихотворец — я, второй Ломоносов, а ты только что третий.

Сумароков чуть его не зарезал. [81, с. 170.]

Под конец своей жизни Сумароков жил в Москве, в Кудрине, на нынешней площади. Дядя (И. И. Дмитриев) мой был 17 лет, когда он умер. Сумароков уже был предан пьянству без всякой осторожности. Нередко видал мой дядя, как он отправлялся пешком в кабак через Кудринскую площадь, в белом шлафроке, а по камзолу, через плечо, анненская лента. Он женат был на какой-то своей кухарке и почти ни с кем не был уже знаком. [44, с. 20—21.]



ЕКАТЕРИНЫ СЛАВНЫЙ ВЕК





Однажды, в Царском Селе, императрица, проснувшись ранее обыкновенного, вышла на дворцовую галерею подышать свежим воздухом и увидела у подъезда нескольких придворных служителей, которые поспешно нагружали телегу казенными съестными припасами. Екатерина долго смотрела на эту работу, незамечаемая служителями, наконец крикнула, чтобы кто-нибудь из них подошел к ней. Воры оторопели и не знали что делать. Императрица повторила зов, и тогда один из служителей явился к ней в величайшем смущении и страхе.

— Что вы делаете? — спросила Екатерина. — Вы, кажется, нагружаете вашу телегу казенными припасами?

— Виноваты, Ваше Величество, — отвечал служитель, падая ей в ноги.

— Чтоб это было в последний раз, сказала императрица, — а теперь уезжайте скорее, иначе вас увидит обер-гофмаршал и вам жестоко достанется от него. [76, с. 14.]

В другой раз, гуляя по саду, императрица заметила, что лакеи несут из дворца на фарфоровых блюдах персики, ананасы и виноград. Чтобы не встретиться с ними, Екатерина повернула в сторону, сказав окружающим:

— Хоть бы блюда мне оставили. [24, с. 157.]

На звон колокольчика Екатерины никто не явился из ее прислуги. Она идет из кабинета в уборную и далее и, наконец, в одной из задних комнат видит, что истопник усердно увязывает толстый узел. Увидев императрицу, он оробел и упал перед нею на колени.

— Что такое? — спросила она.

— Простите меня, Ваше Величество.

— Да что же такое ты сделал?

— Да вот, матушка-государыня: чемодан-то набил всяким добром из дворца Вашего Величества. Тут есть

и жаркое и пирожное, несколько бутылок пивца и несколько фунтиков конфет для моих ребяташек. Я отдежурил мою неделю и теперь отправляюсь домой.

— Да где ж ты хочешь выйти?

— Да вот здесь, по этой лестнице.

— Нет, здесь не ходи, тут встретит тебя обер-гофмаршал (Григ. Ник. Орлов), и я боюсь, что детям твоим ничего не достанется. Возьми-ка свой узел и иди за мною.

Она вывела его через залы на другую лестницу и сама отворила дверь:

— Ну, теперь с Богом! [131, с. 69.]

Старый генерал Щ. представлялся однажды Екатерине II.

— Я до сих пор не знала вас,— сказала императрица.

— Да и я, матушка-государыня, не знал вас до сих пор,— ответил он простодушно.

— Верю,— возразила она с улыбкой.— Где и знать меня, бедную вдову! [81а, с. 67.]

Граф Самойлов получил Георгия на шею в чине полковника. Однажды во дворце государыня заметила его, заслоненного толпою генералов и придворных.

— Граф Александр Николаевич,— сказала она ему,— ваше место здесь впереди, как и на войне. [81, с. 170.]

В 1789 и 1790 годах адмирал (В. Я.) Чичагов одержал блистательные победы над шведским флотом, которым командовал сначала герцог Зюдерманландский, а потом сам шведский король Густав III. Старый адмирал был осыпан милостями императрицы (...). При первом после того приезде Чичагова в Петербург императрица приняла его милостиво и изъявила желание, чтобы он рассказал ей о своих походах. Для этого она пригласила его к себе на следующее утро. Государыню предупреждали, что адмирал почти не бывал в хороших обществах, иногда употребляет неприличные выражения и может не угодить ей своим рассказом. Но императрица осталась при своем желании. На другое

утро явился Чичагов. Государыня приняла его в своем кабинете и, посадив против себя, вежливо сказала, что готова слушать. Старик начал... Не привыкнув говорить в присутствии императрицы, он робел, но чем дальше входил в рассказ, тем больше оживлялся и наконец пришел в такую восторженность, что кричал, махал руками и горячился, как бы при разговоре с равным себе. Описав решительную битву и дойдя до того, когда неприятельский флот обратился в полное бегство, адмирал все забыл, ругал трусов-шведов, причем употреблял такие слова, которые можно слышать только в толпе черного народа. «Я их... я их...» — кричал адмирал. Вдруг старик опомнился, в ужасе вскочил с кресел, повалился перед императрицей...

— Виноват, матушка, Ваше императорское Величество...

— Ничего,— кротко сказала императрица, не дав заметить, что поняла непристойные выражения,— ничего, Василий Яковлевич, продолжайте; я ваших морских терминов не разумею.

Она так простодушно говорила это, что старик от души поверил, опять сел и докончил рассказ. Императрица отпустила его с чрезвычайным благоволением. [96, с. 775—776.]

Императрица Екатерина была недовольна Английским министерством за некоторые неприязненные изъяснения против России в парламенте. В это время английский посол просил у нее аудиенции и был призван во дворец. Когда вошел он в кабинет, собачка императрицы с сильным лаем бросилась на него и посол немного смутился. «Не бойтесь, милорд,— сказала императрица,— собака, которая лает, не кусается и неопасна». [29, с. 173.]

На одном из придворных собраний императрица Екатерина обходила гостей и к каждому обращала приветливое слово. Между присутствующими находился старый моряк. По рассеянию случилось, что, проходя мимо него, императрица три раза сказала ему: «Кажется, сегодня холодно?» — «Нет, матушка, Ваше Величество, сегодня довольно тепло»,— отвечал он каждый раз. «Уж воля Ее Величества,— сказал он соседу своему,— а я на правду черт». [29, с. 118—119.]

«Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкой и единорогом»,— говорила Екатерина II какому-то генералу. «Разница большая,— отвечал он,— сейчас доложу Вашему Величеству. Вот извольте видеть: пушка сама по себе, а единорог сам по себе».— «А, теперь понимаю»,— сказала императрица. [29, с. 119.]

Княгиня Варвара Александровна Трубецкая неразлучно жила с супругою Хераскова около 20 лет в одном доме, чему покойная императрица Екатерина крайне удивлялась и говаривала публично: «Не удивляюсь, что братья между собою дружны, но вот что для меня удивительно, как бабы столь долгое время уживаются между собою». [107, с. 30.]

Кречетников, при возвращении своем из Польши, позван был в кабинет императрицы.

— Исполнил ли ты мои приказания? — спросила императрица.

— Нет, государыня,— отвечал Кр(ечетников).

Государыня вспыхнула.

— Как нет!

Кречетников стал излагать причины, не дозволившие ему исполнить высочайшие повеления. Императрица не слушала, в порыве величайшего гнева она осыпала его укоризнами и угрозами. Кр(ечетников) ожидал своей гибели. Наконец императрица умолкла и стала ходить взад и вперед по комнате. Кр(ечетников) стоял ни жив ни мертв. Через несколько минут государыня снова обратилась к нему и сказала уже гораздо тише:

— Скажите мне, какие причины помешали вам исполнить мою волю?

Кр(ечетников) повторил свои прежние оправдания. Екатерина, чувствуя его справедливость, но не желая признаться в своей вспыльчивости, сказала ему с видом совершенно успокоенным:

— Это дело другое. Зачем же ты мне тотчас этого не сказал? [81, с. 165.]

...Это напоминает мне хорошенький анекдот об императрице Екатерине, который рассказал мне Пуш-

кин. Отец графа Нессельроде, министра иностранных дел, был прелестный и умный человек, но как многие старики, и я из молодых, имел обыкновение издавать дурной запах. Императрица сказала ему однажды: «Милый Нессельроде, уходите, но подальше» — потому что он, чувствуя, что нескромная буря приближается, покидал игру, но возвращался слишком рано. [119, с. 511.]

Александр Иванович (Рибопьер) был большой анекдотист, тоже и Александр Николаевич Голицын. Рибопьер мне, между прочим, рассказывал, что при Екатерине было всего 12 андреевских кавалеров. У него был старый дядя, Василий Ив(анович) Жуков, который смерть как хотел получить голубую кавалерию. Один из 12-ти умер, и князь просил Екатерину ему дать этот орден — он был сенатор и очень глупый человек. Получивши ленту, он представился, чтобы благодарить. После представления его спросили, что сказала ему государыня. «Очень хорошо приняла и так милостиво отнеслась, сказала: «Вот, Василий Ив(анович), только живи, до всего доживешь». [119, с. 158.]

В эрмитажных собраниях, при императрице Екатерине, некоторое время заведен был ящик для вклада штрафных денег за вранье. Всякий провинившийся обязан был опустить в него 10 копеек медью. При ящике назначен был казначеем Безбородко, который собранные деньги после раздавал бедным.

Между другими в эрмитажные собрания являлся один придворный, который, бывало, что ни скажет, все невпопад, или солжет. Неуклюжий казначей беспрестанно подходил к нему с ящиком, и этот враль почти один наполнял ящик деньгами. Раз, по разъезде гостей, когда при императрице остались немногие, самые приближенные, Безбородко сказал:

— Матушка-государыня, этого господина не надобно бы пускать в Эрмитаж, а то он скоро совсем разорится.

— Пусть приезжает, — возразила императрица, — мне дороги такие люди; после твоих докладов и после докладов твоих товарищей я имею надобность в отдыхе; мне приятно изредка послушать и вранье.

— О, матушка-императрица, — сказал Безбородко, — если тебе это приятно, то пожалуй к нам в первый департамент правительствующего Сената: там то ли ты услышишь! [97, с. 772.]

Безбородко очень любил свою родину — Малороссию и покровительствовал своим землякам. Приезжая в Петербург, они всегда являлись к канцлеру и находили у него ласковый прием.

Раз один из них, коренной хохол, ожидая в кабинете за креслом Безбородко письма, которое тот писал по его делу к какому-то влиятельному лицу, ловил мух и, неосторожно размахнувшись, вдруг разбил стоявшую на пьедестале дорогую вазу.

— Ну что, поймал? — спросил Безбородко, не переставая писать. [89, стлб. 1077.]

Безбородко говорил об одном своем чиновнике: «Род человеческий делится на *он* и *она*, а этот — *оно*». [29, с. 77.]

По воцарении императора Павла, к Безбородко пришли спросить, можно ли пропустить иностранные газеты, где, между прочими рассуждениями, помещено было выражение: «Проснись, Павел!»

— Пусть пишут, — отвечал Безбородко, — уже так проснулся, что и нам никому спать не дает! [134, с. 20.]

Когда получили известие о взятии Очакова, то граф А. Г. Орлов дал большой обед в Москве по этому случаю. Сидят все за столом, и хозяин во всех орденах и с портретом императрицы. Среди обеда и будучи уже навеселе Орлов подозвал к себе расхаживавшего вокруг стола дурака Иванушку (Нащокина) и дал ему щелчок по лбу. Иванушка потер лоб и пошел опять ходить кругом стола, а чрез некоторое время подходит к гр(афу) Алексею Григорьевичу и, указывая на изображение государыни, спрашивает его:

— Это что у тебя такое?

— Оставь, дурак, это портрет матушки нашей императрицы, — отвечал Орлов и при этом приложился к портрету.

Иванушка: «Да ведь у Потемкина такой же есть?»

Орлов: «Да, такой же».

— Потемкину-то дают за то, что города берет, а тебе, видно, за то, что дураков в лоб щелкаешь.

Орлов так взбесился, что чуть не убил дурака. [55, с. 540.]

На даче Льва Александровича Нарышкина <...> (на Петергофской дороге) и на даче графа А. С. Строганова (на Быборгской стороне, за Малой Невкой) в каждый праздничный день был фейерверк, играла музыка, и если хозяева были дома, то всех гуляющих угощали чаем, фруктами, мороженым. На даче Строганова даже танцевали в большом павильоне не званые гости, а приезжие из города повеселиться на даче — и эти танцоры привлекали особенное благоволение графа А. С. Строганова и были угощаемы. Кроме того, от имени Нарышкина и графа А. С. Строганова ежедневно раздавали милостыню убогим деньгами и провизией и пособие нуждающимся. Множество бедных семейств получали от них пансионы. Дома графа А. С. Строганова и Л. А. Нарышкина вмещали в себе редкое собрание картин, богатые библиотеки, горы серебряной и золотой посуды, множество драгоценных камней и всяких редкостей. Императрица Екатерина II в шутку часто говорила: «Два человека у меня делают все возможное, чтоб разориться, и никак не могут!» [18, с. 219—221.]

Князь <А. Н.> Голицын рассказал, что однажды Суворов был приглашен к обеду во дворец. Занятый одним разговором, он не касался ни одного блюда. Заметив это, Екатерина спрашивает его о причине.

— Он у нас, матушка-государыня, великий постник,— отвечает за Суворова Потемкин,— ведь сегодня сочельник, он до звезды есть не будет.

Императрица, подзвав пажа, пошептала ему что-то на ухо; паж уходит и чрез минуту возвращается с небольшим футляром, а в нем находилась бриллиантовая орденская звезда, которую императрица вручила Суворову, прибавя, что теперь уже он может разделить с нею трапезу. [48, с. 583.]

Елагин, Иван Перфильевич, известный особенно «Опытом повествования о России до 1389 года», главный придворной музыки и театра директор, про которого Екатерина говорила: «Он хорош без пристрастия», имел при всех достоинствах слабую сторону — любовь к прекрасному полу. В престарелых уже летах (<...>), Иван Перфильевич, посетив любимую артистку, вздумал делать пируэты перед зеркалом и вывихнул себе ногу, так что стал прихрамывать. Событие это было доведено до сведения государыни. Она позволила Елагину приезжать во дворец с тростью и при первой встрече с ним не только не объявила, что знает настоящую причину постигшего его несчастья, но приказала даже ему сидеть в ее присутствии. Елагин воспользовался этим правом, и в 1795 году, когда покоритель Варшавы имел торжественный прием во дворце, все стояли, исключая Елагина, желавшего выказать свое значение. Суворов бросил на него любопытствующий взгляд, который не ускользнул от пронизательности императрицы. «Не удивляйтесь,— сказала Екатерина победителю,— что Иван Перфильевич встречает вас сидя: он ранен, только не на войне, а у актрисы, делая прыжки!» [48, с. 583.]

У Потемкина был племянник Давыдов, на которого Екатерина не обращала никакого внимания. Потемкину это казалось обидным, и он решил упрекнуть императрицу, сказав, что она ему не только никогда не дает никаких поручений, но и не говорит с ним. Она отвечала, что Давыдов так глуп, что, конечно, перепутает всякое поручение.

Вскоре после этого разговора императрица, проходя с Потемкиным через комнату, где между прочим висел Давыдов, обратилась к нему:

— Подите, посмотрите, пожалуйста, что делает барометр.

Давыдов с поспешностью отправился в комнату, где висел барометр, и, возвратившись оттуда, доложил:

— Висит, Ваше Величество.

Императрица, улыбнувшись, сказала Потемкину:

— Вот видите, что я не ошибаюсь. [55, с. 540.]

В 1793 году Яков Борисович Княжнин за трагедию «Вадим Новгородский» выслан был из Петербурга. Чрез

краткое время обер-полицмейстер (Н. И.) Рылеев, докладывая Екатерине о прибывших в столицу, именовал Княжнина.

— Вот как исполняются мои повеления,— с сердцем сказала она,— поди узнай верно, я поступлю с ним, как императрица Анна.

Окружающие докладывают, что вместо Княжнина прибыл бригадир Князев, а между тем и Рылеев возвращается. Екатерина, с веселым видом встречая его, несколько раз повторила:

— Никита Иванович!.. ты не мог различить князя с княжною. [93, с. 147.]

Еще до Мартынова (петербургского коменданта) слава комендантская была упрочена. На Эрмитажном театре затеяли играть известную пьесу Коцебу «Рогус Пумперникель».

— Все хорошо...— сказал кто-то,— да как же мы во дворец осла-то поведем...

— Э, пустое дело! — отвечал Нарышкин,— самым натуральным путем на комендантское крыльцо. [63, л. 21.]

У императрицы Екатерины околела любимая собака Томсон. Она просила графа Брюса распорядиться, чтобы с собаки содрали шкуру и сделали бы чучелу. Граф Брюс приказал об этом Никите Ивановичу Рылееву. Рылеев был не из умных; он отправился к богатому и известному в то время банкиру по фамилии Томпсон и передал ему волю императрицы. Тот, понятно, не согласился и требовал от Рылеева, чтобы тот разузнал и объяснил ему. Тогда только эту путаницу разобрали. [55, с. 538.]

Императрица Екатерина, отъезжая в Царское Село и опасаясь какого-нибудь беспокойства в столице, приказала Рылееву, чтобы он в случае чего-нибудь неожиданного явился тотчас в Царское с докладом. Вдруг ночью прискакивает Рылеев, вбегает к Марье Савишне Перекусихиной и требует, чтобы она разбудила императрицу; та не решается и требует, чтобы он ей рас-

сказал, в чем дело? Рылеев отвечает, что не обязан ей рассказывать дел государственных. Будят императрицу, зовут Рылеева в спальню, и он докладывает о случившемся в одной из отдаленных улиц Петербурга пожаре, причем сгорело три мещанских дома в 1000, в 500 и в 200 рублей. Екатерина усмехнулась и сказала: «Как вы глупы, идите и не мешайте мне спать». [55, с. 538.]

Генерал-аншеф М. Н. Кречетников, сделавшись тульским наместником, окружил себя почти царскою пышностью и почестями и начал обращаться чрезвычайно гордо даже с лицами, равными ему по своему значению и положению при дворе. Слух об этом дошел до императрицы, которая сообщила его Потемкину. Князь тотчас призвал к себе своего любимца, известного в то время остряка, генерала С. Л. Львова и сказал ему:

— Кречетников слишком заважничался; поезжай к нему и сбавь с него спеси.

Львов поспешил исполнить приказание и отправился в Тулу.

В воскресный день, когда Кречетников, окруженный толпою парадных официантов, ординарцев, адъютантов и других чиновников, с важной осанкой явился в свой приемный зал пред многочисленное собрание тульских граждан, среди всеобщей тишины вдруг раздался голос человека, одетого в поношенное дорожное платье, который, вспрыгнув позади всех на стул, громко хлопал в ладоши и кричал:

— Bravo, Кречетников, bravo, bravissimo!

Изумленные взоры всего общества обратились на смельчака. Удивление присутствующих усилилось еще более, когда наместник подошел к незнакомцу с поклонами и ласковым голосом сказал ему:

— Как я рад, многоуважаемый Сергей Лаврентьевич, что вижу вас. Надолго ли к нам пожаловали?

Но незнакомец продолжал хлопать и убеждал Кречетникова «воротиться в гостиную и еще раз позабыть его пышным выходом».

— Бога ради, перестаньте шутить,— бормотал растерявшийся Кречетников,— позвольте обнять вас.

— Нет! — кричал Львов.— Не сойду с места, пока вы не исполните моей просьбы. Мастерски играете свою роль! [10; с. 113.]

Однажды Львов ехал вместе с Потемкиным в Царское Село и всю дорогу должен был сидеть, прижавшись в угол экипажа, не смея проронить слова, потому что светлейший находился в мрачном настроении духа и упорно молчал.

Когда Потемкин вышел из кареты, Львов остановил его и с умоляющим видом сказал:

— Ваша Светлость, у меня есть до вас покорнейшая просьба.

— Какая? — спросил изумленный Потемкин.

— Не пересказывайте, пожалуйста, никому, о чем мы говорили с вами дорогою.

Потемкин расхохотался, и хандра его, конечно, исчезла. [10, с. 228.]

Английский посланник лорд Витворт подарил Екатерине II огромный телескоп, которым она очень восхищалась. Придворные, желая угодить государыне, друг перед другом спешили наводить инструмент на небо и уверяли, что довольно ясно различают горы на луне.

— Я не только вижу горы, но даже лес, — сказал Львов, когда очередь дошла до него.

— Вы возбуждаете во мне любопытство, — произнесла Екатерина, поднимаясь с кресел.

— Торопитесь, государыня, — продолжал Львов, — уже начали рубить лес; вы не успеете подойти, а его и не станет. [10, с. 227.]

Сказывали, что в Петербурге с Гарнереном летал генерал Сергей Лаврентьевич Львов, бывший некогда фаворитом князя Потемкина, большой остряк, и что по этому случаю другой такой же остряк, Александр Семенович Хвостов, напутствовал его, вместо подорожной, следующим экспромтом:

Генерал Львов
Летит до облаков
Просить богов
О заплате долгов.

На что генерал, садясь в гондолу, отвечивал без запинки такими же рифмами:

Хвосты есть у лисиц,
Хвосты есть у волков,
Хвосты есть у кнутов —
Берегитесь, Хвостов!

[46, с. 96.]

В Таврическом дворце, в прошлом столетии, князь Потемкин, в сопровождении Левашева и князя Долгорукова, проходит чрез уборную комнату мимо великолепной ванны из серебра.

Левашев. Какая прекрасная ванна!

Князь Потемкин. Если берешься ее всю *наполнить* (это в письменном переводе, а в устном тексте значит другое слово), я тебе ее подарю.

Левашев (обращаясь к Долгорукову). Князь, не хотите ли попробовать пополам?

Князь Долгоруков слыл большим обжорою. [29, с. 298.]

Императрица Екатерина II строго преследовала так называемые *азартные игры* (как будто не все картежные игры более или менее азартны?). Дошло до сведения ее, что один из приближенных ко двору, а именно Левашев, ведет сильную азартную игру. Однажды говорит она ему с выражением неудовольствия: «А вы все-таки продолжаете играть!» — «Винovat, Ваше Величество: играю иногда и в коммерческие игры». Ловкий и двусмысленный ответ обезоружил гнев императрицы. [29, с. 349.]

К Державину навязался какой-то сочинитель прочесть ему свое произведение. Старик, как и многие другие, часто засыпал при слушании чтения. Так было и на этот раз. Жена Державина, сидевшая возле него, поминутно толкала его. Наконец сон так одолел Державина, что, забыв и чтение и автора, сказал он ей с досадою, когда она разбудила его:

— Как тебе не стыдно: никогда не даешь мне порядочно выспаться! [29, с. 98.]

При императоре Павле Державин, бывший уже сенатором, сделан был докладчиком. Звание было новое; но оно приближало к государю, следовательно, возвышало, давало ход. Это было несколько досадно прежним его товарищам. Лучшее средство уронить Державина было настроить его же. Они начали говорить, что это, конечно, возвышение; однако, что ж это за звание? «Выше ли, ниже ли сенатора, стоять ли

ему, сидеть ли ему?» Этим так разгорячили его, что настроили просить у государя инструкции на новую должность. Державин попросил. Император отвечал очень кратко:

— На что тебе инструкции, Гаврила Романович? Твоя инструкция — моя воля. Я велю тебе рассмотреть какое дело или какую просьбу; ты рассмотришь и мне доложишь: вот и все!

Державин не унялся, и в другой раз об инструкции.

Император, удивленный этим, сказал ему уже с досадою:

— Да на что тебе инструкция?

Державин не утерпел и повторил те самые слова, которыми его подзадорили:

— Да что же, государы! Я не знаю: стоять ли мне, сидеть ли мне!

Павел вспыхнул и закричал:

— Вон!

Испуганный докладчик побежал из кабинета, Павел за ним и, встретив Ростопчина, громко сказал:

— Написать его опять в Сенат! — и закричал вслед бегущему Державину: — А ты у меня там сиди смирненько!

Таким образом Державин возвратился опять к своим товарищам. [44, с. 36—37.]

Державин был правдив и нетерпелив. Императрица поручила ему рассмотреть счета одного банкира, который имел дело с Кабинетом и был близок к упадку. Прочитывая государыне его счета, он дошел до одного места, где сказано было, что одно высокое лицо, не очень любимое государыней, должно ему какую-то сумму.

— Вот как мотает! — заметила императрица: — и на что ему такая сумма!

Державин возразил, что кн. Потемкин занимал еще больше, и указал в счетах, какие именно суммы.

— Продолжайте! — сказала государыня.

Дошло до другой статьи: опять заем того же лица.

— Вот опять! — сказала императрица с досадою: — мудрено ли после этого сделаться банкротом!

— Кн. Зубов занял больше, — сказал Державин и указал на сумму.

Екатерина вышла из терпения и позвонила. Входит камердинер.

— Нет ли кого там, в секретарской комнате?

— Василий Степанович Попов, Ваше Величество.

— Позови его сюда.

Попов вошел.

— Сядьте тут, Василий Степанович, да посидите во время доклада; этот господин, мне кажется, меня прибить хочет... [44, с. 36.]

Московский генерал-губернатор, генерал-поручик граф Ф. А. Остерман, человек замечательного ума и образования, отличался необыкновенной рассеянностью, особенно под старость.

Садясь иногда в кресло и принимая его за карету, Остерман приказывал везти себя в Сенат; за обедом плевал в тарелку своего соседа или чесал у него ногу, принимая ее за свою собственную; подбирал к себе края белого платья сидевших возле него дам, воображая, что поднимает свою салфетку; забывая надеть шляпу, гулял по городу с открытой головой или приезжал в гости в расстегнутом платье, приводя в стыд прекрасный пол. Часто вместо духов протирался чернилами и в таком виде являлся в приемный зал к ожидавшим его просителям; выходил на улице из кареты и более часу неподвижно стоял около какого-нибудь дома, уверяя лакея, «что не кончил еще своего занятия», между тем как из желоба капали дождевые капли; вступал с кем-либо в любопытный ученый разговор и, не окончив его, мгновенно засыпал; представлял императрице вместо рапортов счета, поданные ему сапожником или портным, и т. п.

Раз правитель канцелярии поднес ему для подписи какую-то бумагу. Остерман взял перо, задумался, начал тереть себе лоб, не выводя ни одной черты, наконец вскочил со стула и в нетерпении закричал правителю канцелярии:

— Однако ж, черт возьми, скажи мне, пожалуйста, кто я такой и как меня зовут! [13, с. 93.]

Граф Остерман, брат вице-канцлера, <...> славился своею рассеянностью. Однажды шел он по паркету, по которому было разостлано посредине полотно. Он принял его за свой носовой платок, будто выпавший, и начал совать его в свой карман. Наконец общий хохот присутствующих дал ему опомниться. [29, с. 91.]

В другой раз приехал он к кому-то на большой званый обед. Перед тем как взойти в гостиную, зашел он в особую комнатку. Там оставил он свою складную шляпу и вместо нее взял деревянную крышку и, держа ее под руку, явился с нею в гостиную, где уже собралось все общество. За этим обедом или за другим зачесалась у него нога, и он, принимая ногу соседки своей за свою, начал тереть ее. [29, с. 92.]

Когда Пугачев сидел на Меновом дворе, праздные москвичи между обедом и вечером заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развезить по городу. Однажды сидел он задумавшись. Посетители молча окружали его, ожидая, чтоб он заговорил. Пугачев сказал: «Известно по преданиям, что Петр I во время Персидского похода, услыша, что могила Стеньки Разина находилась невдалеке, нарочно к ней поехал и велел разметать курган, дабы увидеть хоть его кости...» Всем известно, что Разин был четвертован и сожжен в Москве. Тем не менее сказка замечательна, особенно в устах Пугачева. В другой раз некто ***, симбирский дворянин, бежавший от него, приехал на него посмотреть и, видя его крепко привинченного на цепи, стал осыпать его укоризнами. ***был очень дурен лицом, к тому же и без носу. Пугачев, на него посмотрев, сказал: «Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не выдывал». [81, с. 161.]

Граф Румянцев однажды утром расхаживал по своему лагерю. Какой-то майор в шлафроке и в колпаке стоял перед своею палаткою и в утренней темноте не узнал приближающегося фельдмаршала, пока не увидел его перед собой лицом к лицу. Майор хотел было скрыться, но Румянцев взял его под руку и, делая ему разные вопросы, повел с собою по лагерю, который между тем проснулся. Бедный майор был в отчаянии. Фельдмаршал, разгуливая таким образом, возвратился в свою ставку, где уже вся свита ожидала его. Майор, умирая со стыда, очутился посреди генералов, одетых по всей форме. Румянцев, тем еще недовольный, имел жестокость напоить его чаем и потом уж отпустил, не сделав никакого замечания. [81, с. 169—170.]

У графа С** был арап, молодой и статный мужчина. Дочь его от него родила. В городе о том узнали вот по какому случаю. У графа С** по субботам раздавали милостыню. В назначенный день нищие пришли по своему обыкновению; но швейцар прогнал их, говоря сердито: «Ступайте прочь, не до вас. У нас графинюшка родила арапчонка, а вы лезете за милостыней». [81, с. 159.]

При покойной императрице Екатерине II обыкновенно в летнее время полки выходили в лагерь.

П. П., полковник какого-то пехотного полку, в котором по новости не успел еще, так сказать, оглядеться, хотя и очень худо знал службу, но зато был очень строг.

Простояв дни три в лагере, призывает он к себе старшого капитана и делает ему выговор за слабую команду.

— Помилуйте, Ваше Высокоблагородие (так величали еще в то время обер-офицеры господ полковников)! — сказал капитан, — рота моя, кажется, во всем исправна; вы сами изволите видеть ее на ученье.

— Я, сударь, говорю не об ученье, — прервал полковник, — а то, что вы слабый командир. Три дни стою я в лагере; во все это время вы никого еще не наказывали! Все другие господа ротные командиры исправнее вас: я вижу, что они всякий день утром после зари и вечером перед зарею наказывают людей перед своими палатками; а вы так при мне ни одному человеку не дали даже ни лозона.

— За что же, Ваше Высокоблагородие, буду я бить солдат, когда они у меня исправны?

— Не верю, сударь, не верю: быть не может, чтобы все были исправны. Ежели вы не хотите служить порядочно, то выходите лучше вон из полку. Я не прежний полковник, терпеть не могу баловников. Какой вы капитан! вы баба!

У бедного капитана навернулись на глазах слезы. Он удалился в свою палатку и не знал, что ему делать: драться он не любил, оставить службы не мог, потому что привык к ней и не имел у себя никакой собственности; а переходить в другой полк было весьма трудно — однако же он решился на последнее.

В самое это время приходит к нему фельдфебель.

— Что ты пришел ко мне? — сказал ему капитан. — Знаешь ли, что полковник разжаловал меня из капитанов в бабы за то, что я не колочу вас, как другие, палками. Прощайте, ребята! Не поминайте лихом; перейду в другой полк и сегодня же подам просьбу. Ступай к порутчику, коли что тебе надобно; а мне теперь нечего приказывать.

Фельдфебель вышел, не сказав ни слова, но через полчаса является опять к доброму своему капитану и говорит ему:

— Ваше Благородие! Сделайте отеческую милость, не оставляйте нас, сирот...

— Да разве вы хотите, — прервал капитан, — чтобы я колотил вас палками?

— Есть охотники, Ваше Благородие! Извольте каждый день наказывать из нас четырех человек и давать всякому по двадцати пяти лозонов. Мы сделали очередь; никому не будет обидно. Извольте начать с первого меня; еще готов каптенармус и два человека из первого капральства. Сегодня наша очередь. Ничего не стоит через 25 дней вытерпеть 25 лозонов: ведь гораздо более достанется нам, ежели будет у нас другой капитан... Ваше Благородие! Заставьте вечно Богу молить, *потешьте* полковника, прикажите уже перед зарею дать нам четверым по 25 лозонов.

Капитан думал, думал и наконец согласился на представление фельдфебеля или, лучше сказать, всей роты; *потешил* полковника: дал в тот же вечер по 25 лозонов фельдфебелю, каптенармусу и двум рядовым; на другой день откатал также четверых, и дело пошло своим порядком... [54, с. 295—298.]

Ю. А. Нелединский в молодости своей мог много съесть и много выпить. (...) О съедобной способности своей рассказывал он забавный случай. В молодости зашел он в Петербурге в один *ресторан* позавтракать (впрочем, в прошлом столетии *ресторанов*, *restaurant*, еще не было, не только у нас, но и в Париже; а как назывались подобные благородные харчевни, не знаю). Дело в том, что он заказал себе каплуна и всего съел его до косточки. Каплун понравился ему, и на другой день является он туда же и совершает тот же подвиг. Так было в течение нескольких дней. Наконец замечает он, что столовая, в первый день посещения

его совершенно пустая, наполняется с каждым днем более и более. По разглашению хозяина, публика стала собираться смотреть, как некоторый барин уничтожает в одиночку целого и жирного каплуна. Нелединскому надоело давать зрителям даровой спектакль, и хозяин гостиницы был наказан за нескромность свою. [29, с. 367—368.]

Для домашнего наказания в кабинете (С. И.) Шешковско́го находилось кресло особого устройства. Приглашенного он просил сесть в это кресло, и как скоро тот усаживался, одна сторона, где ручка, по прикосновению хозяина вдруг раздвигалась, соединялась с другой стороной кресел и замыкала гостя так, что он не мог ни освободиться, ни предотвратить того, что ему готовилось. Тогда, по знаку Шешковско́го, люк с креслами опускался под пол. Только голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Там отнимали кресло, обнажали наказываемые части и секли. Исполнители не видели, кого наказывали. Потом гость приводим был в прежний порядок и с креслами поднимался из-под пола. Все оканчивалось без шума и огласки. (...)

Раз Шешковский сам попал в свою ловушку. Один молодой человек, уже бывший у него в переделке, успел заметить и то, как завертывается ручка кресла, и то, отчего люк опускается; этот молодой человек провинился в другой раз и опять был приглашен к Шешковскому. Хозяин по-прежнему долго выговаривал ему за легкомысленный поступок и по-прежнему просил его садиться в кресло. Молодой человек отшаркивался, говорил: «Помилуйте, Ваше Превосходительство, я постою, я еще молод». Но Шешковский все упрямивал и, окружив его руками, подвигал его ближе и ближе к креслам, и готов уже был посадить сверх воли. Молодой человек был очень силен; мгновенно схватил он Шешковско́го, усадил его самого в кресло, завернул отодвинутую ручку, топнул ногой и... кресло с хозяином провалилось. Под полом началась работа! Шешковский кричал, но молодой человек зажимал ему рот, и крики, всегда бывавшие при таких случаях, не останавливали наказания. Когда порядочно высекли Шешковско́го, молодой человек бросился из комнаты и убежал домой.

Как освободился Шешковский из засады, это осталось только ему известно! [96, с. 782—785.]

Для разбора всех книг и сочинений, отобранных большею частию у Новикова, а также и у других, составлена была комиссия. В ней был членом Гейм Иван Андреевич, составитель немецкого лексикона, которого жаловала императрица Мария Федоровна, и он-то и рассказывал, что у них происходило тут сущее *auto da fé*¹. Чуть книга казалась сомнительною, ее бросали в камин: этим более распоряжался заседавший от духовной стороны архимандрит. Однажды разбиравший книги сказал:

— Вот эта духовного содержания, как прикажете?

— Кидай ее туда же,— вскричал отец архимандрит,— вместе была, так и она дьявольщины наблошнулась. [135, с. 115.]



К. Г. РАЗУМОВСКИЙ

В 1770 году, по случаю победы, одержанной нашим флотом над турецким при Чесме, митрополит Платон произнес, в Петропавловском соборе, в присутствии императрицы и всего двора, речь, замечательную по силе и глубине мыслей. Когда вития, к изумлению слушателей, неожиданно сошел с амвона к гробнице Петра Великого и, коснувшись ее, воскликнул: «Восстань теперь, великий монарх, отечества нашего отец! Восстань теперь и воззри на любезное изобретение свое!» — то среди общих слез и восторга Разумовский вызвал улыбку окружающих его, сказав им потихоньку: «Чего вин его кличе? Як встане, всем нам достанется». [16, с. 251.]

Вариант.

По случаю Чесменской победы в Петропавловском соборе служили торжественно-благодарственное молеб-

¹ публичное сожжение на костре (фр.).

ствии. Проповедь на случай говорил Платон, для большего эффекта призывая Петра I. Платон сошел с амвона и посохом стучал в гроб Петра, взывая: «Встань, встань, Великий Петр, виждь...» и проч.

— От-то дурень,— шепнул Разумовский соседу,— а ну як встане, всем нам палкой достанется.

Когда в обществе рассказывали этот анекдот, кто-то отозвался:

— И это Разумовский говорил про времена Екатерины II. Что же бы Петр I сказал про наше и чем бы взыскал наше усердие?..

— Шпицрутеном,— подхватил другой собеседник. [63, л. 169.]

Как-то раз, за обедом у императрицы, зашел разговор о ябедниках. Екатерина предложила тост за честных людей. Все подняли бокалы, один лишь Разумовский не дотронулся до своего. Государыня, заметив это, спросила его, почему он не доброжелательствует честным людям?

— Боюсь — мор будет,— отвечал Разумовский. [9, с. 75.]

— Что у вас нового в Совете?— спросил Разумовского один приятель.

— Все по-старому,— отвечал он,— один Панин думает, другой кричит, один Чернышев предлагает, другой трусит, я молчу, а прочие хоть и говорят, да того хуже. [16, с. 244.]

Однажды в Сенате Разумовский отказался подписать решение, которое считал несправедливым.

— Государыня желает, чтоб дело было решено таким образом,— объявили ему сенаторы.

— Когда так — не смею послушаться,— сказал Разумовский, взял бумагу, перевернул ее верхом вниз и подписал свое имя...

Поступок этот был, разумеется, немедленно доведен до сведения императрицы, которая потребовала от графа Кирилы Григорьевича объяснений.

— Я исполнил вашу волю,— отвечал он,— но так как дело, по моему мнению, неправое и товарищи мои покривили совестью, то я почел нужным криво подписать свое имя. [13, с. 269.]

Другой раз, в Совете разбиралось дело о женитьбе князя Г. Г. Орлова на его двоюродной сестре Екатерине Николаевне Зиновьевой. Орлов, всегдашний недоброжелатель Разумовского, в это время уже был в немилости, и члены Совета, долго пред ним преклонявшиеся, теперь решили разлучить его с женою и заключить обоих в монастырь. Разумовский отказался подписать приговор и объявил товарищам, что для решения дела недостает выписки из постановления «о кулачных боях». Все засмеялись и просили разъяснения.

— Там,— продолжал он,— сказано, между прочим, «лежачего не бить». [13, с. 269.]

Племянница Разумовского, графиня Софья Осиповна Апраксина, заведовавшая в последнее время его хозяйством, неоднократно требовала уменьшения огромного числа прислуги, находящейся при графе и получавшей ежемесячно более двух тысяч рублей жалованья. Наконец она решилась подать Кирилу Григорьевичу два реестра о необходимых и лишних служителях. Разумовский подписал первый, а последний отложил в сторону, сказав племяннице:

— Я согласен с тобою, что эти люди мне не нужны, но спроси их прежде, не имеют ли они во мне надобности? Если они откажутся от меня, то тогда и я, без возражений, откажусь от них. [40, с. 128.]

М. В. Гудович, почти постоянно проживавший у Разумовского и старавшийся всячески вкрасься в его доверенность, гулял с ним как-то по его имению. Проходя мимо только что отстроенного дома графского управляющего, Гудович заметил, что пора бы сменить его, потому что он вор и отстроил дом на графские деньги.

— Нет, брат,— возразил Разумовский,— этому осталось только крышу крыть, а другого возьмешь, тот станет весь дом сызнава строить. [25, с. 265.]



Когда Потемкин сделался после Орлова любимцем императрицы Екатерины, сельский дьячок, у которого он учился в детстве читать и писать, наслышавшись в своей деревенской глуши, что бывший ученик его попал в знатные люди, решился отправиться в столицу и искать его покровительства и помощи.

Приехав в Петербург, старик явился во дворец, где жил Потемкин, назвал себя и был тотчас же введен в кабинет князя.

Дьячок хотел было броситься в ноги светлейшему, но Потемкин удержал его, посадил в кресло и ласково спросил:

— Зачем ты прибыл сюда, старина?

— Да вот, Ваша Светлость,— отвечал дьячок,— пятьдесят лет Господу Богу служил, а теперь выгнали за неспособностью: говорят, дряхл, глух и глуп стал. Приходится на старости лет побираться мирским подаяньем, а я бы еще послужил матушке-царице — не поможешь ли мне у нее чем-нибудь?

— Ладно,— сказал Потемкин,— я похлопочу. Только в какую же должность тебя определить? Разве в сборные дьячки?

— Э, нет, Ваша Светлость,— возразил дьячок,— ты теперь на мой голос не надейся; нынче я петь-то уж того — ау! Да и видеть, надо признаться, стал плохо; печатное едва разбирать могу. А все же не хотелось бы даром хлеб есть.

— Так куда же тебя приткнуть?

— А уж не знаю. Сам придумай.

— Трудную, брат, ты мне задал задачу,— сказал улыбаясь Потемкин.— Приходи ко мне завтра, а я между тем подумаю.

На другой день утром, проснувшись, светлейший вспомнил о своем старом учителе и, узнав, что он давно дожидается, велел его позвать.

— Ну, старина,— сказал ему Потемкин,— нашел для тебя отличную должность.

— Вот спасибо, Ваша Светлость; дай тебе Бог здоровья.

— Знаешь Исакиевскую площадь?

— Как не знать; и вчера и сегодня через нее к тебе тащился.

— Видел Фальконетов монумент императора Петра Великого?

— Еще бы!

— Ну так сходи же теперь, посмотри, благополучно ли он стоит на месте, и тотчас мне донеси.

Дьячок в точности исполнил приказание.

— Ну что? — спросил Потемкин, когда он возвратился.

— Стоит, Ваша Светлость.

— Крепко?

— Куда как крепко, Ваша Светлость.

— Ну и хорошо. А ты за этим каждое утро наблюдай, да аккуратно мне доноси. Жалованье же тебе будет производиться из моих доходов. Теперь можешь идти домой.

Дьячок до самой смерти исполнял эту обязанность и умер, благословляя Потемкина. [56, с. 299—301.]

Потемкин очень меня (Н. К. Загряжскую) любил; не знаю, чего бы он для меня не сделал. У Машиньки была клавишинная учительница. Раз она мне говорит:

— Мадам, не могу оставаться в Петербурге.

— А почему?

— Зимой я могу давать уроки, а летом все на даче, и я не в состоянии оплачивать карету либо оставаться без дела.

— Вы не уедете, все это надо устроить так или иначе.

Приезжает ко мне Потемкин. Я говорю ему:

— Как ты хочешь, Потемкин, а мамзель мою пристрой куда-нибудь.

— Ах, моя голубушка, сердечно рад, да что для нее сделать, право, не знаю.

Что же? через несколько дней приписали мою мамзель к какому-то полку и дали ей жалования. Нынче этого сделать уже нельзя. [81, с. 176.]

Потемкин послал однажды адъютанта взять из казенного места 1 000 000 р. Чиновники не осмелились отпустить эту сумму без письменного вида. П(отемкин) на другой стороне их отношения своеручно приписал: дать, е... м... [80, с. 16.]

Однажды Потемкин, недовольный запорожцами, сказал одному из них:

— Знаете ли вы, хохлачи, что у меня в Николаеве строится такая колокольня, что как станут на ней звонить, так в Сече будет слышно?

— То не диво,— отвечает запорожец,— у нас в Запорозине е такие кобзары, що як заиграють, то аже у Петербурги затанцують. [81, с. 173.]

N.N., вышедший из певчих в действительные статские советники, был недоволен обхождением князя Потемкина.

— Хиба вин не тямит того,— говорил он на своем наречии,— що я такой еднорал, як вин сам.

Это пересказали Потемкину, который сказал ему при первой встрече:

— Что ты врешь? какой ты генерал? ты генерал-бас. [81. с. 173.]

Когда Потемкин вошел в силу, он вспомнил об одном из своих деревенских приятелей и написал ему следующие стишки:

Любезный друг,
Коль тебе досуг,
Приезжай ко мне;

Коли не так,
.....
Лежи в

Любезный друг поспешил приехать на ласковое приглашение. [81, с. 173.]

Потемкину доложили однажды, что некто граф Морелли, житель Флоренции, превосходно играет на скрипке. Потемкину захотелось его послушать; он приказал его выписать. Один из адъютантов отправился курьером в Италию, явился к графу М., объявив ему приказ светлейшего, и предложил тот же час садиться в тележку и скакать в Россию. Благородный виртуоз взбесился и послал к черту и Потемкина и курьера с его тележкой. Делать было нечего. Но как явиться к князю, не исполнив его приказания! Догадливый адъютант отыскал какого-то скрипача, бедняка

не без таланта, и легко уговорил его назваться графом М. и ехать в Россию. Его привезли и представили Потемкину, который остался доволен его игрою. Он принят был потом в службу под именем графа М. и дослужился до полковничьего чина. [81, с. 172.]

Потемкин, встречаясь с Шешковским, обыкновенно говаривал ему: «Что, Степан Иванович, каково кнута-бойничаешь?» На что Шешковский отвечал всегда с низким поклоном: «Помаленьку, Ваша Светлость!» [81, с. 173.]

Князь Потемкин во время очаковского похода влюблен был в графиню ***. Добившись свидания и находясь с нею наедине в своей ставке, он вдруг дернул за звонок, и пушки кругом всего лагеря загремели. Муж графини ***, человек острый и безнравственный, узнав о причине пальбы, сказал, пожимая плечами: «Экое кири куку!» [81, с. 173.]

Один из адъютантов Потемкина, живший в Москве и считавшийся в отпуску, получает приказ явиться: родственники засуетились, не знают, чему приписать требование светлейшего. Одни боятся внезапной немилости, другие видят неожиданное счастье. Молодого человека снаряжают наскоро в путь. Он отправляется из Москвы, скачет день и ночь и приезжает в лагерь светлейшего. Об нем тотчас докладывают. Потемкин приказывает ему явиться. Адъютант с трепетом входит в его палатку и находит Потемкина в постеле, со святыми в руках. Вот их разговор:

Потемкин. Ты, братец, мой адъютант такой-то?

Адъютант. Точно так, Ваша Светлость.

Потемкин. Правда ли, что ты святцы знаешь наизусть?

Адъютант. Точно так.

Потемкин (смотря в святцы). Какого же святого празднуют 18 мая?

Адъютант. Мученика Федота, Ваша Светлость.

Потемкин. Так. А 29 сентября?

Адъютант. Преподобного Кириака.

Потемкин. Точно. А 5 февраля?

Адъютант. Мученицы Агафьи.

Потемкин (закрывая святцы). Ну, поезжай же себе домой. [81, с. 172.]

Молодой Ш. как-то напроказил. Князь Б. собирался пожаловаться на него самой государыне. Родня перепугалась. Кинулись к князю Потемкину, прося его заступиться за молодого человека. Потемкин велел Ш. быть на другой день у него, и прибавил: «Да сказать ему, чтоб он со мною был посмелее». Ш. явился в назначенное время. Потемкин вышел из кабинета в обыкновенном своем наряде, не сказал никому ни слова и сел играть в карты. В это время приезжает князь Б. Потемкин принимает его как нельзя хуже и продолжает играть. Вдруг он подзывает к себе Ш.

— Скажи, брат,— говорит Потемкин, показывая ему свои карты,— как мне тут сыграть?

— Да мне какое дело, Ваша Светлость,— отвечает ему Ш.,— играйте, как умеете.

— Ах, мой батюшка,— возразил Потемкин,— и слова тебе нельзя сказать; уж и рассердился.

Услыша такой разговор, князь Б. раздумал жаловаться. [81, с. 171.]

На Потемкина часто находила хандра. Он по целым суткам сидел один, никого к себе не пуская, в совершенном бездействии. Однажды, когда был он в таком состоянии, накопилось множество бумаг, требовавших немедленного разрешения; но никто не смел к нему войти с докладом. Молодой чиновник по имени Петушков, подслушав толки, вызвался представить нужные бумаги князю для подписи. Ему поручили их с охотою и с нетерпением ожидали, что из этого будет. Петушков с бумагами вошел прямо в кабинет. Потемкин сидел в халате, босой, нечесаный, грызя ногти в задумчивости. Петушков смело объяснил ему, в чем дело, и положил перед ним бумаги. Потемкин молча взял перо и подписал их одну за другою. Петушков поклонился и вышел в переднюю с торжествующим лицом: «Подписал!» Все к нему кинулись, глядят: все бумаги в самом деле подписаны. Петушкова поздравляют: «Молодец! нечего сказать». Но кто-то всматривается в подпись —

и что же? на всех бумагах вместо: князь Потемкин — подписано: *Петушков, Петушков, Петушков...* [81, с. 170—171.]



Л. А. НАРЫШКИН

Однажды императрица Екатерина, во время вечерней эрмитажной беседы, с удовольствием стала рассказывать о том беспристрастии, которое заметила она в чиновниках столичного управления, и что, кажется, изданием «Городового положения» и «Устава благочиния» она достигла уже того, что знатные с простолюдными совершенно уравниены в обязанностях своих перед городским начальством.

— Ну, вряд ли, матушка, это так,— отвечал Нарышкин.

— Я же говорю тебе, Лев Александрыч, что так,— возразила императрица,— и если б люди и даже ты сам сделали какую несправедливость или ослушание полиции, то и тебе спуска не будет.

— А вот завтра увидим, матушка,— сказал Нарышкин,— я завтра же вечером тебе донесу.

И в самом деле на другой день, чем свет, надевает он богатый кафтан со всеми орденами, а сверху накидывает старый, изношенный сюртучишка одного из своих истопников и, нахлобучив дырявую шляпенку, отправляется пешком на площадь, на которой в то время под навесами продавали всякую живность.

— Господин честной купец,— обратился он к первому попавшемуся курятнику,— а по чему продавать цыплят изволишь?

— Живых — по рублю, а битых — по полтине пару,— грубо отвечал торговец, с пренебрежением осматривая бедно одетого Нарышкина.

— Ну так, голубчик, убей же мне парочки две живых-то.

Курятник тотчас же принялся за дело: цыплят перерезал, ощипал, завернул в бумагу и завернул в кулек, а Нарышкин между тем отсчитал ему рубль медными деньгами.

— А разве, барин, с тебя рубль следует? Надобно два.

— А за что ж, голубчик?

— Как за что? За две пары живых цыплят. Ведь я говорил тебе: живые по рублю.

— Хорошо, душенька, но ведь я беру неживых, так за что ж изволишь требовать с меня лишнее?

— Да ведь они были живые.

— Да и те, которых продаешь ты по полтине за пару, были также живые, ну я и плачу тебе по твоей же цене за битых.

— Ах ты, калатырник! — взбесившись завопил торгаш, — ах ты, шишмонник этакой! Давай по рублю, не то вот господин полицейский разберет нас!

— А что у вас за шум? — спросил тут же расхаживающий, для порядка, полицейский.

— Вот, ваше благородие, извольте рассудить нас, — смиренно отвечает Нарышкин, — господин купец продает цыплят живых по рублю, а битых по полтине за пару; так, чтоб мне, бедному человеку, не платить лишнего, я и велел перебить их и отдаю ему по полтине.

Полицейский вступился за купца и начал тормошить его, уверяя, что купец прав, что цыплята были точно живые и потому должен заплатить по рублю, а если он не заплатит, так он отведет его в сибирку. Нарышкин откланивался, просил милостивого рассуждения, но решение было неизменно: «Давай еще рубль, или в сибирку». Вот тут Лев Александрович, как будто ненарочно, расстегнул сюртук и явился во всем блеске своих почестей, а полицейский в ту же секунду вскинулся на курятника: «Ах ты, мошенник! сам же говорил живые по рублю, битые по полтине и требует за битых, как за живых! Да знаешь ли, разбойник, что я с тобой сделаю?.. Прикажете, Ваше Превосходительство, я его сейчас же упрячу в доброе место: этот плутец узнает у меня не уважать таких господ и за битых цыплят требовать деньги, как за живых!»

Разумеется, Нарышкин заплатил курятнику вчетверо и, поблагодарив полицейского за справедливое решение, отправился домой, а вечером в Эрмитаже рассказал императрице происшествие, как только он один умел рассказывать, прищучивая и представляя в лицах себя, торгаша и полицейского. Все смеялись, кроме императрицы... [46, с. 149—151].

В 1787 году императрица Екатерина II, возвращаясь в Петербург из путешествия на Юг, проезжала через Тулу. В это время, по случаю неурожая предыдущего года, в Тульской губернии стояли чрезвычайно высокие цены на хлеб, и народ сильно бедствовал. Опасаясь огорчить такую вестью государыню, тогдашний тульский наместник генерал Кречетников решил скрыть от нее грустное положение вверенного ему края и донес совершенно противное. По распоряжению Кречетникова, на все луга, лежавшие при дороге, по которой ехала императрица, были собраны со всей губернии стада скота и табуны лошадей, а жителям окрестных деревень велено встречать государыню с песнями, в праздничных одеждах, с хлебом и солью. Видя всюду наружную чистоту, порядок и изобилие, Екатерина осталась очень довольна и сказала Кречетникову: «Спасибо вам, Михаил Никитич, я нашла в Тульской губернии то, что желала бы найти и в других».

К несчастью, Кречетников находился тогда в дурных отношениях с одним из спутников императрицы, обершталмейстером Л. А. Нарышкиным, вельможей, пользовавшимся особым ее расположением и умевшим, под видом шутки, ловко и кстати высказывать ей правду.

На другой день по приезде государыни в Тулу Нарышкин явился к ней рано утром с ковригой хлеба, воткнутой на палку, и двумя утками, купленными им на рынке. Несколько изумленная такой выходкой, Екатерина спросила его:

— Что это значит, Лев Александрович?

— Я принес Вашему Величеству тульский ржаной хлеб и двух уток, которых вы жалуете,— отвечал Нарышкин.

Императрица, догадавшись в чем дело, спросила: почему за фунт покупал он хлеб?

Нарышкин доложил, что платил за каждый фунт по четыре копейки.

Екатерина недоверчиво взглянула на него и возразила:

— Быть не может! Это неслыханная цена! Напротив, мне донесли, что в Туле печеный хлеб не дороже копейки.

— Нет, государыня, это неправда,— отвечал Нарышкин,— вам донесли ложно.

— Удивляюсь,— продолжала императрица,— как

же меня уверяли, что в здешней губернии был обильный урожай в прошлом году?

— Может быть, нынешняя жатва будет удовлетворительна,— возразил Нарышкин,— а теперь пока голодно.

Екатерина взяла со стола, у которого сидела, писанный лист бумаги и подала его Нарышкину. Он пробежал бумагу и положил ее обратно, заметив:

— Может быть, это ошибка... Впрочем, иногда рапорты бывают не достовернее газет. [72, с. 475—488.]

Однажды Екатерина ехала из Петербурга в Царское Село, до которого верстах в двух сломалось колесо в ее карете. Императрица, выглянув из кареты, громко сказала: «Уж я Левушке (так называла она Л(ьва) А(лександровича)) вымою голову». Лев Александрович выпрыгнул из коляски, прокрался стороною до въезда в Царское Село, вылил на голову ведро воды и стал как вкопанный. Между тем колесо уладили, Екатерина подъезжает, видит Нарышкина, с которого струилась вода, и говорит:

— Что ты это, Левушка?

— А что, матушка! ведь ты хотела мне вымыть голову. Зная, что у тебя и без моей головы много забот, я сам вымыл ее! [34, с. 123—124.]

Вариант. На одном из эрмитажных собраний Екатерина за что-то рассердилась на Нарышкина и сделала ему выговор. Он тотчас же скрылся. Через несколько времени императрица велела дежурному камергеру отыскать его и позвать к ней. Камергер донес, что Нарышкин находится на хорах между музыкантами и решительно отказывается сойти в залу. Императрица послала вторично сказать ему, чтобы он немедленно исполнил ее волю.

«Скажите государыне,— отвечал Нарышкин посланному,— что я никак не могу показаться в таком многочисленном обществе с «намыленной головой». [102, с. 41.]

По вступлении на престол императора Павла состоялось высочайшее повеление, чтобы президенты всех

присутственных мест непременно заседали там, где числятся по службе.

Нарышкин, уже несколько лет носивший звание обер-шталмейстера, должен был явиться в придворную конюшенную контору, которую до того времени не посетил ни разу.

— Где мое место? — спросил он чиновников.

— Здесь, Ваше Превосходительство, — отвечали они с низкими поклонами, указывая на огромные готические кресла.

— Но к этим креслам нельзя подойти, они покрыты пылью! — заметил Нарышкин.

— Уже несколько лет, — продолжали чиновники, — как никто в них не сидел, кроме кота, который всегда тут покоится.

— Так мне нечего здесь делать, — сказал Нарышкин, — мое место занято.

С этими словами он вышел и более уже не показывался в контору. [11, с. 484.]



Е. И. КОСТРОВ

Талантливый переводчик Гомеровой «Илиады» Е. И. Костров был большой чудак и горький пьяница. Все старания многочисленных друзей и покровителей поэта удержать его от этой пагубной страсти постоянно оставались тщетными.

Императрица Екатерина II, прочитав перевод «Илиады», пожелала видеть Кострова и поручила И. И. Шувалову привезти его во дворец. Шувалов, которому хорошо была известна слабость Кострова, позвал его к себе, велел одеть на свой счет и убеждал непременно явиться к нему в трезвом виде, чтобы вместе ехать к государыне. Костров обещал; но когда настал день и час, назначенный для приема, его, несмотря на тщательные поиски, нигде не могли найти. Шувалов отправился во дворец один и объяснил императрице, что стихотворец не мог воспользоваться ее милостивым вниманием по случаю будто бы приключившейся ему внезапной

и тяжелой болезни. Екатерина выразила сожаление и поручила Шувалову передать от ее имени Кострову тысячу рублей.

Недели через две Костров явился к Шувалову.

— Не стыдно ли тебе, Ермил Иванович,— сказал ему с укоризною Шувалов,— что ты променял дворец на кабаки?

— Побывайте-ка, Иван Иванович, в кабаке,— отвечал Костров,— право, не променяете его ни на какой дворец! [32, с. 54.]

Раз, после веселого обеда у какого-то литератора, подвыпивший Костров сел на диван и опрокинул голову на спинку. Один из присутствующих, молодой человек, желая подшутить над ним, спросил:

— Что, Ермил Иванович, у вас, кажется, мальчики в глазах?

— И самые глупые,— отвечал Костров. [69, с. 138.]

Однажды в университете сделался шум. Студенты, недовольные своим столом, разбили несколько тарелок и швырнули в эконома несколькими пирогами. Начальники, разбирая это дело, в числе бунтовщиков нашли бакалавра Ермила Кострова. Все очень изумились. Костров был нраву самого кроткого, да уж и не в таких летах, чтоб бить тарелки и швырять пирогами. Его позвали в конференцию.

— Помилуй, Ермил Иванович,— сказал ему ректор,— ты-то как сюда попался?..

— Из сострадания к человечеству,— отвечал добрый Костров. [81, с. 162.]

Он жил несколько времени у Ивана Ивановича Шувалова. Тут он переводил «Илиаду». Домашние Шувалова обращались с ним, почти не замечая его в доме, как домашнюю кошку, к которой привыкли. Однажды дядя мой пришел к Шувалову и, не застав его дома, спросил: «Дома ли Ермил Иванович?» Лакей отвечал: «Дома; пожалуйста сюда!» — и привел его в задние комнаты, в девичью, где девки занимались работой, а Ермил Иванович сидел в кругу их и сшивал разные лоскутки. На столе, возле лоскутков, лежал

греческий Гомер, разогнутый и обороченный вверх переплетом. На вопрос: «Чем он это занимается?» — Костров отвечал очень просто: «Да вот девчата велели что-то сшить!» — и продолжал свою работу. [44, с. 26.]

Костров хаживал к Ивану Петровичу Бекетову, двоюродному брату моего дяди. Тут была для него всегда готова суповая чаша с пуншем. С Бекетовым вместе жил брат его Платон Петрович; у них бывали: мой дядя Иван Иванович Дмитриев, двоюродный их брат Аполлон Николаевич Бекетов и младший брат Н. М. Карамзина Александр Михайлович, бывший тогда кадетом и приходивший к ним по воскресеньям. Подпойвши Кострова, Аполлон Николаевич ссорил его с молодым Карамзиным, которому самому было это забавно; а Костров принимал эту ссору не за шутку. Потом доводили их до дуэли; Карамзину давали в руки обнаженную шпагу, а Кострову ножны. Он не замечал этого и с трепетом сражался, боясь пролить кровь неповинную. Никогда не нападал, а только защищался. [44, с. 26.]

Светлейший князь Потемкин пожелал видеть Кострова. Бекетовы и мой дядя принуждены были, по этому случаю, держать совет, как его одеть, во что и как предохранить, чтоб не напился. Всякий уделил ему из своего платья кто французский кафтан, кто шелковые чулки, и прочее. Наконец при себе его причесали, напудрили, обули, одели, привесили ему шпагу, дали шляпу и пустили идти по улице. А сами пошли его провожать, боясь, чтоб он, по своей слабости, куда-нибудь не зашел; но шли за ним в некотором расстоянии, поодаль, для того, что идти с ним рядом было несколько совестно: Костров и трезвый был нетверд на ногах и шатался. Он во всем этом процессе одеванья повиновался, как ребенок. Дядя мой рассказывал, что этот переход Кострова был очень смешон. Какая-нибудь старуха, увидев его, скажет с сожалением: «Видно, бедный, больнохонек!» А другой, встретясь с ним, пробормочет: «Эк нахлюстался!» Ни того, ни другого: и здоров и трезв, а такая была походка! Так проводили его до самых палат Потемкина, впустили в двери и оставили, в полной уверенности, что он уже безопасен от искушений! [44, с. 27.]

Костров страдал перемежающейся лихорадкой. «Странное дело,— заметил он (Н. М. Карамзину),— пил я, кажется, все горячее, а умираю от озноба». [29, с. 239.]



Д. Е. ЦИЦИАНОВ

Он (Д. Е. Цицианов) преспокойно уверял своих собеседников, что в Грузии очень выгодно иметь суконную фабрику, так как нет надобности красить пряжу: овцы рождаются разноцветными, и при захождении солнца стада этих цветных овец представляют собой прелестную картину. [111, с. 86.]

Случилось, что в одном обществе какой-то помещик, слышавший большим хозяином, рассказывал об огромном доходе, получаемом им от пчеловодства, так что доход этот превышал оброк, платимый ему всеми крестьянами, коих было с лишком сто в той деревне.

— Очень вам верю,— возразил Цицианов,— но смею вас уверить, что такого пчеловодства, как у нас в Грузии, нет нигде в мире.

— Почему так, Ваше Сиятельство?

— А вот почему,— отвечал Цицианов,— да и быть не может иначе: у нас цветы, заключающие в себе медовые соки, растут, как здесь крапива, да к тому же пчелы у нас величиною почти с воробья; замечательно, что когда они летают по воздуху, то не жужжат, а поют, как птицы.

— Какие же у вас ульи, Ваше Сиятельство? — спросил удивленный пчеловод.

— Ульи? Да ульи,— отвечал Цицианов,— такие же, как везде.

— Как же могут столь огромные пчелы влетать в обыкновенные ульи?

Тут Цицианов догадался, что, басенку свою переся, он приготовил себе сам ловушку, из которой выпутаться ему трудно. Однако же он нимало не задумался:

— Здесь об нашем крае,— продолжал Цицианов,— не имеют никакого понятия... Вы думаете, что везде так, как в России? Нет, батюшка! У нас в Грузии отговорок нет: ХОТЬ ТРЕСНИ, ДА ПОЛЕЗАЙ!
[117, с. 116.]

Мой дядя Россет раз спросил его (он был тогда пажем), правда ли, что он <Д. Е. Цицианов> проел тридцать тысяч душ? Старик рассмеялся и ответил: «Да, только в котлетах». Мальчик широко раскрыл глаза и спросил: «Как — в котлетах?»

— Глупый! Ведь они были начинены трюфелями, а барашков я выписывал из Англии, и это, оказалось, стоит очень дорого. [120, с. 95.]

Говорил он <Д. Е. Цицианов> о каком-то сукне, которое он поднес князю Потемкину, вытканное по заказу его из шерсти одной рыбы, пойманной им в Каспийском море. [46, с. 38.]

Князь Цицианов, известный поэзией рассказов, говорил, что в деревне его одна крестьянка разрешилась от долгого бремени семилетним мальчиком, и первое слово его, в час рождения, было: «Дай мне водки!» [29, с. 388.]

Забыл было сказать ложь кн. Д. Е. Цицианова. Горич нашел в каменной горе у Моздока бутылку с водою, и стекло так тонко, что гнется, сжимается и опять расправляется, и он заключил, что эта бутылка должна быть из тех, кои употребляли Помпеевы солдаты, хотя римляне и никогда в сем краю не были. А доказательство Цицианова было то, что подобные сей бутылке сосуды есть в завалинах Геркулана и Помпеи. [91, с. 24.]

В трескучий мороз идет он (Д. Е. Цицианов) по улице. Навстречу ему нищий, весь в лохмотьях, просит у него милостыни. Он в карман, а там нет денег. Он снимает с себя бекешу на меху и отдает ее нищему, сам же идет далее. На перекрестке чувствует он, что кто-то ударил его по плечу. Он оглядывается, Господь Саваоф пред ним и говорит ему: «Послушай, князь, ты много согрешил, но этот поступок твой один искупит многие грехи твои. Поверь мне, я никогда не забуду его!» [29, с. 146.]

Между прочими выдумками он (Цицианов) рассказывал, что за ним бежала бешеная собака и слегка укусила его в икру. На другой день камердинер прибегает и говорит:

— Ваше Сиятельство, извольте выйти в уборную и посмотрите, что там творится.

— Вообразите, мои фраки сбесились и скачут. [118, с. 121.]

Цицианов любил также выхвалять талант дочери своей в живописи, жалуясь всегда на то, что княжна на произведениях отличной своей кисти имела привычку выставлять имя свое, а когда спрашивали его, почему так, то он с видом довольным отвечал: «Потому что картины моей дочери могли бы слыть за Рафаэлем, тем более что княжна любила преимущественно писать Богородиц и давала ей и маленькому Спасителю мастерские позы». [17, с. 117.]

Есть лгуны, которых совестно называть лгунами: они своего рода поэты, и часто в них более воображения, нежели в присяжных поэтах. Возьмите, например, князя Ц(ицианова). Во время проливного дождя является он к приятелю.

— Ты в карете? — спрашивают его.

— Нет, я пришел пешком.

— Да как же ты вовсе не промок?

— О,— отвечает он,— я умею очень ловко пробираться между каплями дождя. [29, с. 146.]

Князь Потемкин меня любил (рассказ ведется от имени Д. Е. Цицианова) именно за то, что я никогда ни о чем не просил и ничего не искал. Я был с ним на довольно короткой ноге. Случилось один раз, разговаривая (не помню, у кого это было, ну да все равно) о шубах, сказал, что он предпочитает медвежьи, но что они слишком тяжелы, жалуясь, что не может найти себе шубы по вкусу.

— А что бы вам давно мне это сказать, светлейший князь: вот такая же точно страсть была у моего покойного отца, и я сохраняю его шубу, в которой нет, конечно, трех фунтов весу. (Все слушатели рассмеялись.)

— Да чему вы обрадовались? — возразил Цицианов.— Будет вам еще чему посмеяться, погодите, дослушайте меня до конца. И князь Потемкин тоже рассмеялся, принимая слова мои за басенку. Ну а как представляю я Вашей Светлости,— продолжал Цицианов,— шубу эту?

— Приму ее от тебя, как драгоценный подарок,— отвечал мне Таврический.

Увидя меня несколько времени спустя, он спросил меня тотчас:

— Ну что, как поживает трехфунтовая медвежья шуба?

— Я не забыл данного вам, светлейший князь, обещания и писал в деревню, чтоб прислали ко мне отцовскую шубу.

Скоро явилась и шуба. Я послал за первым в городе скорняком, велел ее при себе вычистить и отделать заново, потому что этакую редкость могли бы у меня украсть или подменить. Ну, слушайте, не то еще будет, вот завертываю я шубу в свой носовой шелковый платок и отправляюсь к светлейшему князю. Это было довольно: меня там все знали.

— Позвольте, Ваше Сиятельство,— говорит мне камердинер,— пойду только посмотреть, вышел ли князь в кабинет, или еще в спальней. Он нехорошо изволил ночь проводить.

Возвращается камердинер и говорит мне:

— Пожалуйте!

Я вошел, гляжу: князь стоит перед окном, смотрит в сад; одна рука была во рту (светлейший изволил грызть ногти), а другою рукою чесал он... Нет, не могу сказать что, угадывайте! Он в таких был размышлениях

или рассеянности, что не догадался, как я к нему подошел и накинул на плечи шубу. Князь, освободив правую свою руку, начал по стеклу наигрывать пальцами какие-то свои фантазии. Я все молчу и гляжу на этого всемогущего баловня, думая себе: «Чем он так занят, что не чувствует даже, что около него происходит, и чем-то дело это закончится?» Прошло довольно времени — князь ничего мне не говорит и, вероятно, забыл даже, что я тут. Вот я решился начать разговор, подхожу к нему и говорю:

— Светлейший князь!

Он, не оборачиваясь ко мне, но узнавши голос мой, сказал:

— Ба! Это ты, Цицианов! А что делает шуба?

— Какая шуба?

— Вот хорошо! Шуба, которую ты мне обещал!

— Да шуба у Вашей Светлости.

— У меня?.. Что ты мне рассказываешь?

— У вас... да она и теперь на ваших плечах!

Можете представить удивление князя, вдруг увидевшего, что на нем была подлинная шуба. Он верить не хотел, что я давно накинул ему шубу на плечи.

— То-то же не понимал я, отчего мне так жарко было; мне казалось, что я нездоров, что у меня жар, — повторял князь, — да это просто сокровище, а не шуба. Где ты ее выкопал?

— Да я Вашей Светлости уже докладывал, что шуба эта досталась мне после моего отца.

— Диковинная!.. Однако посмотри: она мне только по колено.

— Чему тут дивиться. Я ростом невелик, а отец мой был хоть и сильный мужчина, но головою ниже меня. Вы забываете, что у Вашей Светлости рост геркулесов; что для всех людей шуба, то для вас куртка.

Князя очень это позабавило, он смеялся и хотел непременно узнать, какими судьбами досталась шуба эта моему отцу. Я рассказал ему всю историю: как шуба эта была послана из Сибири, как редкость, графу Разумовскому в царствование императрицы Елизаветы Петровны, как дорогою была украдена разбойниками и продана шаху Персидскому, который подарил ее моему отцу. Князь удивился, что нет теперь таких шуб, но я ему объяснил, что был в Сибири мужик, который умел так искусно обдeldывать медвежьи ме-

ха, что они делались нежнее и легче соболиных, но мужик этот умер, не открыв никому секрета. [17, с. 113—116.]

Вариант. Императрица Екатерина отправляет его (Д. Е. Цицианова) курьером в Молдавию к князю Потемкину с собольей шубой... Он приехал, подал Потемкину письмо императрицы. Прочитав его, князь спрашивает:

— А где шуба?

— Здесь, Ваша Светлость.

И тут вынимает он из своей курьерской сумки шубу, которая так легка была, что уложилась в виде носового платка. Он встряхнул ее и подал князю. [29, с. 146.]

Вариант. Я был, говорил он (Д. Е. Цицианов), фаворитом Потемкина. Он мне говорит:

— Цицианов, я хочу сделать сюрприз государыне, чтобы она всякое утро пила кофий с горячим калачом.

— Готов, Ваше Сиятельство.

Вот я устроил ящик с комфоркой, калач уложил и помчался, шпага только ударяла по столбам (верстовым) все время тра, тра, тра, и к завтраку представил собственноручно калач. Изволила благодарить и послала Потемкину шубу. Я приехал и говорю:

— Ваше Сиятельство, государыня в знак благодарности прислала вам соболью шубу, что ни на есть лучшую.

— Вели же открыть сундук.

— Не нужно, она у меня за пазухой.

Удивился князь. Шуба полетела как пух, и поймать ее нельзя было. [118, с. 121.]

Дмитрий Евсеевич (Цицианов) завел Английский клуб в Москве и очень его посещает. Он всех смешил своими рассказами, уверял, что варит прекрасный соус из куриных перьев и что по окончании обеда всех будет звать петухами и курицами. [119, с. 125.]

Когда воздвигали Александровскую колонну, он (Д. Е. Цицианов) сказал одному из моих братьев: «Какую глупую статую поставили — ангела с крыльями; надобно представить Александра в полной форме и держит Наполеошку за волосы, а он только ножками дрыгает». Громкий смех последовал за этой тирадой. [119, с. 503—504.]



ЦАРСТВОВАНИЕ ПАВЛА I





Жесточайшую войну объявил император круглым шляпам, оставив их только при крестьянском и купеческом костюме. И дети носили треугольные шляпы, косы, пукли, башмаки с пряжками. Это, конечно, бездельцы, но они терзали и раздражали людей больше всякого притеснения. Обременительно еще было предписание едущим в карете, при встрече особ императорской фамилии, останавливаться и выходить из кареты. Частенько дамы принуждены были ступать прямо в грязь. В случае неисполнения, карету и лошадей отбирали в казну, а лакеев, кучеров, форейторов, наказав телесно, отдавали в солдаты. К стыду тогдашних придворных и сановников, должно признать, что они, при исполнении, не смягчали, а усиливали требования и наказания.

Однажды император, стоя у окна, увидел идущего мимо Зимнего дворца и сказал, без всякого умысла или приказа: «Вот идет мимо царского дома и шапки не ломает». Лишь только узнали об этом замечании государя, последовало приказание: всем едущим и идущим мимо дворца снимать шапки. Пока государь жил в Зимнем дворце, должно было снимать шляпу при выходе на Адмиралтейскую площадь с Вознесенской и Гороховой улиц. Ни мороз, ни дождь не освобождали от этого. Кучера, правя лошаадьми, обыкновенно брали шляпу или шапку в зубы. Переехав в Михайловский замок, т. е. незадолго до своей кончины, Павел заметил, что все идущие мимо дворца снимают шляпы, и спросил о причине такой учтивости. «По высочайшему Вашего Величества повелению», — отвечали ему. «Никогда я этого не приказывал!» — вскричал он с гневом и приказал отменить новый обычай. Это было так же трудно, как и ввести его. Полицейские офицеры стояли на углах улиц, ведущих к Михайловскому замку, и убедительно просили прохожих не снимать шляп, а простой народ били за это выражение верноподданнического почтения. [37, с. 147—148.]

Мало ли что предписывалось и исполнялось в то время: так, предписано было не употреблять некоторых слов,— например, говорить и писать *государство* вместо *отечество*; *мещанин* вместо *гражданин*; *исключить* вместо *выключить*. Вдруг запретили *вальсовать* или, как сказано в предписании полиции, употребление пляски, называемой *вальсеном*. Вошло было в дамскую моду носить на поясе и чрез плечо разноцветные ленты, вышитые кружками из блесток. Вдруг последовало запрещение носить их, ибо-де они похожи на орденские.

Можно вообразить, какова была цензура! Нынешняя шихматовская глупа, но тогдашняя была уродлива и сопровождалась жестокостью. Особенно отличался рижский цензор Туманский, кажется, Федор Осипович, о котором я буду говорить впоследствии.

Один сельский пастор в Лифляндии, Зейдер, содержащий лет за десять до того немецкую библиотеку для чтения, просил, чрез газеты, бывших своих подписчиков, чтоб они возвратили ему находящиеся у них книги, и между прочим повести Лафонтена «Сила любви». Туманский донес императору, что такой-то пастор, как явствует из газет, содержит публичную библиотеку для чтения, а о ней правительству неизвестно. Зейдера привезли в Петербург и предали уголовному суду, как государственного преступника. Палате оставалось только прибрать наказание, а именно приговорить его к кнуту и каторге. Это и было исполнено. Только генерал-губернатор граф Пален приказал, привязав преступника к столбу, бить кнутом не по спине его, а по столбу. При Александре I Зейдер был возвращен из Сибири и получил пенсию. Императрица Мария Федоровна определила его приходским священником в Гатчине. Я знал его там в двадцатых годах. Он был человек кроткий и тихий и, кажется, под конец попивал. Запешь при таких воспоминаниях! [37, с. 151—152.]

Покойный сенатор (П. А.) Обресков был при императоре Павле в качестве статс-секретаря и сопровождал императора в Казань. Там впал он в немилость и несколько дней не смел показываться на глаза императору. Наконец в какой-то торжественный день он должен был явиться во дворец. Приезжает и выбирает себе местечко в толпе, чтоб не выказаться императору. Между тем подносят кофе. Лакей, заметив Обрескова, протесняется

к нему с подносом и открывает его императору, который видит его. Обресков отказывается от кофе. «Отчего ты не хочешь кофе, Обресков?» — спрашивает его император. «Я потерял вкус, Ваше Величество», — отвечает Обресков. «Возвращаю тебе его», — говорит Павел, и Обресков, благодаря присутствию духа, опять вошел в милость. [100, с. 214.]

На маневрах Павел I послал ординарца своего (И. А.) Рибопьера к главному начальнику Андрею Семеновичу Кологривову с приказаниями. Рибопьер, не вразумясь, отъехав, остановился в размышлении и не знал что делать. Государь настигает его и спрашивает:

— Исполнил ли повеление?

— Я убит с батареи по моей неосторожности, — отвечал Рибопьер.

— Ступай за фронт, вперед наука! — довершил император. [94, с. 92—93.]

Лекарь Вилье, находившийся при великом князе Александре Павловиче, был ошибкою завезен ямщиком на ночлег в избу, где уже находился император Павел, собиравшийся лечь в постель. В дорожном платье входит Вилье и видит пред собою государя. Можно себе представить удивление Павла Петровича и страх, овладевший Вилье. Но все это случилось в добрый час. Император спрашивает его, каким образом он к нему попал. Тот извиняется и ссылается на ямщика, который сказал ему, что тут отведена ему квартира. Посылают за ямщиком. На вопрос императора ямщик отвечал, что Вилье сказал про себя, что он анператор. «Врешь, дурак, — смеясь сказал ему Павел Петрович, — император я, а он оператор». — «Извините, батюшка, — сказал ямщик, кланяясь царю в ноги, — я не знал, что вас двое». [29, с. 73—74.]

Зимой Павел выехал из дворца, на санках, прокататься. Дорогой он заметил офицера, который был столько навеселе, что шел, покачиваясь. Император велел своему кучеру остановиться и подозвал к себе офицера.

— Вы, господин офицер, пьяны,— грозно сказал государь,— становитесь на запятки моих саней.

Офицер едет на запятках за царем ни жив ни мертв. От страха. У него и хмель пропал. Едут они. Завидя в стороне нищего, протягивающего к прохожим руку, офицер вдруг закричал государеву кучеру:

— Остановись!

Павел, с удивлением, оглянулся назад. Кучер остановил лошадь. Офицер встал с запяток, подошел к нищему, полез в свой карман и, вынув какую-то монету, подал милостыню. Потом он возвратился и встал опять на запятки за государем.

Это понравилось Павлу.

— Господин офицер,— спросил он,— какой ваш чин?

— Штабс-капитан, государь.

— Неправда, сударь, капитан.

— Капитан, Ваше Величество,— отвечает офицер.

Поворотив на другую улицу, император опять спрашивает:

— Господин офицер, какой ваш чин?

— Капитан, Ваше Величество.

— А нет, неправда, майор.

— Майор, Ваше Величество.

На возвратном пути Павел опять спрашивает:

— Господин офицер, какой у вас чин?

— Майор, государь,— было ответом.

— А вот, неправда, сударь, подполковник.

— Подполковник, Ваше Величество.

Наконец они подъехали ко дворцу. Соскочив с запяток, офицер, самым вежливым образом, говорит государю:

— Ваше Величество, день такой прекрасный, не угодно ли будет прокатиться еще несколько улиц?

— Что, господин подполковник? — сказал государь,— вы хотите быть полковником? А вот нет же, больше не надуешь; довольно с вас и этого чина.

Государь скрылся в дверях дворца, а спутник его остался подполковником.

Известно, что у Павла не было шутки и все, сказанное им, исполнялось в точности. [97, с. 577—578.]

Изгоняя роскошь и желая приучить подданных своих к умеренности, император Павел назначил число кушаньев по сословиям, а у служащих — по чинам. Майо-

ру определено было иметь за столом три кушанья. Яков Петрович Кульнев, впоследствии генерал и славный партизан, служил тогда майором в Сумском гусарском полку и не имел почти никакого состояния. Павел, увидя его где-то, спросил:

— Господин майор, сколько у вас за обедом подают кушаньев?

— Три, Ваше Императорское Величество.

— А позвольте узнать, господин майор, какие?

— Курица плашмя, курица ребром и курица боком,— отвечал Кульнев.

Император расхохотался. [97, с. 170.]

Кочетова (Е. Н.) мне рассказывала, что миссис (Мэри) Кеннеди ей сказывала, что она запиралась ночью с императрицей и спала у нее в комнате, потому что император взял привычку, когда у него бывала бессонница, будить ее невзначай, отчего у нее делалось сердцебиение. Он заставлял ее слушать, как он читает ей монологи из Расина и Вольтера. Бедная императрица засыпала, а он начинал гневаться. Жили в Михайловском дворце, апартаменты императора в одном конце, императрицы в другом. Наконец Кеннеди решилась не впускать его. Павел стучался, она ему отвечала: «Мы спим». Тогда он ей кричал: «Так вы спящие красавицы!» Уходил наконец и шел стучаться к двери m-me К., камер-фрау, у которой хранились бриллианты, и кричал ей: «Бриллианты украдены!» или «Во дворце пожар!». К., несколько раз поверив, потом перестала ему отпирать, и он стал ходить к часовым и разговаривать с ними. Он страшно мучился от бессонницы... [119, с. 567.]

Великая княгиня Анна (жена Константина Павловича) разрешилась мертвым младенцем за 8 дней до этого (имеется в виду убийство Павла I), и император, гневавшийся на своих старших сыновей, посадил их с этого времени под арест, объявив, что они выйдут лишь тогда, когда поправится великая княгиня. Императрица также была под домашним арестом и не выходила. Эти неудачные роды очень огорчили императора, и он продолжал гневаться, он хотел внука! [119, с. 567.]

Богатая купчиха московская поднесла императору Павлу подушку, шитую по канве с изображением овцы, и к ней приложила следующие стихи:

Верноподданных отцу
Подношу сию овцу
Для тех ради причин,
Чтоб дал он мужу чин.

Государь отвечал:

Я верноподданных отец,
Но нету чина для овец.

[71, с. 45.]

Пушкин рассказывал, что, когда он служил в министерстве ин(остранных) дел, ему случилось дежурить с одним весьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и слышал от него следующее.

Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола. Это было за несколько дней перед смертью Павла. Было уже за полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась. Вбежал сторож впопыхах, объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел и в большом волнении начал ходить по комнате; потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголовка: «Указ е(го) и(мператорского) в(еличества)» — и капнул чернилами. Поспешно схватил он другой лист и снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить начала приказа, и боялся начать с середины, сидел ни жив ни мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок и больше ничего.

— Что ж государь? — спросил Пушкин.

— Да ничего-с. Изволил только ударить меня в рожу и вышел. [23, с. 100.]

У кого-то из царской фамилии, кажется у великого князя Павла Петровича, был сильный насморк. Ему присоветали помазать себе нос на ночь салом, и была приготовлена сальная свеча. С того дня было в продолжение года, если не долее, отпускаемо ежедневно из

дворцовой конторы по пуду сальных свечей — «на собственное употребление его высочества». [29, с. 169.]

При Павле какой-то гвардейский полковник в месячном рапорте показал умершим офицера, который отходил в больнице. Павел его исключил за смертью из списков. По несчастью, офицер не умер, а выздоровел. Полковник упросил его на год или на два уехать в свои деревни, надеясь сыскать случай поправить дело. Офицер согласился, но, на беду полковника, наследники, прочитавши в приказах о смерти родственника, ни за что не хотели его признавать живым и, безутешные от потери, настойчиво требовали ввода во владение. Когда живой мертвец увидел, что ему приходится в другой раз умирать, и не с приказы, а с голоду, тогда он поехал в Петербург и подал Павлу просьбу. Павел написал своей рукой на его просьбе: «Так как об г. офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать». [33, с. 267.]

По возвращении своем из персидского похода, в 1797 году, Алексей Петрович Ермолов служил в четвертом артиллерийском полку, коим командовал горький пьяница Иванов, предместник князя Цицианова (брата знаменитого правителя Грузии). Этот Иванов во время производимых им ученьев имел обыкновение ставить позади себя денщика, снабженного флягою с водкой; по команде Иванова: *зелена*, ему подавалась фляга, которую он быстро осушивал. Он после того обратился к своим подчиненным с следующей командой: «*Физику, делать все по-старому, а новое — вздор*». Рассердившись однажды на жителей города Пинска, где было нанесено оскорбление подчиненным ему артиллеристам, Иванов приказал бомбардировать город из двадцати четырех орудий, но, благодаря расторопности офицера Жеребцова, снаряды были поспешно отвязаны, и город ничего не потерял. Пьяный Иванов, не заметивший этого обстоятельства, приказал по истечении некоторого времени прекратить пальбу; вступив торжественно в город и увидав в окне одного дома полицмейстера Лаудона, он велел его выбросить из окна. [39, с. 371.]

Паж <А. Д.> Копьев бился об заклад с товарищами, что он тряхнет косу императора за обедом. Однажды,

будучи при нем дежурным за столом, схватил он государеву косу и дернул ее так сильно, что государь почувствовал боль и гневно спросил, кто это сделал. Все в испуге. Один паж не смутился и спокойно отвечал: «Коса Вашего Величества криво лежала, я позволил себе выпрямить ее». — «Хорошо сделал, — сказал государь, — но все же мог бы ты сделать это осторожнее». Тем все и кончилось. [29, с. 156.]

В другой раз Копьев бился об заклад, что он понюхает табак из табакерки, которая была украшена бриллиантами и всегда находилась при государе. Однажды утром подходит он к столу возле кровати императора, почивающего на ней, берет табакерку, с шумом открывает ее и, взяв щепотку табаку, с усиленным фырканьем сует в нос. «Что ты делаешь, пострел?» — с гневом говорит проснувшийся государь. «Нюхаю табак, — отвечает Копьев. — Вот восемь часов что дежурю; сон начинал меня одолевать. Я надеялся, что это меня освежит, и подумал, лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью». — «Ты совершенно прав, — говорит Павел, — но как эта табакерка мала для двух, то возьми ее себе». [29, с. 156.]

Копьев был столько же известен в Петербурге своими остроумиями и проказами, сколько и худобой своей крепостной и малокормленной четверни. Однажды ехал он по Невскому проспекту, а Сергей Львович Пушкин (отец поэта) шел пешком по тому же направлению. Копьев предлагает довести его. «Благодарю, — отвечал тот, — но не могу: я спешу». [29, с. 157.]

Чулков, петербургский полицмейстер, призвал его (А. Д. Копьева) к себе, осыпал ругательствами и насмешками и наконец сказал:

— Да, говорят, братец, что ты пишешь стихи.

— Точно так, писывал в былое время, ваше высококородие!

— Так напиши теперь мне похвальную оду, слышишь ли! Вот перо и бумага!

— Слушаю, ваше высококородие! — отвечал Копьев, подошел к столу и написал: «Отец твой чулок, мать твоя тряпица, а ты сам что за птица?» [36, с. 119.]

Москва была всегда обильна девицами. В Москве также проживали три или четыре сестрицы. Дом их был на улице — нет, не скажу на какой улице. Всякий день каждая из них сидела у особенного окна и смотрела на проезжающих и на проходящих, может быть выглядывая суженого. Какой-то злой шутник — может быть, Копьев — сказал о них: на каждом окошке по лепешке. Так и помню, что в детстве моем слышал я о княжнах-лепешках. Другого имени им и не было. [29, с. 467.]

Рассказывают, что известный Копьев, чтобы убедить крестьян своих внести разом ему годовой оброк, говорил им, что такой взнос будет последний, а что с будущего года станут они уплачивать все повинности и отбывать воинскую одною поставкою клюквы. [28, с. 365.]

Известно, что в старые годы, в конце прошлого столетия, гостеприимство наших бар доходило до баснословных пределов. Ежедневный открытый стол на 30, на 50 человек было дело обыкновенное. Садись за этот стол кто хотел: не только родные и близкие знакомые, но и малознакомые, а иногда и вовсе не знакомые хозяину. Таковыми столами были преимущественно в Петербурге столы графа Шереметева и графа Разумовского. Крылов рассказывал, что к одному из них повадился постоянно ходить один скромный искатель обедов и чуть ли не из *сочинителей*. Разумеется, он садился в конце стола, и также, разумеется, слуги обходили блюдами его как можно чаще. Однажды понесчастливилось ему пуще обыкновенного: он почти голодный встал со стола. В этот день именно так случилось, что хозяин после обеда, проходя мимо него, в первый раз заговорил с ним и спросил: «Доволен ли ты?» — «Доволен, Ваше Сиятельство, — отвечал он с низким поклоном, — все было мне видно». [29, с. 371.]



Один иностранный генерал за обедом у Суворова без умолку восхвалял его, так что даже надоел и ему, и присутствующим. Подали прежалкий, подгоревший круглый пирог, от которого все отказались, только Суворов взял себе кусок.

— Знаете ли, господа,— сказал он,— что ремесло льстеца не так-то легко. Лесть походит на этот пирог: надобно умеючи испечь, всем нужным начинить в меру, не пересолить и не перепечь. Люблю моего Мишку повара: он худой льстец. [5, с. 91.]

Кто-то заметил при Суворове про одного русского вельможу, что он не умеет писать по-русски.

— Стыдно,— сказал Суворов,— но пусть он пишет по-французски, лишь бы думал по-русски. [5, с. 115.]

Суворов уверял, что у него семь ран: две, полученные на войне, а пять при дворе, и эти последние, по его словам, были гораздо мучительнее первых. [5, с. 51.]

Один храбрый и весьма достойный офицер нажил нескромностью своею много врагов в армии. Однажды Суворов призвал его к себе в кабинет и выразил ему сердечное сожаление, что он имеет одного сильного злодея, который ему много вредит. Офицер начал спрашивать, не такой ли N.N.?

— Нет,— отвечал Суворов.

— Не такой ли граф В.?

Суворов опять отвечал отрицательно. Наконец, как бы опасаясь, чтобы никто не подслушал, Суворов, заперев дверь на ключ, сказал ему тихонько: «Высунь язык». Когда офицер это исполнил, Суворов таинственно сказал ему: «Вот твой враг». [1, с. 26.]

Однажды к Суворову приехал любимец императора Павла, бывший его брдобрей граф Кутайсов, только что получивший графское достоинство и звание шталмейстера. Суворов выбежал навстречу к нему, кланялся в пояс и бегал по комнате, крича:

— Куда мне посадить такого великого, такого знатного человека! Прощка! Стул, другой, третий,— и при помощи Прощки Суворов становил стулья один на другой, кланяясь и прося садиться выше.

— Туда, туда, батюшка, а уж свалишься — не моя вина,— говорил Суворов. [1, с. 10.]

В другой раз Кутайсов шел по коридору Зимнего дворца с Суворовым, который, увидя истопника, остановился и стал кланяться ему в пояс.

— Что вы делаете, князь,— сказал Суворову Кутайсов,— это истопник.

— Помилуй Бог,— сказал Суворов,— ты граф, я князь; при милости царской не узнаешь, что это будет за вельможа, то надобно его задобрить вперед. [88, с. 347.]

Приехав в Петербург, он (А. В. Суворов) хотел видеть государя, но не имел сил ехать во дворец и просил, чтоб император удостоил его посещением. Раздраженный Павел послал вместо себя — кого? гнусного турка Кутайсова. Суворов сильно этим обиделся. Доложили, что приехал кто-то от государя. «Просите»,— сказал Суворов; не имевший силы встать, принял его, лежа в постеле. Кутайсов вошел в красном мальтийском мундире с голубою лентою чрез плечо.

— Кто вы, сударь? — спросил у него Суворов.

— Граф Кутайсов.

— Граф Кутайсов? Кутайсов? Не слышал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове я не слышал. Да что вы такое по службе?

— Обер-шталмейстер.

— А прежде чем были?

— Обер-егермейстером.

— А прежде?

Кутайсов запнулся.

— Да говорите же.

— Камердинером.

— То есть вы чесали и брили своего господина.

— То... Точно так-с.

— Прощка! — закричал Суворов знаменитому своему камердинеру Прокофию,— ступай сюда, мерзавец! Вот посмотри на этого господина в красном кафтане

с голубою лентой. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он не турка, так он не пьяница! Вот видишь куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьян, и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином.

Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и, воротясь, доложил императору, что князь в беспамятстве. [37, с. 172—173.]

Сидя один раз с ним (А. В. Суворовым) наедине, накануне его отъезда в Вену, разговаривал о войне и о тогдашнем положении Европы. Граф Александр Васильевич начал сперва вычитать ошибки цесарских начальников, потом сообщать свои собственные виды и намерения. Слова текли как река, мысли все были чрезвычайного человека: так его говорящего и подобное красноречие я слышал в первый раз. Но посреди речи, когда я (Ф. В. Ростопчин) был весь превращен в слух и внимание, он сам вдруг из Цицерона и Юлия Кесаря обратился в птицу и запел громко петухом. Не укротя первого движения, я вскочил и спросил его с огорчением: «Как это возможно!» А он, взяв меня за руку, смеючись сказал: «Поживи с мое, закричишь курицей». [117, с. 227.]



Ф. В. РОСТОПЧИН

Ростопчин сидел в одном из парижских театров во время дебюта плохого актера. Публика страшно ему шикала, один Ростопчин аплодировал.

— Что это значит? — спросили его, — зачем вы аплодируете?

— Боюсь, — отвечал Ростопчин, — что как сгонят его со сцены, то он отправится к нам в учителя. [116, с. 116.]

Куракина собиралась за границу.

— Как она не вовремя начинает путешествие, — сказал Ростопчин.

— Отчего же?

— Европа теперь так истощена. [30, с. 11.]

...Планом князя Т. было сделать революцию, как во Франции. Граф Ф. В. Ростопчин вслушался и сказал примечательные сии слова: «Во Франции повара хотели стать принцами, а здесь принцы захотели стать поварами». [114, с. 342.]

Рассказывают, что однажды, находясь с Ростопчиным в многочисленном обществе, где было много князей, император Павел спросил его: «Скажи мне, отчего ты не князь?» После минутного колебания Ростопчин спросил императора, может ли он высказать настоящую причину, и, получивши утвердительный ответ, сказал:

— Предок мой, выехавший в Россию, прибыл сюда зимой.

— Какое же отношение имеет время года к достоинству, которое ему было пожаловано? — спросил император.

— Когда татарский вельможа,— отвечал Ростопчин,— в первый раз являлся ко двору, ему предлагали на выбор или шубу, или княжеское достоинство. Предок мой приехал в жестокую зиму и отдал предпочтении шубе. [68, с. 144.]

Вариант.

Он же рассказывал, что император Павел спросил его однажды:

— Ведь Ростопчины татарского происхождения?

— Точно так, государь.

— Как же вы не князья?

— А потому, что предок мой переселился в Россию зимою. Именитым татарам-пришельцам летним цари жаловали княжеское достоинство, а зимним жаловали шубы. [28, с. 502.]

Граф Ростопчин рассказывает, что в царствование императора Павла Обольянинов поручил Сперанскому изготовить проект указа о каких-то землях, которыми

завладели калмыки или которые у них отнимали (в точности не помню). Дело в том, что Оболянинов остался недоволен редакцией Сперанского. Он приказал ему взять перо, лист бумаги и писать под диктовку его. Сам начал ходить по комнате и наконец проговорил: «По поводу калмыков и по случаю оныя земли». Тут остановился, продолжал молча ходить по комнате и заключил диктовку следующими словами: «Вот, сударь, как надобно было начать указ. Теперь подите и продолжайте». [29, с. 123—124.]

Отец декабриста, Иван Борисович Пестель, сибирский генерал-губернатор, безвыездно жил в Петербурге, управляя отсюда сибирским краем. Это обстоятельство служило постоянным поводом для насмешек современников. Однажды Александр I, стоя у окна Зимнего дворца с Пестелем и Ростопчиным, спросил:

— Что это там на церкви, на кресте черное?

— Я не могу разглядеть, Ваше Величество,— ответил Ростопчин,— это надобно спросить у Ивана Борисовича, у него чудесные глаза: он видит отсюда, что делается в Сибири. [140, с. 39.]

Император Павел очень прогневался однажды на Английское министерство. В первую минуту гнева посылает он за графом Ростопчиным, который заведовал в то время внешними делами. Он приказывает ему изготовить немедленно манифест о войне с Англиею. Ростопчин, пораженный как громом такою неожиданностью, начинает, со свойственной ему откровенностью и смелостью в отношениях к государю, излагать перед ним всю несвоевременность подобной войны, все невыгоды и бедствия, которым может она подвергнуть Россию. Государь выслушивает возражения, но на них не соглашается и не уступает. Ростопчин умоляет императора по крайней мере несколько обождать, дать обстоятельствам возможность и время принять другой, более благоприятный оборот. Все попытки, все усилия министра напрасны. Павел, отпуская его, приказывает ему поднести на другой день утром манифест к подписанию. С сокрушением и скрепя сердце, Ростопчин вме-

сте с секретарями своими принимается за работу. На другой день отправляется во дворец с докладом. Приехав, спрашивает он у приближенных, в каком духе государь. Не в хорошем, отвечают ему. Входит он в кабинет государя. При дворе хотя тайны по-видимому и хранятся герметически закупоренными, но все же частичками оне выдыхаются, разносятся по воздуху и след свой на нем оставляют. Все приближенные к государю лица, находившиеся в приемной пред кабинетом комнате, ожидали с взволнованным любопытством и трепетом исхода доклада. Он начался. По прочтении некоторых бумаг, государь спрашивает:

— А где же манифест?

— Здесь,— отвечает Ростопчин (он уложил его на дно портфеля, чтобы дать себе время осмотреться и, как говорят, ощупать почву).

Дошла очередь и до манифеста. Государь очень доволен редакцией. Ростопчин пытается отклонить царскую волю от меры, которую признает пагубною; но красноречие его также безуспешно, как и накануне. Император берет перо и готовится подписать манифест. Тут блеснул луч надежды зоркому и хорошо изучившему государя глазу Ростопчина. Обыкновенно Павел скоро и как-то порывисто подписывал имя свое. Тут он подписывает медленно, как бы рисует каждую букву. Затем говорит Ростопчину:

— А тебе очень не нравится эта бумага?

— Не умею и выразить, как не нравится.

— Что готов ты сделать, чтобы я ее уничтожил?

— А все, что будет угодно Вашему Величеству, например, пропеть арию из итальянской оперы (тут он называет арию, особенно любимую государем, из оперы, имя которой не упомяну).

— Ну так пой! — говорит Павел Петрович.

И Ростопчин затягивает арию с разными фиоритурами и коленцами. Император подтягивает ему. После пения он раздирает манифест и отдает лоскутки Ростопчину. Можно представить себе изумление тех, которые в соседней комнате ожидали с тоскливым нетерпением, чем разразится этот доклад. [29, с. 154—156.]

Когда Ростопчин уже находился в отставке и жил в Москве весьма уединенно, к нему приехал родственник его Протасов, молодой человек, только что поступивший на службу.

Войдя в кабинет, Протасов застал графа лежащим на диване. На столе горела свеча.

— Что делаешь, Александр Павлович? Чем занимаешься? — спросил Ростопчин.

— Служу, Ваше Сиятельство. Занимаюсь службою.

— Служи, служи, дослуживайся до наших чинов.

— Чтобы дослужиться до вашего звания, надобно иметь ваши великие способности, ваш гений! — отвечал Протасов.

Ростопчин встал с дивана, взял со стола свечку, поднес ее к лицу Протасова и сказал:

— Я хотел посмотреть, не смеешься ли ты над мной?

— Помилуйте! — возразил Протасов, — смею ли я смеяться над вами?

— Вижу, вижу! Так, стало быть, ты и вправду думаешь, что у нас надобно иметь гений, чтобы дослужиться до знатных чинов? Очень жаль, что ты так думаешь! Слушай же, я расскажу тебе, как я вышел в люди и чем дослужился.

Отец мой был хотя и небогатый дворянин, но дал мне хорошее воспитание. По тогдашнему обычаю, для окончания образования я отправился путешествовать в чужие края; я был в то время еще очень молод, но имел уже чин поручика.

В Берлине я пристрастился к картам и раз обыграл одного старого прусского майора. После игры майор отозвал меня в сторону и сказал:

— Герр лейтенант! Мне нечем вам платить — у меня нет денег; но я честный человек. Прошу вас пожаловать завтра ко мне на квартиру. Я могу предложить вам некоторые вещи: может быть, они вам понравятся.

Когда я явился к майору, он повел меня в одну комнату, все стены которой были уставлены шкафами. В этих шкафах, за стеклом, находились в маленьком виде всевозможные оружия и воинские одеяния: латы, шлемы, щиты, мундиры, шляпы, каски, кивера и т. д. Одним словом, это было полное собрание оружия и во-

инских костюмов всех веков и народов, начиная с древности. Тут же красовались и воины, одетые в их современные костюмы.

Посреди комнаты стоял большой круглый стол, где тоже было расставлено войско. Майор тронул пружину, и фигуры начали делать правильные построения и движения.

— Вот,— сказал майор,— все, что мне осталось после моего отца, который был страстен к военному ремеслу и всю жизнь собирал этот кабинет редкостей. Возьмите его вместо платы.

После нескольких отговорок я согласился на предложение майора, уложил все это в ящики и отправил в Россию. По возвращении в Петербург, я расставил мои редкости у себя на квартире, и гвардейские офицеры ежедневно приходили любоваться моим собранием.

В одно утро приезжает ко мне адъютант великого князя Павла Петровича и говорит, что великий князь желает видеть мое собрание и для этого приедет ко мне. Я, разумеется, отвечал, что сам привезу все к его величеству. Привез и расставил мои игрушки. Великий князь был в восхищении.

— Как вы могли составить такое полное собрание в этом роде! — воскликнул он.— Жизни человеческой мало, чтоб это исполнить.

— Ваше Высочество!— отвечал я,— усердие к службе все преодолагает. Военная служба моя страсть.

С этого времени я пошел у него за знатока в военном деле.

Наконец великий князь начал предлагать, чтобы я продал ему мою коллекцию. Я отвечал ему, что продать ее не могу, но почту за счастье, если он позволит мне поднести его высочеству. Великий князь принял мой подарок и бросился меня обнимать. С этой минуты я пошел за преданного ему человека.

— Так вот чем, любезный друг,— заключил свой рассказ граф Ростопчин,— выходят в чины, а не талантом и гением! [44, с. 30.]

Павел сказал однажды графу Ростопчину: «Так как наступают праздники, надобно раздать награды; начнем с андреевского ордена; кому следует его пожа-

ловать?» Граф обратил внимание Павла на графа Андрея Кирилловича Разумовского, посла нашего в Вене. Государь, с первою супругою коего, великою княгинею Наталиею Алексеевною, Разумовский был в связи, изобразив рога на голове, воскликнул: «Разве ты не знаешь?» Ростопчин сделал тот же самый знак рукою и сказал: «Потому-то в особенности и нужно, чтобы об этом не говорили!» [39, с. 370].



АЛЕКСАНДР I И ЕГО ВРЕМЯ





Александр Павлович Башуцкий рассказывал о <...> случае, приключившемся с ним. По званию своему камер-пажа он в дни своей молодости часто дежурил в Зимнем дворце. Однажды он находился с товарищами в огромной Георгиевской зале. Молодежь расходилась, начала прыгать и дурачиться. Башуцкий забылся до того, что вбежал на бархатный амвон под балдахином и сел на императорский трон, на котором стал крикливо и отдавать приказания. Вдруг он почувствовал, что кто-то берет его за ухо и сводит с ступеней престола. Башуцкий обмер. Его выпроваживал сам государь, молча и грозно глядевший. Но должно быть, что обезображенное испугом лицо молодого человека его обезоружило. Когда все пришло в должный порядок, император улыбнулся и промолвил: «Поверь мне! Совсем не так весело сидеть тут, как ты думаешь». [124, с. 362.]

Жуковский мне рассказывал, что когда Николай Михайлович <Карамзин> жил в Китайских домиках, он всякое утро ходил вокруг озера и встречал императора с Александром Николаевичем Голицыным, останавливался и с ним разговаривал иногда, а Голицына, добрейшего из смертных, это корбило. Вечером он <Александр I> часто пил у них чай, Катерина Андреевна всегда была в белом полотняном капоте, Сонюшка в стоптанных башмаках. Пушкин у них бывал часто, но всегда смущался, когда приходил император. Не имея семейной жизни, он ее всегда искал у других, и ему уютно было у Карамзиных; все дети его окружали и пили с ним чай. Их слуга Лука часто сидел, как турка, и кроил себе панталоны. Государь проходил мимо к Карамзиным, не замечая этого. «Император,— говорил Жуковский,— видел что-то белое и думал, что это летописи». У нас завелась привычка панталоны звать летописями. [119, с. 179.]

Одному чиновнику долго не выходило представление о повышении чином. В проезд императора Александра он положил к ногам его следующую просьбу:

«Всемиловитый император,
Аз коллежский регистратор.
Повели, чтоб твоя тварь
Был коллежский секретарь».

Государь подписал: «Быть по сему». [71, с. 45.]

Александр умел быть колким и учтивым. На маневрах он раз послал с приказанием князя <П. П.> Лопухина, который был столько же глуп, как красив; вернувшись, он все переврал, а государь ему сказал: «И я дурак, что вас послал». [119, с. 147.]

Император Александр увидел, что на померанцевом дереве один уже остался плод, и хотел его сберечь и приказал поставить часового; померанец давно сгнил, и дерево поставили в оранжерею, а часового продолжали ставить у пустой беседки. Император проходил мимо и спросил часового, зачем он стоит.

— У померанца, Ваше Величество.

— У какого померанца?

— Не могу знать, Ваше Величество. [119, с. 146.]

В каком-то губернском городе дворянство представлялось императору Александру в одно из многочисленных путешествий его по России. Не расслышав порядочно имени одного из представлявшихся дворян, обратился он к нему.

— Позвольте спросить, ваша фамилия?

— Осталась в деревне, Ваше Величество,— отвечает он,— но, если прикажете, сейчас пошлю за нею. [29, с. 246.]

Дело идет о первом свидании и первой встрече Александра с Наполеоном на плоту на реке Немане, в 1807 году. В это время ходила в народе следующая легенда. Несчастные наши войны с Наполеоном грустно отозвались во всем государстве, живо еще помнившем победы Суворова при Екатерине и при Павле. От этого уныния

до суеверия простонародного, что тут действует нечистая сила, недалеко, и Наполеон прослыл антихристом. Церковные увещания и проповеди распространяли и укрепляли эту молву. Когда узнали в России о свидании императоров, зашла о том речь у двух мужичков. «Как же это,— говорит один,— наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристом. Ведь это страшный грех!» — «Да, как же ты, братец,— отвечает другой,— не разумеешь и не смекаешь дела? Разве ты не знаешь, что они встретились на реке? Наш батюшка именно с тем и повелел приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапартия в реке, а потом уже допустить его пред свои светлые, царские очи». [29, с. 255.]

По какому-то ведомству высшее начальство представляло несколько раз одного из своих чиновников то к повышению чином, то к денежной награде, то к кресту, и каждый раз император Александр I вымарывал его из списка. Чиновник не занимал особенно значительного места, и ни по каким данным он не мог быть особенно известен государю. Удивленный начальник не мог решить свое недоумение и наконец осмелился спросить у государя о причине неблаговоления его к этому чиновнику. «Он пьяница», — отвечал государь. «Помилуйте, Ваше Величество, я вижу его ежедневно, а иногда и по несколько раз в течение дня; смею удостоверить, что он совершенно трезвого и добронравного поведения и очень усерден к службе; позвольте спросить, что могло дать вам о нем такое неблагоприятное и, смею сказать, несправедливое понятие». — «А вот что,— сказал государь.— Одним летом, в прогулках своих я почти всякий день проходил мимо дома, в котором у открытого окошка был в клетке попугай. Он беспрестанно кричал: «Пришел Гаврюшкин — подайте водки».

Разумеется, государь кончил тем, что дал более веры начальнику, чем попугаю, и что опала с несчастного чиновника была снята. [29, с. 97—98.]

По кончине государя Александра Павловича Кокоскин был беспрестанно то в печали о почившем, то в радости о восшествии на престол. Никогда еще игра его физиономии не имела такого опыта: это была совершен-

но официальная, торжественная ода в лицах! Когда было объявлено о воцарении Константина, он всем нам повторял: «Слава Богу, мой милый! Он хоть и горяч, но сердце-то предоброе!» По отречении Константина, он восклицал с восторгом: «Благодари Бога, мой милый! — и прибавлял вполголоса. — Сердце-то у него доброе; да ведь кучер, мой милый, настоящий кучер!» [44, с. 177.]

На кончину Александра написал он стихи. В конце была рифма: «Екатерина» и «Константина». По вступлении на престол государя Николая Павловича, когда он не успел еще напечатать своих стихов, А. И. Писарев сказал ему:

— Как же вы сделаете с окончанием ваших стихов?

— Ничего, мой милый! — отвечал автор. — Переменю только рифму, поставлю: «рая» и «Николая!»

Однако ж конец он совсем переделал. [44, с. 178.]

На похоронах Уварова покойный государь следовал за гробом. Аракчеев сказал громко (кажется, А. Орлову): «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?» (Уваров один из цареубийц 11-го марта.) [81, с. 321.]

Государь долго не производил Болдырева в генералы за картежную игру. Однажды, в какой-то праздник, во дворце, проходя мимо него в церковь, он сказал: «Болдырев, поздравляю тебя». Болдырев обрадовался, все бывшие тут думали, как и он, и поздравляли его. Государь, вышед из церкви и проходя опять мимо Болдырева, сказал ему: «Поздравляю тебя: ты, говорят, вчера выиграл». — Болдырев был в отчаянии. [81, с. 164.]

Импер(атор) Александр следовал примеру бабки и надеялся сблизить русских с поляками свадьбами. Он убедил княгиню (Радзивилл) выйти замуж за генерала Александра Ив(ановича) Чернышева. Чернышев был убежден, что он герой, что все наши победы — его победы... В Петер(бурге) она сказала государю:

— Ваше Величество, может ли женщина развестись с мужем, который ежедневно понемногу ее убивает?

— Конечно.

— Так вот, государь, Чернышев морит меня скукой,— и преспокойно отправилась в Варшаву. [119, с. 152.]

Президент Академии предложил в почетные члены Аракчеева. <А. Ф.> Лабзин спросил, в чем состоят заслуги графа в отношении к искусствам. Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев — «самый близкий человек к государю». «Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова,— заметил секретарь,— он не только близок к государю, но и сидит перед ним». [33, с. 57.]

Генерал <Н. Н.> Раевский был насмешлив и желчен. Во время турецкой войны, обедая у главнокомандующего графа Каменского, он заметил, что кондитор вздумал выставить графский вензель на крыльях мельницы из сахара, и сказал графу какую-то колкую шутку. В тот же день Раевский был выслан из главной квартиры. Он сказывал мне, что Каменский был трус и не мог хладнокровно слышать ядра; однако под какой-то крепостию он видел Каменского, вдавшегося в опасность. Один из наших генералов, не пользующийся блистательною славой, в 1812 году взял несколько пушек, брошенных неприятелем, и выманил себе за то награждение. Встретясь с генералом Раевским и боясь его шуток, он, дабы их предупредить, бросился было его обнимать; Раевский отступил и сказал ему с улыбкою: «Кажется, Ваше превосходительство, принимаете меня за пушку без прикрытия». [81, с. 166.]

Раевский говорил об одном бедном майоре, жившем у него в управителях, что он был заслуженный офицер, отставленный за отличия с мундиром без штанов. [81, с. 166.]

Денис Давыдов явился однажды в авангард к князю Багратиону и сказал: «Главнокомандующий приказал доложить Вашему Сиятельству, что неприятель у нас на носу, и просит вас немедленно отступить». Багратион

отвечал: «Неприятель у нас на носу? на чьем? если на вашем, так он близко; а коли на моем, так мы успеем еще отобедать». [81, с. 158.]

Когда наши войска вступили в Париж, император отдал приказ, чтобы шли в полной парадной форме и чтобы батареи, фургоны вошли позже и обошли бульвары и лучшие улицы. Он (Н. И. Лорер) шел в avenue des Champs Elysées и видит толпу, подходит и с удивлением видит, что хохлы преспокойно курят люльку, а волы лежат возле телег. «Звидкиля вы?» — «З Златоноши, Ваше Благородие». — «Да як же вы пришли сюда?» — «Сказали везти ту пшеницю за армией и пришли до Берлина, это уж в Неметчине, тут сказали: «Идьте домой», а тут опять: «Везите, мерзавцы, до местечка Парижа», вот и прийшли. Да что вони дивуются, французы, да ще и потрогают». Покрытые дегтем, они французам казались как будто не люди, а чучелы. [119, с. 133.]

Адмирал Чичагов, после неудачных действий своих при Березине в 1812 году, впал в немилость и, получив значительную пенсию, поселился за границей. Он невзлюбил Россию и постоянно отзывался о ней резко свысока. П. И. Полетика, встретившись с ним в Париже и выслушав его осуждения всему, что у нас делается, наконец сказал ему с своей язвительной откровенностью:

— Признайтесь, однако ж, что есть в России одна вещь, которая так же хороша, как и в других государствах.

— А что, например?

— Да хоть бы деньги, которые вы в виде пенсии получаете из России. [29, с. 81.]

(П. В.) Чичагов был назначен членом Государственного совета. После нескольких заседаний перестал он ездить в Совет. Доведено было о том до сведения государя. Император Александр очень любил Чичагова, но, однако же, заметил ему его небрежение и просил быть вперед точнее в исполнении обязанности своей. Вслед за этим Чичагов несколько раз присутствовал и опять перестал. Уведомясь о том, государь с некоторым не-

удовольствием повторил ему замечание свое. «Извините, Ваше Величество, но в последнем заседании, на котором я был,— отвечал Чичагов,— шла речь об устройстве Камчатки, а я полагал, что все уже устроено в России, и собираться Совету не для чего». [29, с. 81—82.]

У Ланжерона была моська, его сердечная привязанность, занимавшая его больше, чем Одесса. Г-жа Траполи пришла к нему по делу, он был так рассеян, что взял ее за подбородок и сказал ей: «Моська, о моська». [119, с. 477.]

В армии известно слово, сказанное им во время сражения подчиненному, который неловко исполнил приказание, ему данное. «Ви пороху нье боитесь, но за то ви его нье видумали». [29, с. 57.]

Однажды во время своего начальства в Одессе был он недоволен русскими купцами и собрал их к себе, чтобы сделать им выговор. Вот начало его речи к ним: «Какой ви негоцьянт, ви маркитант; какой ви купец, ви овец» — и движением руки своей выразил козлиную бороду. [29, с. 57.]

В 1828 году, во время турецкой войны, Ланжерон состоял главнокомандующим придунайских княжеств; однажды после довольно жаркого дела, совсем в сумерки, в кабинет к нему врывается плотно закутанная в черный плащ и с густым вуалем на лице какая-то незнакомая ему дама, бросается ему на шею и шепотом начинает говорить ему, что она его обожает и убежала, пока мужа нет дома, чтобы, во-первых, с ним повидаться, во-вторых, напомнить ему, чтобы он не забыл попросить главнокомандующего о том, что вчера было между ними условлено. Ланжерон тотчас же сообразил, что дама ошибается, принимает его, вероятно, за одного из подчиненных, но, как истый волокита, не разуверил свою посетительницу, а, напротив, очень успешно разыграл роль счастливого любовника; как и следовало ожидать, все разъяснилось на другой же день, но от этого Ланжерон вовсе не омрачился и, встретив не-

сколько дней спустя свою посетительницу, которая оказалась одной из самых хорошеньких женщин в Валахии, он любезно подошел к ней и с самой утонченной любезностью сказал ей, что он передал главнокомандующему ее поручение и что тот в ее полном распоряжении. Дама осталась очень довольна, но адъютант, говорят, подал в отставку. [124, с. 449.]

Царевич Грузинский, отличавшийся своею ограниченностью, был назначен присутствующим в правительствующем Сенате.

Одно известное царевичу лицо обратилось к нему с просьбой помочь ему в его деле, назначенном к слушанию в Сенате. Царевич дал слово. После, однако, оказалось, что просителю отказали и царевич, вместе с другими сенаторами, подписал определение. Проситель является к нему.

— Ваша Светлость, — говорит он, — вы обещали мне поддержать меня в моем деле.

— Обещал, братец.

— Как же, Ваша Светлость, вы подписали определение против меня?

— Не читал, братец, не читал.

— Как же, Ваша Светлость, вы подписываете, не читая?

— Пробовал, братец, — хуже выходит. [87, с. 186.]

Однажды приехал Мириан царевич. Императрица его спросила, пьет ли он сельтерскую воду по ее совету. «Нет, Ваше Величество, с нее дует». — «Ах, пожалуйста, затворите окошки. Мириан царевич может простудиться». [119, с. 182.]

Императрица Мария Федоровна спросила у знаменитого графа Платова, который сказал ей, что он с короткими своими приятелями ездил в Царское Село:

— Что вы там делали — гуляли?

— Нет, государыня, — отвечал он, разумея по-своему слово гулять, — большой-то гульбы не было, а так бутылочки по три на брата осушили... [131]

Граф Платов любил пить с Блюхером. Шампанского Платов не любил, но был пристрастен к цимлянскому, которого имел порядочный запас. Бывало сидят да молчат, да и налижуются. Блюхер в беспамятстве спустится под стол, а адъютанты его поднимут и отнесут в экипаж. Платов, оставшись один, всегда жалел о нем:

— Люблю Блюхера, славный, приятный человек, одно в нем плохо: не выдерживает.

— Но, Ваше Сиятельство,— заметил однажды Николай Федорович Смирной, его адъютант или переводчик,— Блюхер не знает по-русски, а вы по-немецки; вы друг друга не понимаете, какое вы находите удовольствие в знакомстве с ним?

— Э! Как будто надо разговоры; я и без разговоров знаю его душу; он потому и приятен, что сердечный человек. [94, с. 677.]

Граф Платов носил всегда белый галстук. Император Александр заметил ему это. «Белый галстук по-опрятнее. Вспотеешь, так можно вымыть»,— отвечал граф. [94, с. 677.]

Платов приказал Смирному написать письмо герцогу де Ришелье. Смирной написал: «герцог Эммануил... и пр.»

— Какой он герцог, напиши дюк.

— Да, Ваше Сиятельство, герцог все равно что дюк.

— Вот еще, станешь учить; дюк поважнее: герцог ни к черту не годится перед дюком. [94, с. 678.]

Говорили, что Платов вывез из Лондона, куда ездил он в 1814 году в свите Александра, молодую англичанку в качестве компаньонки. Кто-то,— помнится, Денис Давыдов,— выразил ему удивление, что, не зная по-английски, сделал он подобный выбор. «Я скажу тебе, братец,— отвечал он,— это совсем не для *хфизики*, а больше для *морали*. Она добрейшая душа и девка благо нравная; а к тому же такая белая и дородная, что ни дать ни взять *Ярославская баба*». [29, с. 257—258.]

Когда после гр. Ростопчина сделали генерал-губернатором Москвы графа Александра Петровича Тормасо-

ва, граф Ростопчин сказал: «Москву *подтормозили!* Видно, прытко шла!» Гр. Тормасов, услышав об этом каламбуре, отвечал: «Ничуть не прытко: она, напротив, была совсем *растоптана!*» [44, с. 298.]

Судьба наших комендантов замечательна. Как все острое приписывалось К〈нязю〉 М〈еншикову〉, так все глупое относилось к комендантам, и все нелепости как наследство переходили от одного к другому, так что не разберешь, что принадлежит 〈П. Я.〉 Башуцкому, а что 〈П. П.〉 Мартынову. К числу таких спорных анекдотов принадлежал и нижеследующий.

Приказано было солдатам развод назначить в шинелях, если мороз выше 10°. К Мартынову является плац-майор.

— А сколько сегодня градусов?

— 5°.

— Развод без шинелей.

Но пока наступило время развода, погода подшутила. Мороз перешел роковую черту, государь рассердился и намылил коменданту голову.

Возвратясь домой, взбешенный Мартынов зовет плац-майора:

— Что вы это, милостивый государь, шутить со мною вздумали. Я с вами знаете что сделаю? Я не позволю себя дурачить. Так 5° было?

— Когда я докладывал Вашему Превосходительству, тогда термометр показывал...

— Термометр-то показывал, да вы-то соврали. Так чтоб больше этого не было, извольте, м〈илостивый〉 г〈осударь〉, вперед являться ко мне с термометром. Я сам смотреть буду у себя в кабинете, а не то опять выйдет катавасия. [63, л. 15—16.]

Был какой-то высокаторжественный день. Весь двор только что сел за парадный стол. 〈П. Я.〉 Башуцкий стоял у окна с платком в руках, чтобы подать сигнал, когда придется виват из крепости палить. 〈А. Л.〉 Нарышкин как гофмаршал не сидел за столом, а распоряжался.

Заметив важную позу коменданта, Нарышкин подошел к нему и сказал:

— Я всегда удивляюсь точности крепостной пальбы

и, как хотите, не понимаю, как это вы делаете, что пальба начинается всегда вовремя...

— О, помилуйте! — отвечал Башуцкий, — очень просто! Я возьму да махну платком вот так!

И махнул заправду, и поднялась пальба, к общему удивлению еще за супом. Всего смешнее было то, что Башуцкий не мог понять, как это могло случиться, и собирался после стола сделать строгий розыск и разыскать с виновного. [63, л. 17—18.]

— Г. комендант! — сказал Александр I в сердцах Башуцкому, — какой это у вас порядок! Можно ли себе представить! Где монумент Петру Великому?..

— На Сенатской площади.

— Был да сплыл! Сегодня ночью украли. Поезжайте разыщите!

Башуцкий, бледный, уехал. Возвращается веселый, довольный; чуть в двери кричит:

— Успокойтесь, Ваше Величество. Монумент целехонек, на месте стоит! А чтобы чего в самом деле не случилось, я приказал к нему поставить часового.

Все захохотали.

— 1-е апреля, любезнейший, 1-е апреля, — сказал государь и отправился к разводу.

На следующий год ночью Башуцкий будит государя:

— Пожар!

Александр встает, одевается, выходит, спрашивая:

— А где пожар?

— 1-е апреля, Ваше Величество, 1-е апреля.

Государь посмотрел на Башуцкого с соболезнованием и сказал:

— Дурак, любезнейший, и это уже не 1-е апреля, а сущая правда. [63, л. 19.]

При лейб-уланском полку, которым командовал великий князь Константин Павлович, состоял ветеринар по фамилии Тортус, прекрасно знавший свое дело, но горчайший пьяница.

Тортус разыгрывал в полку роль Диогена и своим ломаным русским языком говорил правду в лицо всем, даже великому князю, называя всех на «ты». Константин Павлович очень любил Тортуса и никогда не сердился на его грубые ответы и выходки.

Однажды, во время похода, великий князь, приехав на бивуак, спросил Тортуса, хорошо ли ему при полку?

— В твоём полку нет толку! — отвечал старик и, махнув рукой, ушел без дальнейших объяснений.

Раз великий князь пострадал за что-то Тортуса палками.

— Будешь бить коновала палками, так станешь ездить на палочке, — заметил хладнокровно Тортус.

В другой раз великий князь похвалил его за удачную операцию над хромою лошадию.

— Поменьше хвали, да получше корми, — угрюмо отвечал старик.

Великий князь рассмеялся, велел Тортусу придти к себе, накормил его досыта и сам напоил допьяна. [20, с. 170.]

Великий князь Константин Павлович очень любил театр. Охотно и часто присутствовал он в Варшаве на спектаклях польских и французских. Как на одной, так и на другой сцене были превосходные актеры. Великий князь особенно благоволил к ним и вообще милостиво с ними обращался. Французский комик Мере (Mairet) был увлекателен: нельзя было быть умнее и глупее его в ролях простачков. Он часто смешил своею важностью и серьезностью. Шутка его никогда не доходила до шутовства и скоморошества. Он схватывал натуру живьем и передавал ее зрителям в истинном, но вместе с тем и высокохудожественном выражении. Вот настоящее искусство актера: быть истинным до обмана, или обманчивым до истины. Великий князь очень ценил дарование Мере и любил его личность. Однажды бедный Мере, по недогадке, очутился между рядами солдат на Саксонской площади, во время парада, в присутствии великого князя. На парадном плацу и во время развода Его Высочеству было не до шутки. Всеобъемлющим взглядом своим усмотрел он Мере и, как нарушителя военного благочиния, приказал свести его на гауптвахту. Разумеется, задержание продолжалось недолго: после развода великий князь велел выпустить его. На другой день Мере разыгрывал в каком-то водевиле роль солдата национальной гвардии, которому капитан грозит арестом за упущение по службе. «Нет, это уже чересчур скучно (говорит Мере, разумеется, от себя): вчера на гауптвахте, сегодня на гаупт-

вахте; это ни на что не похоже!» Константин Павлович смеялся этой шутке, но встретясь с актером, сказал ему: «Ты, кажется, спрашиваешься на третий арест». [29, с. 141—142.]

Генерал Чаплиц, известный своею храбростью, говорил очень протяжно, плодовито и с большими расстановками в речи своей. Граф Василий Апраксин, более известный под именем Васеньки Апраксина, приходит однажды к великому князю Константину Павловичу, при котором находился он на службе в Варшаве, и просится в отпуск на 28 дней. Между тем ожидали на днях приезда в Варшаву императора Александра. Великий князь, удивленный этою просьбою, спрашивает его, какая необходимая потребность заставляет его отлучаться от Варшавы в такое время. «Генерал Чаплиц,— отвечает он,— назвался ко мне завтра обедать, чтобы рассказать мне, как попался он в плен в Варшаве во время первой Польской революции. Посудите сами, Ваше Высочество, раньше 28 дней никак не отделаюсь». [29, с. 52.]

Разнесся слух, что папа умер. Многие старались угадывать, кого на его место изберет новый конклав. «О чем тут и толковать? — перебил речь тот же Апраксин,— разумеется, назначен будет военный». Это слово, сказанное в тогдашней Варшаве, строго подчиненной военной обстановке, было очень метко и всех рассмешило. [29, с. 52.]

Его же <В. И. Апраксина> спрашивали о некотором лице, известном по привычке украшать свои рассказы красным словцом, не едет ли он в Россию на винные откупы, которые только что открылись в Петербурге. «Нет,— отвечал он,— а едет, чтобы снять поставку лжи на всю Россию». [29, с. 52.]

Однажды преследовал он <Апраксин> Волконского своими жалобами. Тот, чтобы отделаться, сказал ему: «Да подожди, вот будет случай награждения, когда родит великая княгиня <Александра Федоровна>». — «А как выкинет?» — подхватил Апраксин. [30, с. 33.]

Влияние Аракчеева заменило надежды на общее благоденствие, на дары Священного союза. Двор был суров. Главную роль играл при дворе князь Александр Николаевич Голицын, министр просвещения, председатель императорского тюремного общества и главноначальствующий над почтовым департаментом. Он был человеком набожным и мистиком и ловко подлаживался под общее придворное уныние. Но подле него звенела нота безумно веселая в его родном брате от другого отца, Дмитрие Михайловиче Кологривове. Кологривов, хотя дослужился до звания обер-церемониймейстера, дурачился, как школьник. Едут оба брата в карете. Голицын возводит очи горé и вдохновенно поет кантату: «О, Творец! о, Творец!» Кологривов слушает и вдруг затягивает плясовую, припевая: «А мы едем во дворец, во дворец». [124, с. 366.]

Однажды Татьяне Борисовне Потемкиной, столь известной своею богомольностью и благотворительностью, доложили, что к ней пришли две монахини просить подаяния на монастырь. Монахини были немедленно впущены. Войдя в приемную, они кинулись на пол, стали творить земные поклоны и вопить, умоляя о подаянии. Растроганная Татьяна Борисовна пошла в спальню за деньгами, но вернувшись, остолбенела от ужаса. Монашенки неистово плясали вприсядку. То были Кологривов и другой проказник. [124, с. 366.]

Я слышал еще рассказ о том, что однажды государь готовился осматривать кавалерийский полк на гатчинской эспланаде. Вдруг перед развернутым фронтом пронеслась марш-маршем неожиданная кавалькада. Впереди скакала во весь опор необыкновенно толстая дама в зеленой амазонке и шляпе с перьями. Рядом с ней на рысях рассыпался в любезностях отчаянный щеголь. За ними еще следовала небольшая свита. Неуместный маскарад был тотчас же остановлен. Дамую нарядился тучный князь Федор Сергеевич Голицын. Любезным кавалером оказался Кологривов. Об остальных не припомню. Шалунам был объявлен выговор, но карьера их не пострадала. [124, с. 366.]

Страсть Кологривова к уличным маскарадам дошла до того, что, несмотря на свое звание, он иногда наряжался старою нищею чухонкою и мел тротуары. Завидев знакомого, он тотчас кидался к нему, требовал милостыни и, в случае отказа, бранился по-чухонски и даже грозил метлою. Тогда только его узнавали, и начинался хохот. Он дошел до того, что становился в Казанском соборе среди нищих и заводил с ними ссоры. Сварливую чухонку отвели даже раз на съезжую, где она сбросила свой наряд, и перед ней же и винулись. [124, с. 366—367.]

Он <Кологривов> был очень дружен с моим отцом <А. И. Соллогубом>, который тешился его шалостями и сделался однажды его жертвою. Отец, первый столичный щеголь своего времени, выдумывал разные костюмы. Между прочим, он изобрел необыкновенный в то время синий плащ с длинными широкими рукавами. И плащ, и рукава были подбиты малиновым бархатом. В таком плаще приехал он во французский театр и сел в первом ряду кресел. Кологривов сел с ним рядом и, восхищаясь плащом, стал незаметно всовывать в широкие рукава заготовленные медные пятаки. Когда отец поднялся в антракте с кресел, пятаки покатались во все стороны, а Кологривов начал их подбирать и подавать с такими ужимками и прибаутками, что отец первый расхохотался. Но не все проходило даром. В другой раз, в этом же французском театре, Кологривов заметил из ложи какого-то зрителя, который, как ему показалось, ничего в представлении не понимал. Жертва была найдена. Кологривов спустился в партер и начал с ней разговор.

— Вы понимаете по-французски?

Незнакомец взглянул на него и отвечал отрывисто:

— Нет.

— Так не угодно ли, чтоб я объяснил вам, что происходит на сцене?

— Сделайте одолжение.

Кологривов начал объяснять, и понес галиматью страшную. Соседи прислушивались и фыркали. В ложах смеялись. Вдруг не знающий французского языка спросил по-французски:

— А теперь объясните мне, зачем вы говорите такой вздор?

Кологривов сконфузился.

— Я не думал, я не знал!..

— Вы не знали, что я одной рукой могу вас поднять за шиворот и бросить в ложу к этим дамам, с которыми вы перемигивались?

— Извините!

— Знаете вы, кто я?

— Нет, не знаю!

— Я — Лукин.

Кологривов обмер.

Лукин был силач легендарный. Подвиги его богатырства невероятны, и до сего времени идут о нем рассказы в морском ведомстве, к которому он принадлежал. Вот на кого наткнулся Кологривов.

Лукин встал.

— Встаньте,— сказал он.

Кологривов встал.

— Идите за мной!

Кологривов пошел.

Они отправились к буфету, Лукин заказал два стакана пунша. Пунш подали. Лукин подал стакан Кологривову:

— Пейте!

— Не могу, не пью.

— Это не мое дело. Пейте!

Кологривов, захлебываясь, опорожнил свой стакан. Лукин залпом опорожнил свой и снова скомандовал два стакана пунша. Напрасно Кологривов отнекивался и просил пощады — оба стакана были выпиты, а потом еще и еще. На каждого пришлось по восьми стаканов. Только Лукин, как ни в чем не бывало, возвратился на свое кресло, а Кологривова мертво пьяного отвезли домой. [124, с. 367—368.]

Польский граф Красинский был также вдохновенным и замысловатым поэтом в рассказах своих. <...> Две приятельницы (рассказывал Красинский) встретились после долгой разлуки где-то неожиданно на улице. Та и другая ехали в каретах. Одна из них, не заметив, что стекло поднято, опрометью кинулась к нему, пробила стекло головою, но так, что оно насквозь перерезало ей горло, и голова скатилась на мостовую перед самою каретою ее искренней приятельницы. [29, с. 146—147.]

Одного умершего положили в гроб, который заколотили и вынесли в склеп в ожидании отправления куда-то на семейное кладбище. Через несколько времени гроб открывается. Что же тому причиною? «Волоса,— отвечает граф Красинский,— и борода так разрослись у мертвеца, что вышибли покрывку гроба». [29, с. 147.]

Однажды занесся он в рассказе своем так далеко и так высоко, что, не умея как выпутаться, сослался для дальнейших подробностей на Вылежинского, адъютанта своего, тут же находившегося. «Ничего сказать не могу (заметил тот): вы, граф, вероятно, забыли, что я был убит при самом начале сражения». [29, с. 147.]

Одно время проказники сговорились проезжать часто через петербургские заставы и записываться там самыми причудливыми и смешными именами и фамилиями. Этот именной маскарад обратил внимание начальства. Приказано было задержать первого, кто подаст повод к подозрению в подобной шутке. Два дня после такого распоряжения проезжает через заставу государственный контролер Балтазар Балтазарович Кампенгаузен и речисто, во всеуслышание, провозглашает имя и звание свое. «Не кстати вздумали вы шутить,— говорит ему караульный,— знаем вашу братию; извольте-ка здесь посидеть, и мы отправим вас к г-ну коменданту». Так и было сделано. [29, с. 433—434.]

В Петербурге были в óно время две комиссии. Одна — составления законов, другая — погашения долгов. По искусству мастеров того времени надписи их на вывесках красовались на трех досках. В одну прекрасную ночь шалуны переменили последние доски. Вышло: комиссия составления долгов и комиссия погашения законов. [63, л. 83.]

При учреждении нашей школы на здании ее красовалась надпись золотыми буквами на доске серого мрамора: Юнкерская школа. При переводе в другой дом остались на этой же доске некоторые буквы и вышло:

«Юнкерский институт». Когда же дом достался новому учреждению, надлежало переменить и надпись, следовало втиснуть в нее две строки: комиссия составления законов. Последние два слова не уместались на доске, но как, по предложению Розенкампа, комиссия должна была кончить задачу свою в три года, то и положили, для сбережения издержек на новую доску, приставить к краям ее по деревянному концу. Так и сделали. Сначала казалась доска как доска, но лет через десять дерево сгнило, отвалилось, упали две крайние буквы, уцелели слова:

КОМИССИЯ ОСТАВЛЕНИЯ ЗАКОНОВ

Эта надпись красовалась несколько лет к забаве проходивших. [37, с. 235.]

В начале столетия и собирания статистических сведений одна местная власть обратилась в один уезд с требованием доставить таковые сведения. Исправник отвечал: «В течение двух последних лет, то есть с самого времени назначения моего на занимаемое мною место, ни о каких статистических происшествиях, благодаря Бога, в уезде не слышно. А если таковые слухи до начальства дошли, то единственно по недоброжелательству моих завистников и врагов, которые хотят мне повредить в глазах начальства, и я нижайше прошу защитить меня от подобной статистической напраслины». [29, с. 362—363.]

Иван Петрович Архаров, последний бургграф (burgrave) московского барства и гостеприимства, сгоревших вместе с Москвою в 1812 году, имел своего рода угощение. Встречая почетных или любимейших гостей, говорил он: «Чем почтить мне дорогого гостя? Прикажи только, и я для тебя зажарю любую дочь мою». [29, с. 370.]

В начале 20-х годов московская молодежь была приглашена на замоскворецкий бал к одному вице-адмиралу, состоявшему более по части пресной воды. За ужином подходит он к столу, который заняли

молодые люди. Он спрашивает их: «Не нужно ли вам чего?» — «Очень нужно, — отвечают они, — пить нечего». — «Степашка! — кричит хозяин, — подай сейчас этим господам несколько бутылок кислых щей». Вот картина! Сначала общее остолбенение, а потом дружный хохот. [29, с. 374—375.]

В Казани, около 1815 или 1816 года, приезжий иностранный живописец печатно объявлял о себе: «Пишет портреты в постеле, и очень на себя похожие». (Разумеется, речь идет о *пастельных красках*.)

А какова эта вывеска, которую можно было видеть в 1820-х годах в Москве, на Арбате или Поварской! Большими золочеными буквами красовалось: «Гремислав, портной из Парижа». [29, с. 431.]

В провинции, лет сорок тому, если не более, жене откупщика прислана была в подарок из Петербурга разная мебель. Между прочим, было и такое изделие — а какое? Да такое, которое, также уже очень давно, один из московских полицмейстеров, на описи у кого-то движимого имущества, велел, по недоумению на что послужить оно может, писарю наименовать: скрипичный футляр о четырех ножках. Но откупщица на скрипке не играла и не могла даже и таким образом изъяснить эту диковинку. Наконец придумала она, что фаянсовая лохань, заключающаяся в этой диковинке, должна служить на подание рыбы за столом. Так и было сделано. На именинном обеде разварная стерлядь явилась в таком помещении. Это не выдумка, а рассказано мне полковником, который с полком своим стоял в этом городе и был на обеде. [29, с. 483.]

Александр Булгаков рассказывал, что в молодости, когда он служил в Неаполе, один англичанин спросил его: «Есть ли глупые люди в России?» Несколько озадаченный таким вопросом, он отвечал: «Вероятно, есть, и не менее, полагаю, нежели в Англии». — «Не в том дело, — возразил англичанин. — Вы меня, кажется, не поняли; а мне хотелось узнать, почему правительство ваше употребляет на службу чужеземных глупцов, когда имеет своих?»

Вопрос, во всяком случае, не лестный для того, кто занимал посланническое место в Неаполе. [29, с. 485.]

В первых годах текущего столетия можно было видеть визитную карточку следующего содержания: такой-то (немецкая фамилия) временный главнокомандующий бывшей второй армии.

О нем же рассказывали и это: он был очень добрый человек, любил подчиненных своих, и особенно приласкивал молодых офицеров, которые поступали под начальство его, но слаб и сбивчив был он памятью. Например: явится к нему вновь назначенный юноша, из кадетского корпуса. Он спросит фамилию его. «Павлов». — «А не сын ли вы истинного друга моего Петрова? Вы на него и очень похожи». — «Нет, Ваше Превосходительство: я Павлов». — «А, извините, теперь припоминаю; вероятно, батюшка ваш, мой старый сослуживец и друг, Павел Никифорович Сергеев?» И таким образом, в течение нескольких минут переберет он пять или шесть фамилий, и кончит тем, что реченого Павлова пригласит, под именем Алексеева, к себе откушать запросто, чем Бог послал. [29, с. 188.]

Александр Павлович <Офросимов> <...> был большой чудак и очень забавен. Он в мать был честен и прямодушен. Речь свою пестрил он разными русскими прибаутками и загадками. Например, говорил он: «Я человек безчасный, человек безвинный, но не бездушный». — «А почему так?» — «Потому что часов не ношу, вина не пью, но духи употребляю». [29, с. 221.]

Он <А. П. Офросимов> прежде служил в гвардии, потом был в ополчении и в официальные дни любил щеголять в своем патриотическом зипуне с крестом непомерной величины Анны второй степени. Впрочем, когда он бывал и во фраке, он постоянно носил на себе этот крест вроде иконы. Проездом через Варшаву отправился он посмотреть на развод. Великий князь Константин Павлович заметил его, узнал и подозвал к себе.

— Ну, как нравятся тебе здешние войска? — спросил он его.

— Превосходны,— отвечал Офросимов.— Тут уж не видать клавиикордничанья.

— Как? Что ты хочешь сказать?

— Здесь не прыгают клавиши одна за другою, а все движется стройно, цельно, как будто каждый солдат сплочен с другими.

Великому князю очень понравилась такая оценка, и смеялся он применению Офросимова. [29, с. 221.]

В 18-м или 19-м году, в числе многих революций в Европе, совершилась революция и в мужском туалете. Были отменены короткие штаны при башмаках с пряжками, отменены и узкие в обтяжку панталоны с сапогами сверх панталонов; введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах. Эта благодетельная реформа в то время еще не доходила до Москвы. Приезжий N. N. первый явился в Москву в таких *невыразимых*, на бал М. И. Корсаковой. Офросимов, заметя его, подбежал к нему и сказал: «Что ты за штуку тут выкидываешь? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить; а ты вздумал нарядиться матросом». [29, с. 221.]

Памятный Москве оригинал Василий Петрович Титов ехал в Хамовнические казармы к князю Хованскому, начальствующему над войсками, расположенными в Москве. Ехал туда же и в то же время князь Долгоруков, не помню, как звали его. Он несколько раз обгонял карету Титова. Наконец сей последний, высунувшись в окно, кричит ему: «Куда спешишь? Все там будем». Когда доехали до подъезда казарм, князя Долгорукова вытащили мертвого из кареты. [29, с. 470.]

Племянник гр. Литты, кн. Владимир Голицын, спросил его: «А знаете ли вы, какая разница между вами и Бегровым? Вы граф Литта, а он литограф». [29, с. 261.]

Вследствие какой-то проказы за границую, тот же Голицын получил приказание немедленно возвратиться в Россию, на жительство в деревне своей безвыездно.

Возвратившись в отечество, он долгое время колесил его во все направления, переезжая из одного города в другой. Таким образом, приехал он, между прочим, в Астрахань, где приятель его Тимирязев был военным губернатором. Сей последний немало удивился появлению его. «Как попал ты сюда,— спрашивал он,— когда повелено тебе жить в деревне?» — «В том-то и дело,— отвечает Голицын,— что я все ищу, где может быть моя деревня: объездил я почти всю Россию, а все деревни моей нет как нет, куда ни заеду, кого ни спрошу». [29, с. 261.]

Кажется, А. А. Нарышкин рассказывал, что кто-то преследовал его просьбами о зачислении в дворцовую прислугу. «Нет вакансии»,— отвечали ему. «Да пока откроется вакансия,— говорит проситель,— определите меня к смотрению хотя за какую-нибудь канарейкою». — «Что же из этого будет?» — спросил Нарышкин. «Как что? Все-таки будет при этом чем прокормить себя, жену и детей». [29, с. 169.]

Он же рассказывал, что один камер-лакей, при выходе в отставку, просил за долговременную и честную службу отставить его «не в пример другим» Арапом.

В противоположность американским республикам, во дворце выгоднее быть черным, чем белым. Ради Бога, не ищите здесь ни игры слов, ни косвенной эпитаграммы: здесь просто сказано, что жалование, получаемое Арапами, превышает жалование прочей прислуги. [29, с. 169.]

Некто говорил о ком-то: «Он моя правая рука». — «Хороша же, в таком случае, должна быть его левая», — сказал на это едкий граф Аркадий Морков. [29, с. 174.]

Когда Михаил Орлов, посланный в Копенгаген с дипломатическим поручением, возвратился в Россию с орденом Даненброга, кто-то спросил его в Московском Английском клубе: «Что же, ты очень радуешься салфетке своей?» — «Да,— отвечал Орлов,— она мне может пригодиться, чтобы утереть нос первому, кто осмелится позабыться передо мною». [29, с. 239.]

Граф Варфоломей Васильевич (Толстой) был не так оригинален, как жена, но тоже чудак в своем роде. Он имел для приятелей и вообще для слушателей своих несчастную страсть к виолончелю; а впрочем, человек незлой и необидчивый. Имел он привычку просыпаться всегда очень поздно. Так было и 7 ноября 1824 года. Встав с постели гораздо за полдень, подходит он к окну (жил он в Большой Морской), смотрит и вдруг странным голосом зовет к себе камердинера, велит смотреть на улицу и сказать, что он видит на ней. «Граф Милорадович изволит разъезжать на 12-весельном катере»,— отвечает слуга. «Как на катере?» — «Так-с, Ваше Сиятельство: в городе страшное наводнение». Тут Толстой перекрестился и сказал: «Ну слава Богу, что так; а то я думал, что на меня дурь нашла». [29, с. 126—127.]

Мы часто виделись там с Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом, у которого была прекрасная квартира над самым морем. Я никогда не забуду, как один раз отец мой (В. В. Капнист), сидя у них на балконе и видя молодых людей наших, ходивших взад и вперед по двору, споривших горячо и толковавших о политических делах и о разных предположениях и преобразованиях, в самом жару их разговоров внезапно остановил их вопросом:

— Знаете ли, господа, как далеко простираются ваши политические предположения?

Лунин первый воскликнул:

— Ах, скажите, ради Бога!

— Не далее, как от конюшни до сарая! — сказал мой отец, и эта неожиданная ирония смутила и сконфузила их совершенно. [41, с. 116.]

Кстати, о (С. Н.) Сандунове. Намедни, повстречавшись на вечеринке у Павла Андреевича Вейделя с старшим братом своим, известным переводчиком шиллеровских «Разбойников» и сенатским обер-секретарем, таким же остряком, как и он сам, они о чем-то заспорили; а как братья ни за что не упустят случая попотчевать друг друга сарказмами, то старший в пылу спора и сказал младшему: «Тут, сударь, и толковать нечего: вашу братью всякий может видеть за рубль!» — «Правда,— отвечал актер,— зато вашей братьи без красненькой и не увидишь». [46, с. 66.]

Что же касается актрис, то Сила Сандунов говорит, что их жалеть нечего, потому что они имеют свои ресурсы. Селивановский заметил, что жена его также актриса. «Так что ж? — возразил Сандунов, жена сама по себе, а актриса сама по себе: два ампула — и муж не в убытке». [46, с. 113.]

Мы, кажется, упоминали уже о Павле Никитиче Каверине, умном, веселом и неистощимом говоруне. Он сам сознавался в словоохотливости своей. Вот что я слышал от него. Однажды заехал он к старику, больному и умирающему Офросимову, мужу известной в московских летописях Настасии Дмитриевны. Желая развлечь больного, да и себя потешить, он целый битый час не умолкал. Наконец простился и вышел. В передней догоняет его слуга и говорит ему: «Барин приказал спросить вас, не угодно ли вам будет взять кого-нибудь к себе в карету, чтоб было вам с кем поговорить?» [31, с. 429.]

«За что многие не любят тебя?» — кто-то спрашивал Ф. И. Киселева. «За что же всем любить меня? — отвечал он, — ведь я не золотой империял». [29, с. 58.]

Граф Толстой, известный под прозвищем Американца, хотя не всегда правильно, но всегда сильно и метко говорит по-русски. Он мастер играть словами, хотя вовсе не бегаёт за каламбурами. Однажды заходит он к старой своей тетке: «Как ты кстати пришел, — говорит она, — подпишись свидетелем на этой бумаге». — «Охотно, тетушка», — отвечает он и пишет: «При сей верной оказии свидетельствую тетушке мое нижайшее почтение». Гербовый лист стоил несколько сот рублей. [29, с. 58—59.]

За обедом, на котором гостям удобно было петь с Фигаро из оперы Россини: *Cito, cito, piano, piano* (то есть *сыто, сыто, пьяно, пьяно*), Американец Толстой мог быть, разумеется, не из последних запевальщиков. В конце обеда подают какую-то закуску или прикуску. Толстой отказывается. Хозяин настаивает, чтобы он

попробовал предлагаемое, и говорит: «Возьми, Толстой, ты увидишь, как это хорошо; тотчас отобьет весь хмель». — «Ах Боже мой! — воскликнул тот, перекрестясь, — да за что же я два часа трудился? Нет, слуга покорный; хочу оставаться при своем». [29, с. 375.]

Он же (Ф. И. Толстой) в одно время, не знаю по каким причинам, наложил на себя епитимью и месяцев шесть не брал в рот ничего хмельного. В самое то время совершились в Москве проводы приятеля, который отъезжал надолго. Проводы эти продолжались недели две. Что день, то прощальный обед или прощальный ужин. Все эти прощания оставались, разумеется, не сухими. Толстой на них присутствовал, но не нарушал обета, несмотря на все приманки и увещевания приятелей, несмотря, вероятно, и на собственное желание. Наконец назначены окончательные проводы в гостинице, помнится, в селе Всесвятском. Дружно выпит прощальный кубок, уже дорожная повозка у крыльца. Отъезжающий приятель сел в кибитку и пустился в путь. Гости отправились обратно в город. Толстой сел в сани с Денисом Давыдовым, который (заметим мимоходом) не давал обета в трезвости. Ночь морозная и светлая. Глубокое молчание. Толстой вдруг кричит кучеру: стой! Сани остановились. Он обращается к попутчику своему и говорит: «Голубчик Денис, дохни на меня». [29, с. 375—376.]

Князь *** должен был Толстому по векселю довольно значительную сумму. Срок платежа давно прошел, и дано было несколько отсрочек, но денег князь ему не выплачивал. Наконец Толстой, выбившись из терпения, написал ему: «Если вы к такому-то числу не выплатите долг свой сполна, то не пойду я искать правосудия в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу Вашего Сиятельства». [29, с. 59.]

Американец Толстой говорит о (С. П. Жихареве): «Кажется, он довольно смугл и черноволос, а в сравнении с душою его он покажется блондинкою». [29, с. 137.]

Однажды в Английском клубе сидел перед ним барин с красно-сизым и цветущим носом. Толстой смотрел на него с сочувствием и почтением, но видя, что во все продолжение обеда барин пьет одну чистую воду, Толстой вознегодовал и говорит: «Да это самозванец! Как смеет он носить на лице своем признаки им незаслуженные?» [29, с. 137.]

В старые годы московских порядков жила богатая барыня и давала балы, то есть балы давал муж, гостеприимный и пиршествующий москвич, жена же была очень скупа и косилась на эти балы. За ужином садилась она обыкновенно особняком у дверей, через которые вносились и уносились кушанья. Этот *обсервационный пост* имел две цели: она наблюдала за слугами, чтобы они как-нибудь не присвоили себе часть кушаний; а к тому же должны были они сваливать ей на тарелку все, что оставалось на блюдах после разноски по гостям, и все это уплетала она, чтобы остатки не пропадали даром. Эта барыня приходилась сродни Американцу Толстому. Он прозвал ее: *тетушка сливная лохань*. [29, с. 369—370.]

На корабле Федор Иванович <Толстой> придумывал непопозволенные шалости. <...> Старичок корабельный священник был слаб на вино. Федор Иванович напоил его до сложения риз и, когда священник как мертвый лежал на палубе, припечатал его бороду сургучом к полу казенной печатью, украденной у Крузенштерна. Припечатал и сидел над ним; а когда священник проснулся и хотел приподняться, Федор Иванович крикнул: «Лежи, не смей! Видишь, казенная печать!» Пришлось бороду подстричь под самый подбородок. [128, с. 20.]

Последняя его <Ф. И. Толстого> проделка чуть было снова не свела его в Сибирь. Он был давно сердит на какого-то мещанина, поймал его как-то у себя в доме, связал по рукам и ногам и вырвал у него зуб. Вероятно ли, что этот случай был лет десять или двенадцать тому назад? Мещанин подал просьбу. Толстой подарил полицейских, подарил суд, и мещанина посадили в острог за ложный извет. В это время один из-

вестный русский литератор, Н. Ф. Павлов, служил в тюремном комитете. Мещанин рассказал ему дело, неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку, дело клонилось явным образом к его осуждению, но русский Бог велик! Граф Орлов написал князю Щербатову секретное отношение, в котором советовал ему дело затушить, чтоб не дать такого *прямого торжества низшему сословию над высшим...* [33, с. 243.]

Генерал от инфантерии Христофор Иванович Бенкендорф (отец графа А. Х. Бенкендорфа) был очень рассеян.

Проезжая через какой-то город, зашел он на почту проведать, нет ли писем на его имя.

— Позвольте узнать фамилию Вашего Превосходительства? — спрашивает его почтмейстер.

— Моя фамилия? Моя фамилия? — повторяет он несколько раз и никак не может вспомнить. Наконец говорит, что придет после, и уходит. На улице встречается он со знакомым.

— Здравствуй, Бенкендорф!

— Как ты сказал? Да, да, Бенкендорф! — и тут же побежал на почту. [29, с. 91.]

Однажды он был у кого-то на бале. Бал окончился довольно поздно, гости разъехались. Остались друг перед другом только хозяин и Бенкендорф. Разговор шел вяло: тому и другому хотелось спать. Хозяин, видя, что гость его не уезжает, предлагает, не пойти ли им в кабинет. Бенкендорф, поморщившись, отвечает: «Пожалуй, пойдем». В кабинете им было не легче. Бенкендорф, по своему положению в обществе, пользовался большим уважением. Хозяину нельзя же было объяснить ему напрямик, что пора бы ему ехать домой. Прошло еще несколько времени. Наконец хозяин решился сказать:

— Может быть, экипаж ваш еще не приехал; не прикажете ли, я велю заложить свою карету?

— Как — вашу? Да я хотел предложить вам свою, — отвечал Бенкендорф.

Дело объяснилось тем, что Бенкендорф вообразил, что он у себя дома, и сердился на хозяина, который у него так долго засиделся. [29, с. 91.]

Сказывали, что у толстого Дашкова есть какие-то датские собаки, чрезвычайно складные, необыкновенно красивой шерсти и такого огромного роста, что англичане предлагали ему за них большие суммы. Разумеется, Дашков предложения не принял и велел отвечать, что «русский барин собаками не торгует». [46, с. 176.]

Богатый молодой человек, Неелов, зимой, в саних с дышлом, ехал на паре лошадей. Чего-то испугались лошади и понесли. Кучер, не находя другого спасения, круто повернул их на сторону, чтобы они не ударились в стену дома. То был дом графа Кутайсова, с цельными зеркальными стеклами в рамах. Дышло угодило прямо в стекло, и оно разлетелось вдребезги. Граф вспыхнул и, выбежав на улицу, поднял страшный шум. Молодой человек извинялся, просил прощения за кучера, представлял, что вина его невольна... Ничто не помогало: Кутайсов бесился и кричал. Тогда, сохраняя должную вежливость, Неелов сказал:

— Ваше Сиятельство, если вам угодно, я пришлю вам моего кучера: извольте сами его *обрить*.

Было ли то находчивостью молодого человека, или бессознательно удавшийся каламбур, только Кутайсов стих. Тем и кончилось, что один остался обритым.

Быть может, и при других случаях графу Кутайсову приходилось вспомнить, что когда-то в руках его были: полотенце, мыльница и бритва. [97, с. 580.]

Молодой офицер, приехавший в Москву. Сделай одолжение, Неелов: сыщи мне невесту. Смерть хочется жениться.

Неелов. Охотно, у меня есть невеста на примете.

Офицер. А что за нею приданого?

Неелов. Две тысячи стерлядей, которые на воле ходят в Волге. [29, с. 358.]

Прогуливаясь однажды в Летнем саду с своей племянницей, девушкой красоты поразительной, он (А. И. Соллогуб) повстречался с одним знакомым, весьма самоуверенным и необыкновенно глупым.

— Скажи, пожалуйста,— воскликнул этот знакомый,— как это случилось? Ты никогда красавцем не был, а дочь у тебя такая красавица!

— Это бывает,— отвечал немедленно *Соллогуб*.— Попробуй-ка, женись! У тебя, может быть, будут очень умные дети. [124, с. 352.]

Граф ***, рассудительный, многообразованный, благородный, но до высшей степени рассеянный, приезжает однажды к графу Николаю Петровичу *Румянцеву*, уже страдавшему почти совершенною глухотою. На первые слова посетителя канцлер как-то случайно отвечает правильно. «Мне особенно приятно заметить (говорит граф), что Ваше Сиятельство изволите лучше слышать».

Канцлер: Что?

Граф ***: Мне особенно приятно заметить...

Канцлер: Что?

Таким образом перекинулись они еще раза два теми же словами с той и другой стороны. Канцлер, указывая на аспидную доску, которая всегда лежала перед ним на столе, просит написать на ней сказанное. И граф *** с невозмутимым спокойствием пишет на доске: «Мне особенно приятно заметить, что Ваше Сиятельство изволите лучше слышать». [29, с. 245—246.]

В Пажеском корпусе пажи играли и шутили. Всех веселее был Линфорд. Один из офицеров, Клуге фон Клугенау, сказал ему: «Какой вы сын отечества!» — «Я не сын отечества, я Вестник Европы». Тогда было три газеты: «Петербургские ведомости», «Вестник Европы» и «Сын отечества». [119, с. 141.]

За ужином разговорились о Российской Академии. «А сколько считается теперь всех членов?» — спросил Державин Петра Ивановича Соколова. «Да около шестидесяти», — отвечал секретарь Академии. «Неужто нас такое количество? — сказал удивленный Шишков, — я думал, что гораздо менее». — «Точно так; но из них, как Вашему Превосходительству известно, находится налицо немного: одни в отсутствии, другие

избраны только для почета, а некоторые...» — «Не любят грамоты», — подхватил Хвостов. [46, с. 427.]

«Мне давно говорили о Селакадзеве, — сказал Оленин, — как о великом антиквари, и я, признаюсь, по страсти к археологии, не утерпел, чтоб не побывать у него. Что ж, вы думаете, я нашел у этого человека? Целый угол наваленных черепков и битых бутылок, которые выдавал он за посуду татарских ханов, отысканную будто бы им в развалинах Серая; обломок камня, на котором, по его уверению, отдыхал Дмитрий Донской после Куликовской битвы; престранную кипу старых бумаг из какого-нибудь уничтоженного богемского архива, называемых им новгородскими рунами; но главное сокровище Селакадзева состояло в толстой, уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков; эту палку выдавал он за костыль Ивана Грозного, а когда я сказал ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне: «Помилуйте, я честный человек и не стану вас обманывать». В числе этих древностей я заметил две алебастровые статульки Вольтера и Руссо, представленных сидящими в креслах, и в шутку спросил Селакадзева: «А это что у вас за антики?» — «Это не антики, — отвечал он, — но точные оригинальные изображения двух величайших поэтов наших, Ломоносова и Державина». После такой выходки моего антиквара мне осталось только пожелать ему дальнейших успехов в приращении подобных сокровищ и уйти, что я и сделал. [46, с. 436—437.]

«Жив или умер N. N?» — спросил И. И. (Дмитриев). «Не знаю, — он получил в ответ, — одни говорят, что жив, другие, что он умер». — «Но это все равно: он и жил покойником», — заметил И(ван) И(ванович). [42, с. 494.]

Кто-то из собеседников употребил выражение: «Надо заниматься делом». — «Каким делом? — заметил Иван Иванович. — Это слово у разных людей имеет разное значение. Вот, например, Вяземский рассказывал

мне на днях, что под делом разумеют официанты Английского клуба. Он объехал по обыкновению все балы и все вечерние собрания в Москве и завернул наконец в клуб читать газеты. Сидит он в газетной комнате и читает. Было уже поздно — час второй или третий. Официант начал около него похаживать и покашливать. Он сначала не обратил внимания, но наконец, как тот начал приметно выражать свое нетерпение, спросил: «Что с тобою?» — «Очень поздно, Ваше Сиятельство». — «Ну так что же?» — «Пора спать». — «Да ведь ты видишь, что я не один и вон там играют еще в карты». — «Да те ведь, Ваше Сиятельство, дело делают!» [42, с. 494.]

Дмитриев рассказывал, что какой-то провинциал, когда заходил к нему и заставал его за письменным столом с пером в руках: «Что это вы пишете, — часто спрашивал он его, — нынче, кажется, не почтовый день». [29, с. 56.]

Дмитриев любил Антонского, но любил и трунить над ним, очень застенчивым, так сказать, пугливым и вместе с тем легко смешливым. Смущение и веселость попеременно выражались на лице его под шутками Дмитриева. «Признайтесь, любезнейший Антон Антонович, — говорил он ему однажды, — что ваш университет — совершенно безжизненное тело: о движении его и догадываешься только, когда едешь по Моховой и видишь сквозь окна, как профессора и жены их переворачивают на солнце большие бутылки с наливками». [29, с. 324.]

Дмитриев гулял по Кремлю в марте месяце 1801 г. Видит он необыкновенное движение на площади и спрашивает старого солдата, что это значит. «Да съезжаются, — говорит он, — присягать государю». — «Как присягать и какому государю?» — «Новому». — «Что ты, рехнулся, что ли?» — «Да, императору Александру». — «Какому Александру?» — спрашивает Дмитриев, все более и более удивленный и испуганный словами солдата. «Да Александру Македонскому, что ли!» — отвечает солдат. [29, с. 310.]

Дмитриев съехался где-то на станции с барином, которого провожал жандармский офицер. Улучив свободную минуту, Дмитриев спросил его, за что ссылается проезжий?

— В точности не могу доложить Вашему Высокопревосходительству, но кажется, худо отзывался насчет холеры. [29, с. 97.]

Дмитриев, жалуясь на скучного и усердного посетителя своего, говорил, что <тот> приходит держать его под караулом. [29, с. 58.]

Кем-то было сказано: «Стихи мои, обрызганные кровью». «Что ж, кровь текла у него из носу, когда писал он их?» — спросил Дмитриев. [29, с. 125.]

Когда Карамзин был назначен историографом, он отправился к кому-то с визитом и сказал слуге: если меня не примут, то запиши меня. Когда слуга возвратился и сказал, что хозяина дома нет, Карамзин спросил его: «А записал ли ты меня?» — «Записал». — «Что же ты записал?» — «Карамзин, граф истории». [29, с. 244.]

<А. С.> Шишков говорил однажды о своем любимом предмете, т. е. о чистоте русского языка, который позорят введениями иностранных слов. «Вот, например, что́ может быть лучше и ближе к значению своему, как слово *дневальный*? Нет, вздумали вместо его ввести и облагородить слово *дежурный*, и выходит частенько, что дежурный бьет по щекам дневального». [29, с. 81.]

Еще забыл один анекдот о князе <П. И.> Шаликове, доказывающий, что он в нужных случаях не терял присутствия духа. За обедом рассердился на него гордый и заносчивый В. Н. Ч-н и вызвал его на дуэль. Кн. Шаликов сказал: «Очень хорошо! Когда же?» — «Завтра!» — отвечал Ч-н. «Нет! Я на это не согласен! За что же мне до завтра умирать со страху,

ожидая, что вы меня убьете? Не угодно ли лучше сейчас?» Это сделало, что дуэль не состоялась! [44, с. 99.]

При А. М. Пушкине говорили о деревенском поверии, что тараканы залезают в ухо спящего человека, пробираются до мозга и выедают его. «Как я этому рад,— прервал Пушкин,— теперь не буду говорить про человека, что он глуп, а скажу: обидел его таракан». [29, с. 167.]

А. М. Пушкин забавно рассказывает один анекдот из своей военной жизни. В царствование императора Павла командовал он конным полком в Орловской губернии. Главным начальником войск, расположенных в этой местности, было лицо, высокопоставленное по тогдашним обстоятельствам и немецкого происхождения. Пушкин был с ним в наилучших отношениях, как по службе, так и по условиям общительности. Однажды и совершенно неожиданно получает он, за подписью начальника, строжайший выговор, изложенный в выражениях довольно оскорбительных. Пушкин тут же пишет рапорт о сдаче полка по болезни своей старшему по нем штаб-офицеру и просит о совершенном своем увольнении. Начальник посылает за ним и спрашивает о причине подобного поступка. «Причина тому,— говорит Пушкин,— кажется, довольно ясно выражена в бумаге, которую я от вас получил».— «Какая бумага?» Пушкин подает ему полученный выговор. Начальник прочитывает его и говорит: «Так эта-то бумага вас огорчила? Удивляюсь вам! Служба одно, а канцелярия другое. Какую бумагу подаст мне она, я ту и подписую. Службою вашу я совершенно доволен и впредь прошу вас, любезнейший Пушкин, не обращать никакого внимания на подобные глупости». [29, с. 217.]

В течение войны 1806 года и учреждения народной милиции имя Бонапарта (немногие называли его тогда Наполеоном) сделалось очень известным и популярным во всех углах России... По поводу милиции всюду были назначены областные начальники, отправ-

лены генералы, сенаторы для обмундирования и наблюдения за порядком, вооружением ратников, и так далее. Военская деятельность охватила всю Россию. Эта деятельность была несколько платоническая, она мало дала знать себя врагу на деле, но могла бы надумать его, что в народе есть глубокое чувство ненависти к нему и что разгорится она во всей ярости своей, когда вызовет он ее на родной почве и на рукопашный бой. Алексей Михайлович Пушкин, состоявший на милиционной службе при князе Юрии Владимировиче Долгоруком, рассказывал следующее. На почтовой станции одной из отдаленных губерний заметил он в комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене.

— Зачем держишь ты у себя этого мерзавца?

— А вот затем, Ваше Превосходительство,— отвечает он,— что если, не равно, Бонопартий под чужим именем, или с фальшивою подорожною приедет на мою станцию, я тотчас по портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу, да и представлю начальству.

— А, это дело другое! — сказал Пушкин. [29, с. 255—256.]

В одно из пребываний Александра Павловича в Москве, он удостоил частное семейство обещанием быть у него на бале. За несколько дней до бала хозяин дома простудился и совершенно потерял голос. «Само провидение,— говорил тот же Пушкин,— благоприятствует этому празднику: хозяин не может выговорить ни одного слова, и государь избавляется от скуки слушать его». [29, с. 217.]

А. М. Пушкин спрашивал путешествующего англичанина: «Правда ли, что изобрели в Англии машину, в которую вводят живого быка и полтора часа спустя подают из машины выделанные кожи, готовые бифтексы, гребенки, сапоги и проч.».— «Не слыхал,— просто душно отвечал англичанин,— при мне еще не было; вот уже два года, что я разъезжаю по твердой земле. Может быть, эта машина изобретена без меня». [29, с. 115—117.]

Он же (А. М. Пушкин) рассказывал, что у какой-то провинциальной барыни убежала крепостная девушка. Спустя несколько лет барыня проезжает через какой-то уездный город и отправляется в церковь к обедне. По окончании службы, дьячок подносит ей просвиру. Барыня вглядывается в него и вдруг вскрикивает: «Ах, каналья, Палашка, да это ты?» Дьячок в ноги: «Не погубите, матушка! Вот уже четыре года, что служу здесь церковником. Буду за ваше здоровье вечно Бога молить». [29, с. 442.]

У *** рассказывал Алексею Михайловичу Пушкину, как он в 1814 году ночью взят был в плен французами. «Они очень невежливы,— говорил он,— и худо обращались со мной. Я им объяснял, что я генерал и что они должны уважать мое звание. Они отвечали мне: «Знаем эти сказки: ну похож ли ты на генерала?» — «Что же,— перебил его Пушкин,— начинало уже рассветать?» — «Да немножко»,— отвечал тот простодушно и продолжал свое повествование. [29, с. 52.]

Известно, что князь А. А. Шаховской, человек очень умный, талантливый и добрый, был ужасно вспыльчив. Он приходил в неистовое отчаяние при малейшей безделице, раздражавшей его, особенно когда он ставил на сцену свои пьесы. Любовь его к сценическому искусству составляла один из главных элементов его жизни и главных источников его терзаний.

На репетиции какой-то из его комедий, в которой сцена представляла комнату при вечернем освещении, Шаховской был недоволен всем и всеми, волновался, бегал, делал замечания артистам, бутафорам, рабочим и, наконец, обернувшись к лампе, стоявшей на столе среди сцены, закричал ей:

— Матушка, не туда светишь! [52, с. 125.]

В какой-то пьесе играл дебютант Максин, которого князь Шаховской очень недолюбливал. Шаховской сидел с Кокошкиным в директорской ложе. Максин играл очень плохо. Когда он подошел очень близко к директорской ложе, Шаховской высунул-

ся и стал дразнить его языком. Кокошкин схватил Шаховского за руку, оттащил в глубину ложи, усадил в кресла и умиленным голосом начал увещевать:

— Помилуй, князь! Что ты делаешь? За что ты его обижаешь? и конфузишь? Ведь он прекраснейший человек.

— Федор Федорович! — бормотал взбешенный Шаховской, — я рад, что он прекраснейший, добродетельнейший человек, пусть он будет святой, я рад его в святцы записать, молиться ему стану, свечку поставлю, молебн отслужу, — да на сцену-то его, разбойника, не пускайте! [52, с. 125.]

Сказывают, что в дирекцию театра поступает такое множество драм оригинальных и переводных, что она не знает, что с ними делать, а пуще, как отбиться от назойливых авторов, решительно ее осаждающих; эти авторы большей частью подкрепляемы бывают рекомендательными письмами значительных особ, на которые театральное начальство отвечать должно, что приводит его в великое затруднение. Многие из поступающих драм остаются даже и непрочитанными. Казначей театра, П. И. Альбрехт, получивший недавно анненский крест на шею, великий эконоом, предлагал Шаховскому употреблять их для топки печей вместо дров, потому что у него в квартире всегда холодно. «Да за что ж, батюшка Петр Иванович, ты меня совсем заморозить хочешь? — возразил сочинитель «Нового Стерна», — от них еще пуще повеет холодом». [46, с. 476—477.]

Однажды назначено было дать на театре две большие пьесы; чтобы не затянуть спектакля, князь Шаховской решился выбросить одну сцену из пьесы «Меркурий на часах». Сделать это было весьма легко. К Меркурию являются музы, и всякая, после длинного монолога, показывает свое искусство: танцы, пение, музыку и проч., следовательно, стоило только пропустить монолог, и время было бы выиграно, а ход представления нисколько бы не нарушился. Одну из муз играла сестра Кавалеровой — девица Борисова.

Так как Шаховской был близок с Кавалеровыми, то и обратился к Борисовой: «Знаешь что, душа, ты уж свою речь не читай; пропусти ее!» — «Это для чего?» — «А то, знаешь, спектакль протянется слишком долго». — «Да почему же именно я должна отказаться! я лучше совсем не стану играть...» — «Ну что нам с тобою считаться!» — продолжал князь, не замечая, что Борисова обиделась и уже дрожит от волнения. «Я вам не девочка!» — отозвалась она. «Ах, душа, давно знаю, что ты не девочка!..» Актриса упала в обморок. «Верно, я сказал какую-нибудь глупость!» — заметил растерявшийся князь. [70, с. 319.]

Он (А. С. Грибоедов) был отличный пианист и большой знаток музыки: Моцарт, Бетховен, Гайдн и Вебер были его любимые композиторы. Однажды я сказал ему: «Ах, Александр Сергеевич, сколько Бог дал вам талантов: вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист, и, наконец, отличный лингвист!» (Он кроме пяти европейских языков, основательно знал персидский и арабский языки.) Он улыбнулся, взглянул на меня своими умными глазами из-под очков и отвечал мне: «Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего». [38, с. 107.]

Он (А. С. Грибоедов) был скромен и снисходителен в кругу друзей, но сильно вспыльчив, заносчив и раздражителен, когда встречал людей не по душе... Тут он готов был придраться к ним из пустяков, и горе тому, кто попадался к нему на зубок... Тогда соперник бывал разбит в пух и прах, потому что сарказмы его были неотразимы! Вот один из таких эпизодов.

Когда Грибоедов привез в Петербург свою комедию, Николай Иванович Хмельницкий просил его прочесть ее у него на дому; Грибоедов согласился. По этому случаю Хмельницкий сделал обед, на который, кроме Грибоедова, пригласил нескольких литераторов и артистов, в числе последних были: Сосницкий, мой брат и я. Хмельницкий жил тогда барином, в собственном доме на Фонтанке у Симеоновского моста. В назначенный час собралось у него небольшое общество.

Обед был роскошен, весел и шумен... После обеда все вышли в гостиную, подали кофе, и закурили сигары... Грибоедов положил рукопись своей комедии на стол; гости в нетерпеливом ожидании начали придвигать стулья; каждый старался поместиться поближе, чтоб не проронить ни одного слова... В числе гостей был тут некто Василий Михайлович Федоров, сочинитель драмы «Лиза, или Торжество благодарности» и других давно уже забытых пьес... Он был человек очень добрый, простой, но имел претензию на остроумие... Физиономия его не понравилась Грибоедову или, может быть, старый шутник пересолит за обедом, рассказывая неостроумные анекдоты, только хозяину и его гостям пришлось быть свидетелями довольно неприятной сцены...

Покуда Грибоедов закуривал свою сигару, Федоров, подойдя к столу, взял комедию (которая была переписана довольно разгонисто), покачал ее на руке и с простодушной улыбкой сказал: «Ого! какая полновесная!.. Это стоит моей *Лизы*». Грибоедов посмотрел на него из-под очков и отвечал ему сквозь зубы: «Я пошлостей не пишу». Такой неожиданный ответ, разумеется, огорошил Федорова, и он, стараясь показать, что принимает этот резкий ответ за шутку, улыбнулся и тут же поторопился прибавить: «Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич; я не только не хотел обидеть вас сравнением со мной, но, право, готов первый смеяться над своими произведениями». — «Да, над собой-то вы можете смеяться, сколько вам угодно, а я над собой — никому не позволю...» — «Помилуйте, я говорил не о достоинствах наших пьес, а только о числе листов». — «Достоинств *моей* комедии вы еще не можете знать, а достоинства *ваших* пьес всем давно известны». — «Право, вы напрасно это говорите, я повторяю, что вовсе не думал вас обидеть». — «О, я уверен, что вы сказали не подумавши, а обидеть меня вы никогда не сможете».

Хозяин от этих шпилек был как на иголках и, желая шуткой как-нибудь замять размолвку, которая принимала не шуточный характер, взял за плечи Федорова и, смеясь, сказал ему: «Мы за наказание посадим вас в задний ряд кресел...» Грибоедов между тем, ходя по гостиной с сигарой, отвечал Хмельницкому: «Вы можете его посадить, куда вам угодно, только я при нем своей комедии читать не буду...» Федоров

покраснел до ушей и походил в эту минуту на школьника, который силится схватить ежа — и где его ни тронет, везде уколется...

Итак, драматургу из-за своей несчастной драмы пришлось сыграть комическую роль, а комик чуть не разыграл драмы из-за своей комедии. [38, с. 107—109.]

В бытность Грибоедова в Москве, в 1824 году, он сидел как-то в театре с известным композитором Алябьевым, и оба очень громко аплодировали и вызывали актеров. В партере и в райке зрители вторили им усердно, а некоторые стали шикать, и из всего этого вышел ужасный шум. Более всех обратили на себя внимание Грибоедов и Алябьев, сидевшие на виду у всех, а потому полиция сочла их виновниками происшествия. Когда в антракте они вышли в коридор, к ним подошел полицмейстер Ровинский, в сопровождении квартального, и тут произошел между Ровинским и Грибоедовым следующий разговор.

Р. Как ваша фамилия? — *Г.* А вам на что? — *Р.* Мне нужно знать. — *Г.* Я Грибоедов. — *Р.* (*квартальному*). Кузьмин, запиши. — *Г.* Ну, а как ваша фамилия? — *Р.* Это что за вопрос? — *Г.* Я хочу знать, кто вы такой. — *Р.* Я полицмейстер Ровинский. — *Г.* (*Алябьеву*). Алябьев, запиши... [103, с. 466—467.]

Был когда-то молодой литератор, который очень тяготился малым чином своим и всячески скрывал его. Хитрый и лукавый Воейков подметил эту слабость. В одной из издаваемых им газет печатает он объявление, что у такого-то действительного статского советника, называя его полным именем, пропала собака, что просят возратить ее, и так далее, как обыкновенно бывает в подобных объявлениях. В следующем номере является исправление допущенной опечатки. Такой-то — опять полным именем — не действительный статский советник, а *губернский секретарь*. Пушкин восхищался этой проделкою и называл ее лучшим и гениальным сатирическим произведением Воейкова. [29, с. 505.]

Один из самых частых посетителей Дельвига в зиму 1826/27 г. был Лев Сергеевич Пушкин, брат

поэта. Он был очень остроумен, писал хорошие стихи, и, не будь он братом такой знаменитости, конечно, его стихи обратили бы в то время на себя общее внимание. Лицо его белое и волосы белокурые, завитые от природы. Его наружность представляла негра, окрашенного белою краскою. Он был постоянно в дурных отношениях со своими родителями, за что Дельвиг часто его журил, говоря, что отец его хотя и пустой, но добрый человек, мать же и добрая и умная женщина. На возражение Льва Пушкина, что «мать ни рыба ни мясо», Дельвиг однажды, разгорячившись, что с ним случалось очень редко и к нему нисколько не шло, отвечал: «Нет, она рыба». [65, с. 180.]

Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. «Я женат»,— отвечал Рылеев. «Так что же,— сказал Д(ельвиг),— разве ты не можешь отобедать в ресторации потому только, что у тебя дома есть кухня?» [81, с. 159.]

Он (А. С. Пушкин) всегда с нежностью говорил о произведениях Дельвига и Баратынского. Дельвиг тоже нежно любил и Баратынского, и его произведения. Тут кстати заметить, что Баратынский не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых, в своих произведениях, и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил Дельвига в серьезном разговоре: «Что ты называешь родительским падежом?» Баратынский присылал Дельвигу свои стихи для напечатания, и тот всегда поручал жене своей их переписывать; а когда она спрашивала, много ли ей писать, то он говорил: «Пиши только до точки». А точки нигде не было, и даже в конце пьесы стояла запятая! [61, с. 105—106.]

Я с ним (А. А. Дельвигом) и его женою познакомилась у Пушкиных, и мы одно время жили в одном доме, и это нас так сблизило, что Дельвиг дал мне раз (от лености произносить мое имя и фамилию) название 2-й жены, которое за мной и осталось. Вот как это случилось: мы ездили вместе смотреть какого-то фокусника. Входя к нему, он, указывая на

свою жену, сказал: «Это жена моя»; потом, рекомендуя в шутку меня и сестру мою, проговорил: «Это вторая, а это третья». У меня была книга (затеряна теперь), кажется, «Стихотворения Баратынского», которые он издавал; он мне ее прислал с надписью: «Жене № 2-й от мужа безномерного б. Дельвига». [61, с. 106—107.]

Александр Тургенев был довольно рассеян. Однажды обедал он с Карамзиным у графа Сергея Петровича Румянцева. Когда за столом Карамзин подносил к губам рюмку вина, Тургенев сказал ему вслух: «Не пейте, вино прескверное, это настоящий уксус». Он вообразил себе, что обедает у канцлера графа (Н. П.) Румянцева, который за глухотою своею ничего не расслышит. [29, с. 245.]

Он (А. И. Тургенев) был не гастроном, не лакомка, а просто обжорлив. Вместимость желудка его была изумительная. Однажды после сытного и сдобного завтрака у церковного старосты Казанского собора отправляется он на прогулку пешком. Зная, что вообще не был он охотник до пешеходства, кто-то спрашивает его: «Что это вздумалось тебе идти гулять?» — «Нельзя не пройтись,— отвечал он,— мне нужно проголодаться до обеда». [31, с. 369.]

В архиве его (А. И. Тургенева) или в архивах (потому что многое перевезено им к брату в Париж, а многое оставалось в России) должны храниться сокровища, достойные любопытства и внимания всех просвещенных людей. О письменной страсти его достаточно для убеждения каждого рассказать следующий случай. После ночного бурного, томительного и мучительного плавания из Булони Темзою в Лондон он и приятель его, в первый раз тогда посещавший Англию, остановились в гостинице по указанию и выбору Тургенева и, признаться (вследствие экономических опасений его), в гостинице весьма неблагоприятной и далеко не фешьоннабельной. Приятель на первый раз обрадовался и этому: расстроенный переездом, усталый, он бросился на кровать, чтобы немножко

отдохнуть. Тургенев сейчас переоделся и как встре-
панный побежал в русское посольство. Спустя чет-
верть часа он, запыхавшись, возвращается и на воп-
рос, почему он так скоро возвратился, отвечает, что
узнал в посольстве о немедленном отправлении курь-
ера и поспешил домой, чтобы изготовить письмо. «Да
кому же хочешь ты писать?» Тут Тургенев немнож-
ко смутился и призадумался. «Да в самом деле,—
сказал он,— я обыкновенно переписываюсь с тобою,
а теперь ты здесь. Но все равно: напишу одному из
почтдиректоров, или московскому, или петербург-
скому». И тут же сел к столу и настроил письмо в
два или три почтовые листа. [31, с. 369.]

Князь П. А. Вяземский, Жуковский, Александр
Ив. Тургенев, сенатор Петр Ив. Полетика часто у нас
обедали. Пугачевский бунт, в рукописи, был слушаем
после такого обеда. За столом говорили, спорили;
кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и
всегда имел последнее слово. Его живость, изворот-
ливость, веселость восхищали Жуковского, который,
впрочем, не всегда с ним соглашался. Когда все по-
сле кофия уселись слушать чтение, то сказали Тур-
геневу: «Смотри, если ты заснешь, то не храпеть».
Александр Иванович, отнекиваясь, уверял, что ни-
когда не спит: и предмет и автор бунта, конечно, ру-
чаются за его внимание. Не прошло и десяти минут,
как наш Тургенев захрапел на всю комнату. Все рас-
смеялись, он очнулся и начал делать замечания как
ни в чем не бывало. [119, с. 25.]



А. Л. НАРЫШКИН

На берегу Рейна предлагали А. Л. Нарышкину
взойти на гору, чтобы полюбоваться окрестными
живописными картинами. «Покорнейше благодарю,—
отвечал он,— с горами обращаюсь, как с дамами:
пребываю у их ног». [29, с. 137.]

31 декабря 1806 года была играна в первый раз «Илья-Богатырь», волшебного-комическая опера в 4 действиях, соч. Крылова... В «Илье-Богатыре» много комических и вместе с тем остроумных сцен; завистливые критики расточали разные насмешки насчет новой оперы, сравнивая ее с «Русалкою». Директор (императорских театров) Нарышкин сказал:

Сравнения критиков двух опер очень жалки:
Илья сто раз умней Русалки.

[8, с. 176.]

В 1811 году в Петербурге сгорел большой каменный театр. Пожар был так силен, что в несколько часов совершенно уничтожилось его огромное здание. Нарышкин, находившийся на пожаре, сказал встревоженному государю:

— Нет ничего более: ни лож, ни райка, ни сцены,— все один партер. [56, с. 283.]

Нарышкин не любил (Н. П.) Румянцева и часто трюнил над ним. Последний до конца своей жизни носил косу в своей прическе.

— Вот уж подлинно скажешь,— говорил Нарышкин,— нашла коса на камень. [83, с. 243.]

Нарышкин говорил про одного скучного царедворца: «Он так тяжел, что если продавать его на вес, то на покупку его не стало бы и Шереметевского имения». [29, с. 73.]

Так как расточительность поглощала все доходы Нарышкина, то ему часто приходилось быть щедрым только на словах; поэтому, когда ему нужно было кого-нибудь наградить, то он забавно говорил: «Напомните мне пообещать вам что-нибудь». [57, с. 360.]

Когда принц Прусский гостил в Петербурге, шел непрерывный дождь. Государь изъявил сожаление. «По крайней мере принц не скажет, что Ваше Величество его сухо приняли»,— заметил Нарышкин. [104, с. 872.]

«Отчего здесь так много губернаторов?» — спросил государь Александра Львовича Нарышкина. — «Приехали, Ваше Величество, — отвечал он, — проситься в вице-губернаторы». Он хотел сказать этим, что вице-губернаторские места несравненно доходнее губернаторских при тогдашнем управлении откупами, в бытность Гурьева министром финансов. [104, с. 872.]

Раз как-то на параде, в Пажеском корпусе, инспектор кадет упал на барабан.

— Вот в первый раз наделал он столько шума в свете, — заметил Нарышкин. [83, с. 245.]

Получив с прочими дворянами бронзовую медаль в воспоминание 1812 года, Нарышкин сказал:

— Никогда не расстанусь с нею, она для меня бесценна; нельзя ни продать ее, ни заложить. [83, с. 245.]

«Отчего ты так поздно приехал ко мне», — спросил его раз император. «Без вины виноват, Ваше Величество, — отвечал Нарышкин, — камердинер не понял моих слов: я приказал ему заложить карету; выхожу — кареты нет. Приказываю подавать, — он подает мне пук ассигнаций. Надобно было послать за извозчиком». [56, с. 284.]

Раз при закладе одного корабля государь спросил Нарышкина: «Отчего ты так невесел?» — «Нечему веселиться, — отвечал Нарышкин, — вы, государь, в первый раз в жизни закладываете, а я каждый день». [84, с. 113.]

В начале 1809 года, в пребывание здесь прусского короля и королевы, все знатнейшие государственные и придворные особы давали великолепные балы в честь великолепных гостей. А. Л. Нарышкин сказал притом о своем бале: «Я сделал то, что было моим долгом, но я и сделал это в долг». [105, стлб. 0254.]

Сын Нарышкина, генерал-майор, в войну с французами получил от главнокомандующего поручение удержать какую-то позицию. Государь сказал Александру Львовичу: «Я боюсь за твоего сына: он *занимает* важное место». — «Не опасайтесь, Ваше Величество, мой сын в меня: что *займет*, того не отдает». [104, с. 872.]

Умирая на смертном одре, он (А. Л. Нарышкин) сказал: «В первый раз я отдаю долг — природе». [83, с. 245.]

— Он живет открыто, — отозвался император об одном придворном, который давал балы чуть ли не каждый день.

— Точно так, Ваше Величество, — возразил Нарышкин, — у него два дома в Москве без крыш. [84, с. 413.]

Раз в театре, во время балета, государь спросил Нарышкина, отчего он не ставит балетов со множеством всадников, какие прежде давались не часто.

— Невыгодно, Ваше Величество! Предместник мой ставил такие балеты, потому что, когда лошади делались негодны для сцены, он мог их отправлять на свою кухню... и... съесть.

Предместник его, князь Юсупов, был татарского происхождения. [84, с. 416.]

Один старый вельможа, живший в Москве, жаловался на свою каменную болезнь, от которой боялся умереть.

— Не бойтесь, — успокаивал его Нарышкин, — здесь деревянное строение на каменном фундаменте долго живет. [83, с. 244.]

— Отчего, — спросил его кто-то, — ваша шляпа так скоро изнашивается?

— Оттого, что я сохраняю ее под рукой, а вы на болване. [56, с. 285.]

Мне говорили — не знаю, насколько это верно, — что <...> император прислал Нарышкину альбом или скорее книгу, в которую вплетены были сто тысяч рублей ассигнациями. Нарышкин, всегда славившийся своим остроумием и находчивостью, поручил передать императору свою глубочайшую признательность и присовокупил: «Что сочинение очень интересное и желательно получить продолжение». Говорят, государь и вторично прислал такую же книгу с вплетенными в нее ста тысячами, но приказал прибавить, что «издание закончено». [124, с. 409.]



Д. И. ХВОСТОВ

Дмитрий Иванович Хвостов, первый и предпоследний граф сего имени (ибо пожилой сын его, вероятно, не женится), был известен всей читающей России. Для знаменитости, даже в словесности, великие недостатки более нужны, чем небольшие достоинства. Когда и как затеял он несколько поколений смешить своими стихами, я этого не знаю; знаю только понаслышке, что в первой и последующих за нею молодостях, лет до тридцати пяти, слыл он богатым женихом и потому присватывался ко всем знатным невестам, которые с отвращением отвергли его руку. Наконец пришлось по нем одна княжна Горчакова, которая едва ли не столько же славилась глупостью, как родной дядя ее Суворов — победами. Этот союз вдруг поднял его: будучи не совсем молод, неблагообразен и неуклюж, пожалован был он камер-юнкером пятого класса — звание завидуемое, хотя обыкновенно оно давалось восемнадцатилетним знатным юношам. Это так показалось странно при дворе, что были люди, которые осмелились заметить о том Екатерине. «Что мне делать, — отвечала она, — я ни в чем не могу отказать Суворову: я бы этого человека сделала фрейлиной, если б он этого потребовал». [101, с. 477.]

Хвостов сказал: «Суворов мне родня, и я стихи плету». — «Полная биография в нескольких словах, —

заметил Блудов,— тут в одном стихе все, чем он гордиться может и стыдиться должен». [29, с. 125.]

...Стихотворение, конечно, войдет в новое ежегодное издание графских творений, печатаемых книгопродавцем Иваном Васильевичем Слениным, с похвальными предисловиями таланту графа Дмитрия Ивановича, на деньги, отпускаемые графскою конторою по аптекарским щетам quasi-издателя Сленина, преисправно набивающего себе при этом карман. Процесс этого курьезного и бесцеремонного карманонабивания Слениным очень прост: во-первых, он черпает из домовой графской конторы денег на потребности издания гораздо больше, чем сколько действительно издерживается на издание, а во-вторых, ему же, Сленину, поручается скупать на счет хозяина все оставшиеся в книжных лавках экземпляры, причем за труд ему отходит порядочный куш. Сленин, конечно, не сжигает эти книги, что было бы не по-коммерчески, а по весьма недорогой цене с пуда продает на оклейку стен обоями малярных дел мастерам. [21, с. 167.]

В 1820 году зимою проживал в Петербурге вологодский помещик и поэт тогдашнего закала с обращениями к луне, к лазоревым очам, к утраченным наслаждениям и проч., Павел Александрович Межаков. Он давал обеды, вечера и ужины всем тогдашним литературным корифеям столицы, которые у него ели, пили и читали свои произведения. На эти «межаковские литературные вечера», в числе прочих, являлся и граф Д. И. Хвостов с пуком стихов и обыкновенно с двумя или тремя своими чтецами, премьером которых, конечно, был его любезный Георгиевский. Раз, в то время, когда все общество шло к ужину, явился славившийся в то время, а теперь почти совершенно забытый стихотворец Милонов, отличавшийся крайнею невоздержанностью к спиртным напиткам. К горю чопорного хозяина-амфитриона, этот пиит явился в опьяненном и сильно экзальтированном состоянии. Он требует себе стакан воды, но вместо воды выпивает залпом две рюмки кюммеля, делая вид, что принимает хмельной напиток за невскую воду. Он за столом помещается против графа и начинает неумеренно восхвалять добродетели сиятельного стихотворца, сравнивая его, по сердечным

своим свойствам, с добродетельнейшими людьми древнего мира. При этом Милонов, водя глазами вокруг, заявляет, что он готов стреляться с каждым, кто дерзнул бы не разделить это мнение. Тогда граф с сконфуженным видом говорит через стол Милонову, что он заставляет его краснеть и что вообще он не любит похвал себе. «Ну, так я удовлетворю скромности Вашего Сиятельства,— восклицает пьяный стихотворец,— и заставлю вас побледнеть!» И в самом деле, граф скоро сделался ни жив ни мертв, страшно побледнел, чуть не упал в обморок, потому что Милонов принялся на чем свет стоит поносить все его стихотворения, из которых, владея необыкновенною памятью, наизусть приводил цитаты и едко их осмеивал с прибавкою множества совершенно непечатных выражений. Хозяин не знал, куда ему деться, был в отчаянии и остался очень доволен тем, что граф, ссылаясь на позднюю пору и головную боль, уехал до окончания ужина, не дождавшись в ту пору обычного пирожного, которое сверху пылало синим пламенем, содержа в себе ванильное мороженое, и называлось «Везувий на Монблане». Милонов дождался «Везувия», не коснувшись «Монблана», захватил ложку пылавшего араку и затем свалился под стол. [21, с. 168—169.]

Летом 1822 года И. А. Крылов с тогдашним закадычным приятелем своим М. С. Шулениным, печатавшим бездну стихов, довольно остроумных, под псевдонимом «Усольца», нанимал дачу на петергофской или нарвской дороге, очень недалеко от городской черты. К ним почти каждый вечер собирались литераторы, большею частью масоны разных лож, кажется, в то время еще существовавших открыто. Распорядителем этих собраний, где угощение совершалось в складчину всеми гостями-братьями, был И. А. Крылов, прозванный друзьями «Соловьем». Граф Дмитрий Иванович, пронохав об этих сборищах, члены которых читали свои произведения, настроил огромную оду под заглавием «Певцу-Соловью» и поехал на дачу; в этот день там был между прочими гостями и В. А. Жуковский. Граф был впущен в залу собрания после того, как он формально объявил о своем желании быть членом общества и внес, в качестве члена, на общественные издержки 25 рублей. Затем граф попросил позволения прочесть

оду свою «Певцу-Соловью». «Сколько строф или куплетов?» — спросили его. «Двадцать», — отвечал он и стал читать. Только что окончил он первую строфу, как раздались рукоплескания. Он хотел начать вторую, но ему не дали читать и продолжали аплодировать. Граф сконфузился. Один из членов объяснил ему, что если при чтении аплодируют, то читающий должен, по уставу, купить бутылку шампанского (которое продавалось тогда не дешевле 10 р. ассигнациями за бутылку). Таким образом, эта «поэтическая экскурсия» обошлась графу в каких-нибудь 200 рублей ассигнациями, и он закаялся ездить на дачу петергофской дороги, где хозяйничал «Певец-Соловей» — «разбойник», как тихомолком впоследствии он называл этого хозяина, так негостеприимно обратившегося со своим воспевателем. [21, с. 169—170.]

В 1822 году Булгарин издавал свой «Северный Архив» и в это самое время, познакомившись с графом Хвостовым и имея дело, производившееся в Сенате, просил графа замолвить слово, с передачею записки, какому-то влиятельному сенатору. Граф исполнил желание Булгарина и сказал ему, что он рад все для него сделать. «Пожалуйста, — прибавил он, — по этому поводу не стесняйтесь и не церемоньтесь. Если пришлют к вам какие-нибудь на меня критики, — печатайте; я не буду в претензии». — «А похвалы, Ваше Сиятельство, дозволите также печатать?» — спросил вкрадчиво Булгарин. «Лишь бы справедливые», — заметил граф. Булгарин в этот день возвратился к себе на квартиру почти ночью, — он обедал в гостях и провел вечер в театре. Ему подают пакет, он распечатывает и находит панегирик произведениям графа Хвостова в самой бурсацкой прозе с собственноручными поправками его сиятельства. [21, с. 170—171.]

«А знаете ли вы, — спросил у меня Шулеников, — стихи графа Д. И. Хвостова, которые он в порыве негодования за какое-то сатирическое замечание, сделанное ему Крыловым, написал на него?» — «Нет, не слышал», — отвечал я. «Ну, так я вам прочитаю их, не потому, что они заслуживали какое-нибудь внимание, а только для того, чтоб вы имели понятие о сатири-

ческом таланте графа. Всего забавнее было, что он выдавал эти стихи за сочинение неизвестного ему остряка и распускал их с видом сожаления, что есть же люди, которые имеют несчастную склонность язвить таланты вздорными, хотя, впрочем, и очень остроумными эпиграммами. Вот эти стишонки:

Небритый и нечесаный,
Взвалившись на диван,
Как будто неотесанный
Какой-нибудь чурбан.
Лежит совсем разбросанный
Зоил Крылов Иван:
Объелся он иль пьян?

Крылов тотчас же угадал стихокропателя: «В какую хочешь нарядись кожу, мой милый, а ушка не спрячешь»,— сказал он и отмстил ему так, как только в состоянии мстить умный и добрый Крылов: под предлогом желанья прослушать какие-то новые стихи графа Хвостова, напросился к нему на обед, ел за троих и после обеда, когда Амфитрион, пригласив гостя в кабинет, начал читать стихи свои, он без церемонии повалился на диван, заснул и проспал до позднего вечера». [46, с. 360—361.]

Однажды пришел к последнему (И. А. Крылову) приятель его Ок (ладников) и уговорил Крылова отправиться вместе к гр. Хвостову. Посещение их чрезвычайно обрадовало неутомимого стихотворца. «Садитесь, господа,— сказал он в кабинете,— я прочту вам новое свое произведение».— «Нет, не сядем,— отвечал Ок (ладников),— пока не ссудишь ты меня двумястами рублями». Хвостов отговаривался. «Прощай»,— сказал Ок (ладников) с досадою и пригласил Крылова последовать его примеру. «Останьтесь, выслушайте! — сказал хозяин с еще большим неудовольствием,— право не будете раскаиваться».— «Дай двести рублей,— продолжал Ок (ладников),— останемся».— «Дам, но выслушайте наперед».— «Нет, брат, не проведешь: дай двести рублей, а там читай, сколько тебе будет угодно».— «И вы останетесь у меня, будете слушать?» — «Останемся и будем слушать». Деньги отсчитаны, гости уселись у окна, близ двери, хозяин начал чтение с жаром, свойственным поэтам. Долго продолжалось оно. Выведенный из терпения Ок (ладников) сказал на ухо Крылову: «Уйдем, право, нет сил!» Крылов советовал

дождаться конца. Ок〈ладников〉 удалился потихоньку, потом Крылов; но последний, вышедши, остановился за дверью, ожидая развязки. «Не правда ли, друзья,— произнес наконец стихотворец, прервав свое чтение,— что это стих гениальный! — и, не слыша ответа, оглянулся, вскрикнув с сердцем: — Ах, проклятые, они ушли!» Тогда Крылов бросился бежать, не оглядываясь назад. [62, с. 302—303.]

Граф Хвостов любил посылать, что ни напечатает, ко всем своим знакомым, тем более к людям известным. Карамзин и Дмитриев всегда получали от него в подарок его стихотворные новинки. Отвечать похвалою, как водится, было затруднительно. Но Карамзин не затруднялся. Однажды он написал к графу, разумеется, иронически: «Пишите! Пишите! Учите наших авторов, как должно писать!» Дмитриев укорял его, говоря, что Хвостов будет всем показывать это письмо и им хвастаться; что оно будет принято одними за чистую правду, другими за лесть; что и то, и другое нехорошо.

— А как же ты пишешь? — спросил Карамзин.

— Я пишу очень просто. Он пришлет ко мне оду или басню; я отвечаю ему: «Ваша ода, или басня, ни в чем не уступает старшим сестрам своим!» Он и доволен, а между тем это правда. [22, с. 273.]

Преданный страсти к славолюбию и известности, граф Хвостов из чувства первого и ради последней, по дороге к его деревне (село Талызино в Симбирской губернии), по которой он часто ездил, дарил свои сочинения станционным зрителям с непременно условием, однако ж, вынуть из книги его портрет и украсить им стену, поместив под портретом царствующего императора, находившимся на каждой станции. [22, с. 273—274.]

Нет того плохого стихокропателя, у которого не встретилось бы нескольких стихов, достойных памяти. Такие три стиха отысканы даже у графа Д. И. Хвостова. Например:

- 1) Потомства не страшись — его ты не увидишь!
- 2) Выкрадывать стихи — не важное искусство.
- 3) Украдь Корнелев дух, а у Расина чувство!

А. Ф. Воейков, этот злой и ехидный зоил, говаривал всегда, когда у графа Хвостова случался порядочный стих: «Это он так, нечаянно промолвился». [22, с. 274.]

Однажды в Петербурге граф Хвостов долго мучил у себя на дому племянника своего Ф. Ф. Кокошкина (известного писателя) чтением ему вслух бесчисленного множества своих виршей. Наконец Кокошкин не вытерпел и сказал ему:

— Извините, дядюшка, я дал слово обедать, мне пора! Боюсь, что опоздаю; а я пешком!

— Что же ты мне давно не сказал, любезный! — отвечал граф Хвостов, — у меня всегда готова карета, я тебя подвезу!

Но только что они сели в карету, граф Хвостов выглянул в окно и закричал кучеру: «Ступай шагом!» — а сам поднял стекло кареты, вынул из кармана тетрадь и принялся снова душить чтением несчастного запертого Кокошкина. [22, с. 275.]

В Летнем саду, обычном месте своей прогулки, граф обыкновенно подсаживался к знакомым и незнакомым и всех мучал чтением этих стихов до того, что постоянные посетители сада всеми силами старались улизнуть от его сиятельства. Достоверно известно, что граф Хвостов нанимал за довольно порядочное жалование в год, на полном своем иждивении и содержании, какого-нибудь или отставного, или выгнанного из службы чиновника, все обязанности которого ограничивались слушанием или чтением вслух стихов графа. В двадцатых годах таким секретарем, чтецом и слушателем у графа <...> был некто отставной ветеринар, бывший семинарист Иван Иванович Георгиевский. Он пробыл несколько лет у графа, благодаря только своей необыкновенно сильной, топорной комплексии; другие же секретари-чтецы графа, несмотря на хорошее жалование и содержание, более года не выдерживали пытки слушания стихов; обыкновенно кончалось тем, что эти бедняки заболели какою-то особенною болезнью, которую Н. И. Греч, а за ним и другие петербургские шутники называли «метрофобией» или «стихофобией». [22, с. 14—15.]

Более удачные из произведений графа Хвостова не пользовались его авторской любовью. Он питал ее к тем из своих стихотворений, которые кто-то очень удачно называл «высокой галиматьею» (*sublime du galimatias*). К числу этого рода виршеизвержений графа Дмитрия Ивановича принадлежат в особенности изданные им в 1830 году стихи: *Холера-Морбус*. Они напечатаны были в большую четверку *in quarto* и заключали в себе ряд ужасающих стихотворных невозможностей. Они были изданы в пользу пострадавших от холеры. Тогдашние газеты, в особенности «Северная Пчела» Греча и Булгарина, подтрунивали над этим великодушным даром его сиятельства и давали прозрачно чувствовать и понимать, что если граф сам не скупит всех экземпляров, продававшихся по рублю... то пострадавшие от холеры не увидят этих денег, как своих ушей.

На этот раз вышло иначе, чем обыкновенно случалось с изданиями графа, т. е. что из публики их никто не покупал и они оставались бы навсегда в книжных лавках, если бы их не скупали секретные агенты графа, секрет которых, впрочем, был шит белыми нитками, почему всех этих агентов графа книгопродавцы знали в лицо, как свои пять пальцев. Напротив, к великому удивлению автора, книгопродавцев и публики, посвященной в тайну чудака-графа, его стихотворение «Холера-Морбус», отпечатанное в количестве 2400 экземпляров, дало в пользу благотворения более 2000 рублей, разумеется, как тогда считали, ассигнационных, что, при тогдашней ценности денег, составляло порядочную сумму. Эти деньги поступили в попечительный холерный комитет, находившийся под председательством тогдашнего генерал-губернатора (тогда еще не графа) Петра Кирилловича Эссена (о котором русские солдаты говорили: «Эссен умом тесен»). Граф Хвостов, восхищенный этим успехом, поспешил препроводить к графу Эссену еще тысячу рублей, при письме, в котором упоминалось, что «Бог любит троицу, эта третья тысяча препровождается к господину главноначальствующему в столице». Но, на беду, старик граф Дмитрий Иванович не вытерпел и нафаршировал письмо своими стихами. Такой официально-поэтический документ поставил Петра Кирилловича Эссена в тупик, в каковой, впрочем, его превосходительство сплошь да рядом становился. Говорили, что генерал-губернатор, возмущаемый тем, что официальное отношение напи-

сано в стихах, хотел было отослать обратно и деньги с просьбою прислать его при отношении по форме. Но его правитель канцелярии, петербургская знаменитость того времени, действительный статский советник Оводов, которому Петр Кириллович, хоть и православный немец, плохо произносивший по-русски, всегда рекомендовал «зудить» (вместо «судить») по законам, — дал своему принципалу благой совет принять деньги, хотя оне и присланы при стихотворном письме, которое, однако ж, несмотря на массу разных рифм, представляет чистейшую прозу. Письмо графа было тотчас занесено во входящий реестр и, как следует, занумеровано журналистом генерал-губернаторской канцелярии. [22, с. 10—11.]

На вопрос графа: «Читали ли вы мое стихотворение «Холера-Морбус», каждый спешил отвечать: «Как же, читал», зная, что в случае отрицательного ответа граф тотчас же стал бы читать те места, какие сам считал превосходнейшими, заставив своего спутника-секретаря взять от одного из следовавших за ними по пятам лакеев-гайдуков экземпляр этого творения, везде носимого графом, и держать перед ним, пока он читает. Такой ответ вместе и радовал и огорчал графа: радовал потому, что такая известность его произведения льстила его самолюбию; огорчал оттого, что не находил слушателя в то время, как его сильно подмывало читать свои стихи и упиваться звучностью рифм — он всегда утверждал, что рифмы его звучны.

Нашелся, однако ж, юноша, известный теперь под именем старосветского петербуржца и подписывающий свои «Петербургские воспоминания» буквами В (ладимир) Б (урнашев), который поступил иначе. Этому юноше в то время было всего семнадцать лет; по тогдашним понятиям он был мальчик, находившийся, однако ж, на действительной службе, хотя ему гораздо естественнее было бы слушать лекции университетских профессоров. Этот-то свеженький белокурый мальчик попался в старческие когти графа-метромана, и попался потому, что на стереотипный вопрос графа, читал ли его новое творение, не нашелся сказать решительно, что читал уже знаменитые стихи на холеру, а спроста брякнул, что еще не читал; этот ответ ввел его в большую беду. Надо сказать, что этот юноша в ту пору, кроме канцелярской службы, был сотрудником, — разумеется,

соп атоге, так как тогда об ином сотрудничестве никто и не помышлял,— маленькой воскресной французской бомондной газетки «Furet» (Хорек), издававшейся молодым еще человеком французом Сен-Жульеном. В этой газетке наш В〈ладимир〉 Б〈урнашев〉, между прочим, печатал свои *comptes rendus* о тогдашней текущей литературе и журналистике. Известность этих литературных на французском диалекте отчетов дошла, к беде В〈ладимира〉 Б〈урнашева〉, и до известного, плодовитейшего стихокропателя, маститого графа Дмитрия Ивановича Хвостова, печатными виршами которого всегда битком набиты были карманы его светло-серого с анненскою звездю фрака, испачканного на воротнике сзади пудрой, а спереди табаком, так и карманы двух сопровождающих его сиятельство гайдуков в синих ливреях с малиновыми воротниками и обшлагами, покрытых золотыми широкими галунами. Из этих-то резервуаров маленький, сгорбленный, сухощавый старичок, сморщенный, как печеное яблоко, потрясавший своею густо напудренною головою, постоянно извлекал массы своих стихотворных брошюр и листков, издававшихся им на все возможные и почти невозможные случаи...

Но возвратимся к злосчастному В〈ладимиру〉 Б〈урнашеву〉, попавшемуся в Летнем саду графу. Как ни лавировал он, но отделаться от стихомана не мог. Старец замучил его своими стихами, отзываясь при этом с восторгом (разумеется, поддельным) об его статьях во французском листке «Le Furet» и приглашая к себе в гости...

В одно утро, в воскресенье после обедни, перед зеленовато-табачного цвета (как и теперь) домиком с мезонином Глотова остановилась светло-голубая карета, запряженная гнедо-пегой четверкой цугом с фореитором на передней правой уносной лошади. Два ливрейных лакея в синих сюртуках с малиновыми воротниками и обшлагами, с золотыми галунами на треугольных шляпах и капюшонах, соскочили с запяток. Один стал у дворец лазоревой кареты, другой вошел во дворец и направился по деревянной лестнице в мезонин. Он подал В〈ладимиру〉 Б〈урнашеву〉 визитную карточку графа со словами, написанными на ней красными чернилами: «Не откажите, молодой писатель (хорош писатель — 17 лет!), потешьте старца, поезжайте с ним к нему на дом теперь же. Граф Дм. Хвостов». Отнекиваться было уже невозможно, и злосчастный В〈лади-

мир) Б(урнашев), накинув шинель и взяв шляпу, поехал в графской карете вместе с его сиятельством...

Дома граф не мог утерпеть, чтобы не прочесть ему стихотворений, только что написанных им, в чем удостоверения свежесть чернил. Перед окончательным распрощанием добрый старичок взял с своего юного слушателя слово, что он будет у него скоро, и при этом, спросив: «А вы, мой юный друг, имеете мою «Холеру-Морбус?» и получив отрицательный ответ, тотчас присел к столу и что-то собственноручно настрочил своими крайне некаллиграфическими каракулями. Затем, встав от стола, граф снабдил своего гостя экземпляром своей «Холеры-Морбус», изданной в виде тетради in quarto...

При выходе на улицу В(ладимир) Б(урнашев), в те годы плативший дань светским веселостям, вспомнив, что ему в этот вечер предстоял балик, на который немислимо было явиться в цветных перчатках, зашел за палевыми перчатками в знакомый ему модный магазинчик г-жи Дювилле на Невском проспекте, против Гостиного двора, в доме Рогова. Взяв перчатки и не зная, куда деваться с хвостовским свертком, отправляясь обедать в гости, В(ладимир) Б(урнашев) оставил в магазине этот сверток с печатными стихами о холере и рукописным посвящением, сказав, что если завтра он не зайдет мимоходом, возвращаясь из своего департамента, за эту огромную, напечатанную на велевеновой бумаге тетрадищею, то хозяева магазина вправе en faire de choux et des raves, т. е. сделать все, что им заблагорассудится.

Через пять или шесть дней после этого случая В(ладимир) Б(урнашев) получил от графа Дмитрия Ивановича записку с приглашением его на следующий вечер чаю откусать. Забыв совершенно о существовании стихотворной печатной тетрадищи с лестным на ней сиятельным посвящением, он отправился в Сергиевскую, где был принят, надо правду сказать, с распростертыми объятиями и за серебряным самоваром угощен несколькими чашками (в это время в стаканах пили чай только караульные офицеры на гауптвахтах) хорошего чая со сливками и вдобавок еще с отличными домашними печеньями...

Граф стал очень любезно говорить своему молодому гостю о стихах, какие он ему подарил в воскресенье на той неделе со своим посвящением. Платя дань веж-

ливости, но не правде, В〈ладимир〉 Б〈урнашев〉 отвечал, что это сочинение занимает первое место в его библиотеке, а посвящение, начертанное рукою автора, приводит в восхищенье его родных. Но тут юноша был жестоко наказан за свою бесстыдную ложь, потому что граф Дмитрий Иванович, хотя и несносный маньяк с своим несносным стихотворством, был вполне светским и порядочным человеком. С любезной усмешкой он сказал юному В〈ладимиру〉 Б〈урнашеву〉: «Видно, у вас, в Петербурге, возобновились чудеса Калиостро. Вы, молодой человек, говорите, что тетрадь эта у вас на квартире, а между тем она очутилась у меня здесь». И он подал гостю эту злополучную тетрадь, вынув ее из выдвижного ящика старинного переддиванного стола. В〈ладимир〉 Б〈урнашев〉 готов был провалиться сквозь землю и покраснел, как маков цвет. Дело объяснилось тем, что графиня Татьяна Ивановна купила какую-то материю в магазине Дювилье, и товар этот, разумеется совершенно безнамеренно, завернули в знаменитую тетрадь. Граф поручил переплетчику разглядить эту тетрадь, но не отдал ее виновному В〈ладимиру〉 Б〈урнашеву〉 обратно, говоря, что отдаст ее только после того, как В〈ладимир〉 Б〈урнашев〉 подарит его не одним, а многими своими посещениями. [22, с.12—20.]

Граф Дмитрий Иванович любил жертвовать экземпляры своих стихотворений многими сотнями экземпляров, воображая, что пожертвования эти принесут пользу нравственную. Но выходило часто, что эти экземпляры получали назначение, далеко не способствовавшее делу просвещения. Так, например, граф пожертвовал несколько сот экземпляров своей поэмы на наводнение 1824 года, под названием: «Потоп Петрополя 7-го ноября 1824 года» в пользу Российской Американской Компании. Все эти экземпляры были правлениями компании отосланы на остров Ситху для делания патронов. [22, с. 32.]

Светлейший князь Суворов очень часто в своем интимном кругу жаловался на мономанию мужа своей племянницы и говаривал ей: «Танюша, ты бы силою любви убедила твоего мужа отказаться от его несносного

стихоплетства, из-за которого он уже заслужил от весьма многих в столице прозвище Митюхи Стихоплетова!» И сам Суворов не раз обращался к Хвостову с увещеваниями; обратился он к мономану-стихотворцу с предсмертным увещеванием, когда в мае месяце 1800 года, по возвращении из Италии, умирал в Петербурге, в Коломне, в доме Фоминой, в квартире графа и графини Хвостовых.

Лежа на смертном одре, Суворов давал предсмертные наставления и советы близким к себе людям, которые входили к нему в спальню поодиночке на цыпочках и оставались несколько минут в присутствии духовника и исторически знаменитого камердинера Прошки. Когда вошел к умиравшему дяде Хвостов, в ту пору еще сорокадвухлетний свежий мужчина, но, кажется, уже сенатор, и стал на колени, целуя почти холодную руку умиравшего, Суворов сказал ему:

— Любезный Митя, ты добрый и честный человек! Заклинаю тебя всем, что для тебя есть святого, брось твое виршеслагательство, пиши, уже если не можешь превозмочь этой глупой страстишки, стишонки для себя и для своих близких; а только отнюдь не печатайся, не печатайся. Помилуй Бог! Это к добру не поведет: ты сделаешься посмешищем всех порядочных людей.

Граф Дмитрий Иванович плакал, и вышел, поцеловав руку умиравшего, который велел ему позвать его жену, т. е. свою племянницу Татьяну Ивановну. Когда Хвостов возвратился в залу, где ожидали много мужчин и женщин, интересовавшихся состоянием здоровья князя Итальянского, которому оставалось только несколько часов жизни, знакомые и родные подошли к Хвостову с расспросами.

— Увы! — отвечал Хвостов, отирая платком слезы, — хотя еще и говорит, но без сознания, бредит! [22, с. 35—36.]

Главным местом, которое избрал граф Хвостов для нападений на неопытных людей, был, как известно, Летний сад, где в Петровском дворце жывал летом тогдашний министр финансов, граф Егор Францевич Канкрин. Надоедал и ему Хвостов своими стихотворениями, так что граф Канкрин, с своим откровенным простодушием, не лишенным, однако, насмешливости, решил раз навсегда отделаться от поэтических атак графа Дмитрия Ивановича. Однажды в Летнем саду, при нескольких

лицах, именно при А. Я. Дружинине, Ф. П. Вронченко и Н. И. Серове, граф Канкрин своим зычным голосом сказал Хвостову:

— Фаши стихи, фаше сиятельство, граф Тмитрий Ифаньч, так префосходны, што састафляют меня самого пропофать писать такие же стихи, шрес што я софершаю косударственное преступление, уклоняясь от моих опязанностей престолу и отешеству. А потому я финушден пуду кататайствовать фисочайшее повеление сапретить фам, краф, шитать мне фаши пленительные стихи!

Граф Дмитрий Иванович был далеко не глуп; но страсть к своим виршам в нем была до того сильна, что он не понял насмешливой шутки Канкринина и всем ее рассказывал, дав, однако, себе слово не отвлекать государственного человека от его занятий, которыми он обязан был по присяге престолу и отечеству. Таким образом, Канкрин был застрахован от чтения стихов Хвостова или «хвостовщины». [22, с. 37.]

Щедрость обоих, и мужа, и жены (Д. И. и Т. И. Хвостовых), нисколько не умаляла состояния этой четы добрых, хотя и карикатурных Филемона и Бавкиды Сергиевской улицы. Однако ж иногда они нуждались в деньгах, когда управители замедляли высылку доходов... Таковую невзгоду старосветские старички переносили шутя; огорчало их только то, что в такой момент им приходилось несколько затягивать шнурки кошелька (тогда о портмоне еще понятия не имели) и отказывать себе в удовольствии помогать беднякам и оказывать дружеские услуги приятелям, к числу которых, предпочтительно перед многими, принадлежал Ив. Андр. Крылов. Он раз обратился к графу именно в минутку «затяжки шнурков».

Страдая безденежьем, граф Дмитрий Иванович предложил Ивану Андреевичу вместо денег, на лицо не имевшихся, только что изготовленные для продажи 500 полных экземпляров своего собрания стихотворений в пяти томах, 1830 года.

— Возьмите, Иван Андреевич, все это добро на ломового извозчика,— говорил Хвостов,— и отвезите Смирдину, с которым вы находитесь в хороших отношениях. Я продаю экземпляр по 20 р. асс.; но, куда

ни шло, для милого дружка — сережка из ушка, отдайте все это Александру Филипову сыну (т. е. Смирдину, которого так иногда в шутку называли), для скорости, по 5 р.; даже по 4 р. за экземпляр, и вы будете иметь от 2 до 2500 рублей, т. е. более, чем сколько вам нужно.

Крылов, думая, что за эту массу книг, роскошно изданных, дадут если не по 4, то, по крайней мере, по 2 р., соображая при том, что даже рассчитывая на вес, наберется почти сотня пудов, не принимая, конечно, в соображение водянистости и тяжело-весности стихов, поблагодарил графа, добыл, чрез графскую прислугу, ломового извозчика и, несмотря на свою обычную лень, препроводил весь этот транспорт на ломовике к Смирдину, конвоируя сам этот литературный обоз от Сергиевской до дома у Петропавловской церкви, на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

Но каково было удивление и разочарование Крылова, когда Смирдин наотрез отказал ему в принятии этого, как он нецеремонно и вульгарно выражался, хлама, которым, по словам русского Ладвока, без того уже завалены все кладовые у Сленина. В задумчивости, но не расставаясь со своею флегмой, вышел из магазина Иван Андреевич на Невский проспект, где ломовой извозчик пристал к нему с вопросом: «Куда прикажет его милость таскать все эти книги?»

— Никуда не таскай, друг любезный,— сказал Крылов,— никуда, а свали-ка здесь на улицу около тротуара, кто-нибудь да подберет.

И все эти 500 книг творения Хвостова были громадною массой свалены у тротуара против подъезда в книжный магазин. Им бы, этим экземплярам книг с «хвостовщиной», пришлось лежать тут долго, если бы вскоре не проскакал по Невскому проспекту на своей лихой паре рыженьких вяток с пристяжной на отлете обер-полицмейстер Сергей Александрович Кокошкин. Подлетев к груде книг, он подозвал вертевшегося тут квартального, удостоверился, что все это творения знаменитого творца Кубры, и велел разузнать от Смирдина, в чем суть. Когда Кокошкин проезжал обратно, книг графа Хвостова тут уже не было: все оне, по распоряжению частного пристава, отвезены были, по принадлежности, обратно к графу Хвостову, о чем,

с пальцами у кокарды треуголки, частный отапортовал генералу, пояснив с полицейским юмором происхождение этой истории, автором которой был Иван Андреевич Крылов. [22, с. 21—24.]



И. А. КРЫЛОВ

Однажды, сидя в кабинете А. Н. Оленина и говоря с ним об «Илиаде» Гомера, Гнедич сказал, что он затрудняется в уразумении точного смысла одного стиха, развернул поэму и прочел его. Иван Андреевич подошел и сказал: я понимаю этот стих вот так, и перевел его. Гнедич, живший с ним на одной лестнице, вседневно видавшийся с ним, изумился, но почитая это мистификацией проказливого своего соседа, сказал: «Полноте морочить нас, Иван Андреевич, вы случайно затвердили этот стих да и щеголяете им! — И, развернув «Илиаду» наудачу: — Ну вот, извольте-ка перевести». Крылов, прочитавши и эти стихи Гомера, свободно и верно перевел их. Тогда уже изумление Гнедича дошло до высочайшей степени; пылкому его воображению представилось, что Крылов изучил греческий язык для того, чтобы содействовать ему в труде его, он упал пред ним на колени, потом бросился на шею, обнимал, целовал его в исступлении пламенной души своей. Впоследствии он настаивал, чтобы Иван Андреевич, ознакомившись с гекзаметром, этим роскошным и великолепным стихом Гомера, принялся бы за перевод «Одиссеи». Сначала Иван Андреевич сдался на его убеждения и действительно некоторое время занимался этим делом, но впоследствии, видя, что это сопряжено с великим трудом, и, вероятно, не чувствуя особенной охоты к продолжению, он решительно объявил, что не может сладить с гекзаметром. Это огорчило Гнедича, и тем более, что он сомневался в истине этого ответа. Таким образом, прочитавши все, удовлетворивши свое любопытство и наигравшись, так сказать, эту умную игрушкой,

Иван Андреевич не думал более о греческих классиках, которых держал на полу под своею кроватью и которыми наконец Феня, бывшая его служанка, растапливала у него печи. [62, с. 77—78.]

Раз он (Крылов) шел по Невскому, что была редкость, и встречает императора Николая I, который, увидя его издали, ему закричал: «Ба, ба, ба, Иван Андреевич, что за чудеса?—встречаю тебя на Невском. Куда идешь?» Не помню, куда он шел, только помню, что государь ему сказал: «Что же это, Крылов, мы так давно с тобою не видались».— «Я и сам, государь, так же думаю, кажется, живем довольно близко, а не видимся». [62, с. 144.]

И. А. Крылов, как я его помню, был высокого роста, весьма тучный, с седыми, всегда растрепанными волосами; одевался он крайне неряшливо: сюртук носил постоянно запачканный, залитый чем-нибудь, жилет надет был вкривь и вкось. Жил Крылов довольно грязно. Все это крайне не нравилось Лениным, особенно Елисавете Марковне и Варваре Алексеевне. Они делали некоторые попытки улучшить в этом отношении житье-бытье Ивана Андреевича, но такие попытки ни к чему не приводили. Однажды Крылов собирался на придворный маскарад и спрашивал совета у Елисаветы Марковны и ее дочерей; Варвара Алексеевна по этому случаю сказала ему:

— Вы, Иван Андреевич, вымойтесь да причешитесь, и вас никто не узнает. [62, с. 154.]

Иван Андреевич Крылов каждое воскресенье обедал у Лениных. Раз как-то он не явился. Ждали его, посылали в Английский клуб узнать, не там ли он; но когда пришел ответ, что его и там не было несколько дней сряду, послали узнать о его здоровье. Оказалось, что он болен. На другой день я был послан матушкою узнать о его здоровье. Застаю его в халате, кормящего голубей, которые постоянно влетали к нему в окна и причиняли беспорядок и нечистоту в комнатах. Тут он рассказал мне, что был действительно нездоров, но вылечился неожиданно, стран-

ным способом. Обедал он накануне дома. Подали ему, больному, щи и пирожки. Съел он первый пирожок и замечает горечь, взял второй — тоже горек. Тогда он, по рассмотрении, заметил на них ярь. «Ну, что же,— говорит,— если умирать, то умру от двух, как и от шести, и съел все шесть. После того желудок поправился, и сегодня думаю ехать в клуб». [62, с. 159.]

У Крылова над диваном, где он обыкновенно сидел, висела большая картина в тяжелой раме. Кто-то ему дал заметить, что гвоздь, на котором она была повешена, не прочен и что картина когда-нибудь может сорваться и убить его. «Нет,— отвечал Крылов,— угол рамы должен будет в таком случае непременно описать косвенную линию и миновать мою голову». [62, с. 39.]

В одном из бенефисов знаменитой трагической актрисы Катерины Семеновны Семеновой вздумалось ей сыграть вместе с оперною актрисой Софьей Васильевной Самойловой в известной комедии «Урок дочкам», соч. И. А. Крылова. В ту пору они были уже матери семейства, в почтенных летах и довольно объемистой полноты. Дедушка Крылов не поленился прийти в театр взглянуть на своих раздобревших дочек. По окончании комедии кто-то спросил его мнения.

— Что ж,— отвечал дедушка Крылов,— они обе, как опытные актрисы, сыграли очень хорошо; только название комедии следовало бы переменить: это был урок не «дочкам», а «бочкам». [62, с. 161—162.]

Однажды приглашен он (Крылов) был на обед к императрице Марии Федоровне в Павловске. Гостей за столом было немного. Жуковский сидел возле него. Крылов не отказывался ни от одного блюда. «Да откажись хоть раз, Иван Андреевич,— шепнул ему Жуковский.— Дай императрице возможность попотчевать тебя». — «Ну а как не попотчует!» — отвечал он и продолжал накладывать себе на тарелку. [62, с. 181.]

Хотя на водах и запрещено заниматься делами, но все не худо иметь всегда при себе в кармане *нужные бумаги*. Эта глупость напоминает мне анекдот Крылова, им самим мне рассказанный. Он гулял или, вероятнее, сидел на лавочке в Летнем саду. Вдруг... его. Он в карман, а бумаги нет. Есть где укрыться, а нет, чем... На его счастье, видит он в аллее приближающегося к нему графа Хвостова. Крылов к нему кидается: «Здравствуйте, граф. Нет ли у вас чего новенького?» — «Есть, вот сейчас прислали мне из типографии вновь отпечатанное мое стихотворение», — и дает ему листок. «Не скупитесь, граф, и дайте мне два-три экземпляра». Обрадованный такую неожиданною жадностью, Хвостов исполняет его просьбу, и Крылов с своею добычею спешит за своим делом. [62, с. 183.]

Он (Крылов) любил быть в обществе людей, им искренне уважаемых. Он там бывал весел и вмешивался в шутки других. За несколько лет перед сим, зимой, раз в неделю, собирались у покойного А. А. Перовского, автора «Монастырки». Гостеприимный хозяин, при конце вечера, предлагал всегда гостям своим ужин. Сиделись немногие, в числе их всегда был Иван Андреевич. Зашла речь о привычке ужинать. Одни говорили, что никогда не ужинают, другие, что перестали давно, третьи, что думают перестать. Крылов, накладывая на свою тарелку кушанье, промолвил тут: «А я, как мне кажется, ужинать перестану в тот день, с которого не буду обедать». [62, с. 199—200.]

У него в самый большой располох всегда оставалось довольно присутствия духа, чтобы поправиться. Как-то выпросил он у А. Н. Оленина дорогую и редкую книгу на дом к себе для прочтения. Это было роскошное издание описания Египта, которое составлено во время кампании Наполеона. Поутру, за своим кофе, усевшись на приделанном подле окна возвышении, где стоял маленький столик, Крылов положил на него книгу и, поддерживая ее рукою, любовался прелестными гравюрами, приложенными к тексту. Вдруг стул его покачнулся. Усиливаясь сохранить равновесие, второпях он схватился рукою за блюдечко, чашка опрокинулась на книгу — и разогнутые листы фоли-

анта облиты были кофе. В то же мгновение Крылов бросился в кухню, отделявшуюся узеньким коридорчиком от зала, где случилось несчастье, схватил ушат с оставшеюся в нем водою, втащил его в залу, и, кинув разогнутую книгу на пол, стал ведром поливать ее из ушата. Служанка, видевшая все это из кухни и коридора, опрометью бросилась наверх к Гнедичу, призывая его на помощь и давая намеками чувствовать, что Иван Андреевич не в своем уме. Гнедич, пересказывая об этом, театрально говаривал так: «Вхожу, на полу — море, Крылов с поднятым ведром льет на книгу воду. Я в ужасе кричу. Он продолжает». Наконец, опорожнив ушат, Крылов изъяснил Гнедичу, что без воды не было никакого способа вывести пятна кофе из книги, на которой в самом деле, когда она просохла, ничего не осталось заметного, кроме желтой полоски на краях страниц. [62, с. 201—202.]

Утром он (Крылов) вставал довольно поздно. Часто приятели находили его в постели часу в десятом. Один из них, товарищ его по академии, привез ему с вечера в подарок богато переплетенный экземпляр перевода Фенелонова «Телемака». Это было еще в 1812 году. Едучи поутру к должности, любопытствовал он спросить у Крылова, понравился ли ему перевод, которым поэт наш и хотел было, ложась спать, позаняться, но так держал неосторожно перед сном в руках книгу, что она куда-то сползла с кровати под столик. Переводчик, заглянув за перегородку, где Крылов еще спал, и увидев, куда попала золото-обрезная книга его, тихонько убрался назад, чтобы Крылов и не узнал о его посещении. [62, с. 222.]

Лет двадцать Крылов ездил на промыслы картежные. «Чей это портрет?» — «Крылова». — «Какого Крылова?» — «Да это первый наш литератор, Иван Андреевич». — «Что вы! Он, кажется, пишет только мелом на зеленом столе». [62, с. 245.]

Хозяин дома, в котором Крылов нанимал квартиру, составил контракт и принес ему для подписи. В этом контракте, между прочим, было написано,

чтоб он, Крылов, был осторожен с огнем, а буде, чего Боже сохрани, дом сгорит по его неосторожности, то он обязан тотчас заплатить стоимость дома, именно 60 000 руб. ассигнациями.

Крылов подписал контракт и к сумме 60 000 прибавил еще два нуля, что составило 6 000 000 руб. ассигнациями.

«Возьмите,— сказал Крылов, отдавая контракт хозяину.— Я на все пункты согласен, но, для того чтобы вы были совершенно обеспечены, я вместо 60 000 руб. асс. поставил 6 000 000. Это для вас будет хорошо, а для меня все равно, ибо я не в состоянии заплатить ни той, ни другой суммы». [62, с. 261.]

Однажды за столом, когда долго говорили о сибирских рудниках и о том, что добываемое золото наших богачей лежит у них, как мертвый капитал, Крылов внезапно спросил: «А знаете ли, граф, какая разница между богачом и рудником?» — «А какая, батюшка?» — возразил граф. «Рудник хорош, когда его разроют, а богач, когда его заркоют». [62, с. 269.]

Была у него однажды рожа на ноге, которая долго мешала ему гулять, и с трудом вышел он на Невский. Вот едет мимо приятель, и, не останавливаясь, кричит ему: «А что рожа, прошла?» Крылов же вслед ему: «Проехала!» [62, с. 269.]

За обедом Иван Андреевич не любил говорить, но, покончив с каким-нибудь блюдом, по горячим впечатлениям высказывал свои замечания. Так случилось и на этот раз. «Александр Михайлович, а Александра-то Егоровна какова! Недаром в Москве жила: ведь у нас здесь такого расстегая никто не смастерит — и ни одной косточки! Так на всех парусах через проливы в Средиземное море и проскакивают» (Крылов ударял себя при этом ниже груди)... [62, с. 272.]

Обыкновенно на званом обеде полагалось в то время четыре блюда, но для Крылова прибавлялось еще пятое. Три первых готовила кухарка, а для двух

последних Александр Михайлович (Тургенев) призывал всегда повара из Английского собрания. Артист этот известен был под именем Федосеича... Появлялся Федосеич за несколько дней до обеда, причем выбирались два блюда. На этот раз остановились на страсбургском пироге и на сладком — что-то вроде гурьевской каши на каймаке. «Ну и обед,— смеялся Александр Михайлович,— что твоя Китайская стена!» Федосеич глубоко презирал страсбургские пироги, которые приходили к нам из-за границы в консервах. «Это только военным в поход брать, а для барского стола нужно поработать»,— негодовал он; и появлялся с 6 фунтами свежайшего сливочного масла, трюфелями, громадными гусиными печенками — и начинались протирания и перетирания. К обеду появлялось горюю сложенное блюдо, изукрашенное зеленью и чистейшим желе. При появлении этого произведения искусства Крылов сделал изумленное лицо, хотя наверно ждал обычного сюрприза, и, обращаясь к дедушке (А. М. Тургеневу) с пафосом, которому старался придать искренний тон, заявил: «Друг милый и давнишний, Александр Михайлович, зачем предательство это? Ведь узнаю Федосеича руку! Как было по дружбе не предупредить? А теперь что? Все места заняты»,— с грустью признавался он.

— Найдется у вас еще местечко,— утешал его дедушка.

— Место-то найдется,— отвечал Крылов, самодовольно посматривая на свои необъятные размеры,— но какое? Первые ряды все заняты, партер весь, бельэтаж и все ярусы тоже. Один раек остался.

(...) Но вот и сладкое... Иван Андреевич опять приободрился.

— Ну что же, найдется еще местечко? — острил дедушка.

— Для Федосеича трудов всегда найдется, а если бы и не нашлось, то и в проходе постоять можно,— отшучивался Крылов. [62, с. 273—274.]

Царская семья благоволила к Крылову, и одно время он получал приглашения на маленькие обеды к императрице и великим князьям. Прощаясь с Крыловым после одного обеда у себя, дедушка (А. М. Тургенев) пошутил: «Боюсь, Иван Андреевич, что плохо мы вас

накормили — избаловали вас царские повара...» Крылов, оглядываясь и убедившись, что никого нет вблизи, ответил: «Что царские повара! С обедов этих никогда сытым не возвращался. А я также прежде так думал — закормят во дворце. Первый раз поехал и соображаю: какой уж тут ужин — и прислугу отпустил. А вышло что? Убранство, сервировка — одна краса. Сели — суп подают: на донышке зелень какая-то, морковки фесто-нами вырезаны, да все так на мели и стоит, потому что супу-то самого только лужица. Ей-богу, пять ложек всего набрал. Сомнение взяло: быть может, нашего брата писателя лакеи обносят? Смотрю — нет, у всех такое же мелководье. А пирожки? — не больше грецкого ореха. Захватил я два, а камер-лакей уж удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу и еще парочку снял. Тут вырвался он и двух рядом со мною обнес. Верно, отставать лакеям возбраняется. Рыба хорошая — форели; ведь гатчинские, свои, а такую мелюзгу подают, — куда меньше порционного! Да что тут удивительного, когда все, что покрупней, торговцам спускают. Я сам у Каменного моста покупал. За рыбою пошли французские финтифлюшки. Как бы горшочек опрокинутый, студнем облицованный, а внутри и зелень, и дичи кусочки, и трюфелей обрезочки — всякие остатки. На вкус недурно. Хочу второй горшочек взять, а блюдо-то уж далеко. Что же это, думаю, такое? Здесь только пробовать дают?!

Добрались до индейки. Не плошай, Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. Подносят. Хотите верьте или нет — только ножки и крылушки, на маленькие кусочки обкромленные, рядушком лежат, а самая-то та птица под ними припрятана, и нерезаная пребывает. Хороши молодчики! Взял я ножку, обглодал и положил на тарелку. Смотрю кругом. У всех по косточке на тарелке. Пустыня пустыней. Припомнился Пушкин покойный: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» И стало мне грустно-грустно, чуть слеза не прошибла... А тут вижу — царица-матушка печаль мою подметила и что-то главному лакею говорит и на меня указывает... И что же? Второй раз мне индейку поднесли. Низкий поклон я царице отвесил — ведь жалованная. Хочу брать, а птица так нерезанная и лежит. Нет, брат, шалишь — меня не проведешь: вот так нарежь и сюда принеси, говорю камер-лакею. Так вот фунтик питательного и заполучил. А все кругом смотрят — завидуют.

А индейка-то совсем захудалая, благородной дородности никакой, жарили спозаранку и к обеду, изверги, подогрели!

А сладкое! Стыдно сказать... Пол-апельсина! Нутро природное вынуто, а взамен желе с вареньем набито. Со злости с кожей я его и съел. Плохо царей наших кормят,— надувательство кругом. А вина льют без конца. Только что выпьешь,— смотришь, опять рюмка стоит полная. А почему? Потому что придворная челядь потом их распивает.

Вернулся я домой голодный-преголодный... Как быть? Прислугу отпустил, ничего не припасено... Пришлось в ресторацию ехать. А теперь, когда там обедать приходится,— ждет меня дома всегда ужин. Приедешь, выпьешь рюмочку водки, как будто вовсе и не обедал...»

— Ох, боюсь я, боюсь,— прервал его дедушка,— что и сегодня ждет не дождется вас ужин дома...

Крылов божился, что сыт до отвала, что Александра Егоровна его по горло накормила, а Федосейч совсем в полон взял.

— Ну, по совести,— не отставал дедушка,— неужели вы, Иван Андреевич, так натошак и спать ляжете?

— По совести, натошак не лягу. Ужинать не буду, но тарелочку кислой капусты и квасу кувшинчик на сон грядущий приму, чтобы в горле не пересохло. [62, с. 275—276.]

Однажды на набережной Фонтанки, по которой он <Крылов> обыкновенно ходил в дом Оленина, его нагнали три студента, из коих один, вероятно не зная Крылова, почти поравнявшись с ним, громко сказал товарищу:

— Смотри, туча идет.

— И лягушки заквакали,— спокойно отвечал баснописец в тот же тон студенту. [62, с. 300.]

Имп<ератрица> всегда желала познакомиться с Иваном Андреевичем <Крыловым>, и Жуковский повел его в полной форме библиотекаря имп<ераторской> библиотеки в белых штанах и шелковых чулках. Они вошли в приемную. Дежурный камердинер уже доложил об них, как вдруг Крылов с ужасом сказал, что он

пустил в штаны. Белые шелковые чулки окрасились желтыми ручьями. Жуковский повел его на черный дворик для окончания несвоевременной экспедиции. [119, с. 59.]

Гоголь обедал у меня с Крыловым, Вяземским, Плетневым и Тютчевым. Для Крылова всегда готовились борщ с уткой, салат, подливка с пшенной кашей или щи и кулебяка, жареный поросенок или под хреном. Разговор был оживленный, раз говорили о щедрости к нищим. Крылов утверждал, что подаяние вовсе не есть знак сострадания, а просто дело эгоизма. Жуковский противоречил. «Нет, брат, ты что ни говори, а я остаюсь на своем. Помню, как я раз так из лености не мог ничего есть в Английском клубе, даже поросенка под хреном». [119, с. 59.]



НИКОЛАЕВСКАЯ ЭПОХА





Имп(ератор) Николай Павлович велел переменить неприличные фамилии. Между прочими полковник Зас выдал свою дочь за рижского гарнизонного офицера Ранцева. Он говорил, что его фамилия древнее, и потому Ранцев должен изменить фамилию на Зас-Ранцев. Этот Ранцев был выходец из земли Мекленбургской, истый оботрит. Он поставил ему на вид, что он пришел в Россию с Петром III и его фамилия знатнее. Однако он согласился на это прилагательное. Вся гарнизона смеялась. Но государь, не зная движения назад, просто велел Ранцеву зваться Ранцев-Зас. Свекор поморщился, но должен был покориться мудрой воле своего имп(ератора). [119, с. 72.]

Во время Крымской войны государь, возмущенный всюду обнаруживавшимся хищением, в разговоре с наследником выразился так:

— Мне кажется, что во всей России только ты да я не воруюм. [86, с. 623.]

Жена одного важного генерала, знаменитого придворною ловкостью, любила, как и сам генерал, как и льстецы, выдавать его за героя, тем более что ему удалось в компанию 14-го года с партией казаков овладеть, т. е. занять никем не защищенный дрянной немецкий городок. Жена, заехав с визитом к другой даме, рассказывала эпопею подвигов своего Александра Ивановича (Чернышева). Чего там не было: Александр разбил того; Александр удержал грудью целую артиллерию; Александр взял в плен там столько-то, там еще больше, так что если сосчитать, то из пленных вышла армия больше наполеоновской 12-го года; Александр взял город... и на беду забыла название: как бишь этот город, вот так в голове и вертится. Боже мой, столичный город... вот странно, из ума вон...

В затруднении она оглянулась и заметила другого генерала, который сидел между цветов и перелистывал старый журнал.

— Ах, князь,— обращаясь к нему, сказала генеральша,— вот вы знаете, какой это город взял Александр?

— Вавилон.

— Что вы это?! Я говорю про моего мужа Александра Ивановича.

— А я думал, что про Александра Македонского. [63, л. 75.]

Покойный граф И. И. Дибич был чрезвычайно добродушою, имел необыкновенный ум, глубокие, разнообразные познания и страстно любил просвещение, т. е. науки и литературу. Ему иногда вредила необыкновенная вспыльчивость и какое-то внутреннее пламя, побуждавшее его к непрерывной деятельности. Во время последней турецкой войны, прославившей его имя переходом через Балканы, русские прозвали его в шутку *Самовар-Паши*, именно от этого вечного кипения. Прозвание это, нисколько не оскорбительное, живо изображает его характер. Замечательно, что это прозвание не новое. Однажды Дибич в споре с тихим и кротким Броглио о Семилетней войне упомянул неосторожно о Росбахском сражении, в котором, как известно, французы были разбиты Фридрихом II. Броглио оскорбился и замолчал, но в отсутствие Дибича изъяснил свое неудовольствие перед Лантингом. «Не принимайте этого в дурную сторону,— сказал Лантинг,— Дибич — добрейшая душа, и не имел намерения вас оскорбить. Но он вечно кипит, как самовар, и к нему надобно приближаться осторожно, чтоб не обжечься брызгами!»

Сравнение Дибича (малорослого, плотного, с короткою шеей и высокими плечами) с самоваром показалось всем присутствовавшим так забавно, что все расхохотались, а Броглио больше всех. После этого при имени Дибича или при встрече с ним я всегда вспоминал эту шутку и весьма удивился, когда услышал повторение этого сравнения чрез много лет! [19, с. 44—46.]

При построении постоянного через Неву моста несколько тысяч человек были заняты бойкою свай, что, не говоря уже о расходах, крайне замедляло ход работ.

Искусный строитель генерал Кербец поломал умную голову и выдумал машину, значительно облегчившую и ускорившую этот истинно египетский труд. Сделав опыты, описание машины он представил Главному управляющему путей сообщения и ждал по крайней мере спасибо. Граф Клейнмихель не замедлил утешить изобретателя и потомство. Кербец получил на бумаге официальный и строжайший выговор: зачем он этой машины прежде не изобрел и тем ввел казну в огромные и напрасные расходы. [63, л. 14.]

После Венгерского похода кому-то из участвовавших в этой кампании пожалован был орден Андрея Первозванного и в тот же день и тот же орден дан Клейнмихелю.

— За что же Клейнмихелю? — спросил кто-то.

— Очень просто: тому за кампанию, а Клейнмихелю для компании. [63, л. 13.]

Клейнмихель, объезжая по России для осмотра путей сообщения, в каждом городе назначал час для представления своих подчиненных, разумеется, время он назначал по своим часам и был очень шокирован, когда в Москве по его часам не собрались чиновники.

— Что это значит? — вскричал разъяренный граф.

Ему отвечали, что московские часы не одинаковы с петербургскими, так как Москва и Петербург имеют разные меридианы. Клейнмихель удовольствовался этим объяснением, но в Нижнем Новгороде случилась та же история и разбешенный генерал закричал:

— Что это? Кажется, всякий дрянной городишко хочет иметь свой меридиан? Ну, положим, Москва может — первопрестольная столица, а то и у Нижнего меридиан! [47, № 26.]

Падение <П. А.> Клейнмихеля во всех городах земли Русской <произвело> самое отрадное впечатление. Не многие заслужили такую огромную и печальную популярность. Низвержению Клейнмихеля радовались словно неожиданному семейному празднику. Я узнал об этом вожделенном событии на Московской железной дороге, на станции, где сменяются поезда. Радости, шуткам, толкам не было конца, но пуще других честил его какой-то ражий и рыжий купец в лисьей шубе.

— Да за что вы его так ругаете? — спросил я.— Видно, он вам насолил.

— Никак нет! Мы с ним, благодарение Господу, никаких дел не имели. Мы его, Бог миловал, никогда и в глаза не видали.

— Так как же вы его браните, а сами-то и не видали.

— Да и черта никто не видел, однако ж поделом ему достается. А тут-с разницы никакой. [63, л. 11—12.]

В Петербурге, в Гостинном дворе, купцы и сидельцы перебегали из лавки в лавку, поздравляли друг друга и толковали по-своему.

— Что это вздумалось государю? — спросил кто-то из них.

— Простое дело,— отвечал другой.— Времена плохие. Военные дела наши дурно идут. Россия-матушка приуныла. Государь задумался, что тут делать. Чем мне ее, голубушку, развеселить и утешить? Дай прогону Клейнмихеля... [63, л. 12.]

— В этом или том пункте парижских конференций,— сказал кто-то,— должно <найтись?> что-нибудь вредоносное для России.

— Само собою разумеется. Союзники в этом пункте требуют уничтожения в России тарифа и восстановления Клейнмихеля... [63, л. 12.]

— Как это тебе никогда не вздумалось жениться? — спрашивал посланника Шредера император Николай в один из проездов своих через Дрезден.

— А потому,— отвечал он,— что я никогда не мог бы позволить себе послушаться Вашего Величества.

— Как же так?

— Ваше Величество строго запрещает азартные игры, а из всех азартных игр женитьба самая азартная. [29, с. 499.]

Недавно государь приказал князю Волконскому принести к нему из кабинета самую дорогую табакерку. Дороже не нашлось, как в 9000 руб. Князь Волконский принес табакерку. Государю показалась она довольно

бедна. «Дороже нет»,— отвечал Волконский. «Если так, делать нечего,— отвечал государь,— я хотел тебе сделать подарок, возьми ее себе». Вообразите себе рожу старого скряги. [81, с. 336.]

Именины государя. <...> Дамы представлялись в русском платье. На это некоторые смотрят как на торжество. Скобелев безрукий сказал кн. В—ой: я отдал бы последние три пальца для такого торжества! В. сначала не могла его понять. [81, с. 317.]

...Второй «знаменитый» путешественник был тоже в некотором смысле «Промифей наших дней», только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным в послании к Лукуллу, был министр народного просвещения С. С. (еще не граф) Уваров. Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала. При Александре он писал либеральные брошюры по-французски, потом переписывался с Гете по-немецки о греческих предметах. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии IV столетия, на что Каченовский ему заметил, что тогда впору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то что песнопеть о самофракийских богах и самодержавном милосердии. Вроде патента он носил в кармане письмо от Гете, в котором Гете ему сделал прекурьезный комплимент, говоря: «Напрасно извиняетесь вы в вашем слоге: вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть,— вы забыли немецкую грамматику». [33, с. 126.]

Независимо от душевных недостатков <Я. И.> Ростовцев был еще и заика. Это послужило поводом к забавным столкновениям. Однажды отец пришел просить о помещении сына в корпус. На беду, он был также заика. Выходит Р<остовцев> прямо к нему: «Что...о Ва...ам угодно?» Тот страшно обиделся. Заикнулся, кривился, кривился, покраснел как рак, наконец выстрелил — «Ничего!» и вышел в бешенстве из комнаты.

В другой раз служащий по армейскому просвещению офицер пришел просить о награждении, но Р (остовцев) не находил возможным исполнить его желание.

— Нет, почтеннейший! Этого нельзя! Государь не согласится.

— Помилуйте, Ваше Превосходительство. Вам стоит только заикнуться...

— Пошел вон! — загремел Ростовцев в бешенстве. [63, л. 98.]

Выходя из театра после представления новой русской комедии, чуть ли не Загоскина, в которой табакерка играла важную роль, Блудов сказал: «В этой комедии более табаку, нежели соли». [29, с. 53.]

Ему же однажды передали, что какой-то сановник худо о нем отзывался, говоря, что он при случае готов продать Россию. «Скажите ему, что если бы вся Россия исключительно была наполнена людьми на него похожими, я не только продал, но и даром отдал бы ее». [29, с. 53.]

Высокомерие Барятинского — более чем высокомерие, чванливость — не имело границ; в другом человеке, имевшем более обширное влияние не только на дела русские, но и на политику всего мира и занимавшем еще большее положение в свете, чем Барятинский, — в канцлере князе Александре Михайловиче Горчакове это чувство было развито до мелочности, до последних пределов. Однажды, во время последней Турецкой войны, в Бухаресте, я зашел к нему вечером: разговор коснулся бывшей в течение дня духовной процессии, причем канцлер заметил, что митрополит приказал шествию пройти мимо дома, занимаемого князем, и остановить на время перед ним раку, вмещавшую в себе мощи блаженного Димитрия.

— Ваша Светлость! — невольно вскрикнул я. — Так уж не вы к мощам, а мощи к вам прикладываются!.. [124, с. 564.]

Граф Канкрин говорил: порицают такого-то, что встречаешь его на всех обедах, балах, спектаклях, так

что мало времени ему заниматься делами. А я скажу: слава Богу! Другого хвалят: вот настоящий государственный человек, нигде не встретите его, целый день сидит он в кабинете, занимается бумагами. А я скажу: избави Бог! [29, с. 183.]

Когда в Государственном совете читали проект учреждения министерства государственных имуществ, кн⟨язь⟩ Меншиков, выслушав заключение, в котором гр⟨аф⟩ Киселев красноречиво изобразил блистательную будущность, строгий порядок и совершенное благосостояние государственных имуществ, и желая подразнить министра финансов, у которого отняли этот департамент, встал и, подойдя к графу Канкрину, сказал ему тихо: «Граф! То-то будет теперь чудесно. Как вы думаете?»

— Ваша Светлость! — отвечал Канкрин. — Время покажет. А по-моему, дело другое щупать, дело другое... [63, л. 112.]

Граф Канкрин. А по каким причинам хотите вы уволить от должности этого чиновника?

Директор департамента. Да стóит, Ваше Сиятельство, только посмотреть на него, чтобы получить к нему отвращение: длинный, сухой, неуклюжий немец, физиономия суровая, рябой...

Граф Канкрин. Ах, батюшка, да вы это мой портрет рисуете! Пожалуй, вы и меня захотите отрешить от должности. [29, с. 298.]

Докладчик. Такой-то чиновник просит о дозволении ему вступить в законный брак.

Министр Вронченко, письменно изъявляя согласие, говорит: «Не имею чести знать его, а должен быть большой дурак». Эта формула неизменно и стереотипно повторялась в продолжение многих лет при каждом подобном докладе. [29, с. 297.]

Ив⟨ан⟩ Максимович Ореус, любимец Канкрина, человек деловой и умный, служил себе в звании директора Заемного банка в тишине и смирении.

Государь изобрел себе сам министра финансов Федора Павл(овича) Вронченку, и когда в(еликий) к(нязь) М(ихаил) П(авлович) изъявил на этот счет удивление, государь сказал: «Полно, брат! Я сам министр финансов, мне только нужен секретарь для очистки бумаг».

Вронченко совершенно соответствовал цели. Но для очистки им же самим заведенного порядка надо было приискать в(ысочайш)е товарища. Государь взял список чиновников м(инистерства) ф(инансов) и давай читать: все мошенник за мошенником. Натывается на тайного советника Ореуса.

— Как это я его совсем не помню. Дай расспрошу.

Но у кого ни спросит, никто решительно не знает.

— Должно быть, честный человек, если никому не кланялся и добился до такого чина.

Рассуждение весьма правильное, и Ореус назначен товарищем министра. Назначение не только не обрадовало, но оскорбило Ореуса. Раздосадованный, он приезжает к Вронченко.

— Как вам не стыдно, Ф(едор) П(авлович)! Вы надо мной жестоко подшутили. Ни мои правила, ни род жизни, ни знакомства не соответствовали должности. Ну сами подумайте, какой я товарищ министра.

— Эх, Иван Максимович,— отвечает Вронченко,— да я-то сам какой министр?

Это изумило и убедило Ореуса. Он принял должность, но не выдержал и в самом непродолжительном времени снова погрузился в тень прежней неизвестности. [63, л. 76—77.]

Незабвенный (Н. С.) Мордвинов, русский Вашингтон, измученный бесполезной оппозицией, вернулся из Государственного совета недовольный и расстроенный.

— Верно, сегодня у вас опять был жаркий спор...

— Жаркий и жалкий! У нас решительно ничего нет святого. Мы удивляемся, что у нас нет предприимчивых людей, но кто же решится на какое-нибудь предприятие, когда не видит ни в чем прочного ручательства, когда знает, что не сегодня, так завтра по распоряжению правительства его законно ограбят и пустят по миру. Можно принять меры противу голода, наводнения, противу огня, моровой язвы, противу вся-

ких бичей земных и небесных, но противу благодетельных распоряжений правительства — решительно нельзя принять никаких мер. [63, л. 39.]

При выборах в Московском дворянском собрании князь Д. В. Голицын в речи своей сказал о выбранном совестном судии: сей, так сказать, неумытный судия. Ему хотелось высказать французское значение: *la conscience est un juge inexorable* и сказать неумолимый судья; но Мерзляков не одобрил этого слова и предложил *неумытный*. «И поневоле неумытный,— сказал Дмитриев.— Он умываться не может, потому что красит волоса свои». [29, с. 190.]

В отсутствие князя Паскевича из Варшавы умер в ней какой-то генерал, и князь был недоволен распоряжениями, сделанными при погребении. Он сделал за то выговор Варшавскому генерал-губернатору, который временно замещал его. Не желая подвергнуть себя новой неприятности, осторожный и предусмотрительный генерал-губернатор пишет однажды князю Паскевичу, также тогда отсутствующему: «Долгом считаю испросить разрешения Вашей Светлости, как, на случай смерти Жабоклицкого (одного из чинов Польского двора), прикажете вы хоронить его». Жабоклицкий в то время вовсе не был болен, а только стар и замечательно худощав. [29, с. 343.]

Бутурлин был нижегородским военным губернатором. Он прославился глупостью и потому скоро попал в сенаторы. Государь в бытность свою в Нижнем сказал, что он будет завтра в Кремле, но чтобы об этом никто не знал. Бутурлин созвал всех полицейских чиновников и объявил им о том под величайшим секретом. Вследствие этого Кремль был битком набит народом. Государь, сидя в коляске, сердился, а Бутурлин извинялся, стоя в той же коляске на коленях. Тот же Бутурлин прославился знаменитым приказом о мерах противу пожаров, тогда опустошавших Нижний. В числе этих мер было предписано домохозяевам за два часа до пожара давать знать о том в полицию. [63, л. 41.]

Случилось зимою возвращаться через Нижний восвояси большому хивинскому посольству. В Нижнем посланник, знатная особа царской крови, занемог и скончался. Бутурлин донес о том прямо государю и присовокупил, что чиновники посольства хотели взять тело посланника дальше, но он на это без разрешения высшего начальства решиться не может, а чтобы тело посланника, до получения разрешения, не могло испортиться, то он приказал покойного посланника, на манер осетра, в реке заморозить. Государь не выдержал и назначил Бутурлина в сенаторы. [63, л. 41.]

Князь Долгорукий принадлежал к аристократическим повесам в дурном роде, которые уж редко встречаются в наше время. Он делал всякие проказы в Петербурге, проказы в Москве, проказы в Париже.

На это тратилась его жизнь. Это был Измайлов на маленьком размере, князь Е. Грузинский без притона беглых в Лыскове, то есть избалованный, дерзкий, отвратительный забавник, барин и шут вместе. Когда его проделки перешли все границы, ему велели отправиться на жительство в Пермь.

...Милые шутки навлекли на него гонение пермских друзей, и начальство решилось сорокалетнего шалуна отослать в Верхотурье. Он дал накануне отъезда богатый обед, и чиновники, несмотря на разлад, все-таки приехали: Долгорукий обещал их накормить каким-то неслыханным пирогом.

Пирог был действительно превосходен и исчезал с невероятной быстротой. Когда остались одни корки, Долгорукий патетически обратился к гостям и сказал:

— Не будет же сказано, что я, расставаясь с вами, что-нибудь пожалел. Я велел вчера убить моего Гарди для пирога.

Чиновники с ужасом взглянули друг на друга и искали глазами знакомую всем датскую собаку: ее не было. Князь догадался и велел слуге принести бранные останки Гарди, его шкуру; внутренность была в пермских желудках. Полгорода занемогло от ужаса. [33, с. 241—242.]

Долгорукий, довольный тем, что ловко подшутил над приятелями, ехал торжественно в Верхотурье.

Третья повозка везла целый курятник — курятник, едущий на почтовых! По дороге он увез с нескольких станций приходные книги, перемешал их, поправил в них цифры и чуть не свел с ума почтовое ведомство, которое и с книгами не всегда ловко сводило концы с концами. [33, с. 242.]

Вятский губернатор Середа, несмотря на свою чрезвычайную вспыльчивость, оставил по себе в губернии хорошую память. Раз он посетил город Орел. Обыватели орловские, при всей своей хорошей материальной обстановке, отличались крайнею неразвитостью. Городской голова, пригласив губернатора к себе на чай, осведомился у его камердинера, что особенно любит его превосходительство? Повеса — молодой камердинер отвечал в шутку: «Очень любит с сальных свечей нагар снимать». Голова буквально поверил этой шутке и, чтобы доставить удовольствие почетному посетителю, поставил в гостиной на стол перед диваном в четырех серебряных шандалах сальные свечи и тут же на серебряном лоточке такие же щипцы. Гость был усажен на диване, а по обе его стороны уселись хозяин и хозяйка. Подавали чай, десерт, вина: губернатор беседовал и время от времени, когда нагорало на свечах, совершал операцию снятия нагара. Каждый раз, когда он это делал, хозяин переглядывался с хозяйкой, мысленно одобряя себя за предусмотрительность. Наконец Середе наскучила беседа и снятие со свечей. Он встает, прощается с хозяевами и уходит. Хозяйка с поклонами провожает его в прихожую, а хозяин, поспешно поставив все шандалы со щипцами на серебряный поднос, бежит вслед с предложением:

— Ваше Превосходительство, на дорогу!

— Вы с ума, что ли, сошли?! — грозно обратился губернатор к голове.

Общее изумление и картина. [87, с. 183.]

Священник во время обедни, на эктении, ошибся и вместо того, чтобы помолиться «о здравии» княгини Кочубей, он помянул ее «за упокой». Она, разумеется, как всегда, находилась в церкви, и можно себе представить, какое неприятное впечатление эта ошибка произвела на женщину уже старую и необыкновенно

чванную. Что же касается Строганова, то он просто расвирепел. Едва обедня кончилась, он вбежал в алтарь и бросился на священника; этот обмер от страха и выбежал в боковую дверь вон из церкви; Строганов схватил стоявшую в углу трость священника и бросился его догонять. Никогда мне не забыть, как священник, подбирая рукой полы своей добротной шелковой рясы, отчаянно перескакивал клумбы и плетни, а за ним Строганов в генеральном мундире гнался, потрясая тростью и приговаривая: «Не уйдешь, такой-сякой, не уйдешь». [124, с. 483.]

Князь Сергей Голицын, известный под именем Фирс, играл замечательную роль в тогдашней петербургской молодежи. Роста и сложения атлетического, веселости неистощимой, куплетист, певец, рассказчик, балагур,— куда он только ни являлся, начинался смех, и он становился душою общества, причем постоянное дерганье его лица придавало его физиономии особый комизм. Про свое прозвище Фирсом он рассказывал следующий анекдот. В Петербурге жило в старые годы богатое и уважаемое семейство графа Чернышева. Единственный сын служил в гвардии, как весь цвет тогдашней петербургской молодежи, но имел впоследствии несчастье увлечься в заговор 14 декабря и был сослан в Сибирь. В то время, о котором говорится, он был еще в числе самых завидных женихов, а сестры его, молодые девушки, пленяли всех красотой, умом, любезностью и некоторою оригинальностью. Дом славился аристократическим радушием и гостеприимством. Голицына принимали там с большим удовольствием — как и везде, впрочем,— и только он являлся, начинались шутки и оживление.

— Ну-с, однажды, вообразите,— рассказывал он впоследствии,— топ cher,— причем ударял всегда на слове топ,— приезжаю я однажды к Чернышевым. Вхожу. Графинюшки бегут ко мне навстречу: «Здравствуйте, Фирс! Как здоровье ваше, Фирс! Что это вы, Фирс, так давно не были у нас? Где это вы, Фирс, пропадали?» Чего? А?.. Как вам покажется, топ cher,— и лицо его дергало к правому плечу.— Я до смерти перепугался. «Помилуйте,— говорю,— что это за прозвание?.. К чему? Оно мне останется. Вы меня шутком делаете. Я офицер, молодой человек, хочу карье-

ру сделать, хочу жениться и — вдруг Фирс». А барышни смеются: «Все это правда, да вы не виноваты, что вы Фирс». — «Не хочу я быть Фирсом. Я пойду жаловаться графине». — «Ступайте к маменьке, и она вам скажет, что вы Фирс». — «Чего?..» Что бишь я говорил... Да! Ну, топ шер, иду к графине. «Не погубите молодого человека... Вот как дело». — «Знаю, — говорит она, — дочери мне говорили, но они правы. Вы действительно Фирс». Фу-ты, Боже мой! Нечего делать, иду к графу. Он мужчина, человек опытный. «Ваше Сиятельство, извините, что я позволяю себе вас беспокоить. На меня навязывают кличку, которая может расстроить мое положение на службе и в свете». — «Слышал, — отвечает мне серьезно граф. — Это обстоятельство весьма неприятно — я об нем много думал. Ну что же тут прикажете делать, любезный князь! Вы сами в том виноваты, что вы действительно Фирс». А! каково, топ шер? Я опять бегу к графинюшкам. «Да, ради Бога, растолкуйте наконец, что же это все значит?..» А они смеются и приносят книгу, о которой я никогда и не слыхивал: «Толкователь имен». «Читайте сами, что обозначает имя Фирс». Читайте... Фирс — человек рассеянный и в беспорядок приводящий. Меня как громом всего обдало. Покаялся. Действительно, я Фирс. Есть Голицын рябчик, других Голицыных называют куликами. Я буду Голицын Фирс. Так прозвание и осталось. Только, топ шер, вот что скверно. Делал я турецкую кампанию (он служил сперва в гвардейской конной артиллерии, а потом адъютантом), вел себя хорошо, получал кресты, а смотрю — что бишь я говорил? — да, на службе мне не везет. Всем чины, всем повышения, всем места, а меня все мимо, все мимо. А? Приятно, топ шер? Жду-жду... все ничего. Одно попрошу — откажут. Другое попрошу — откажут. Граф Бенкендорф был, однако, со мною всегда любезен. Я решился с ним объясниться. Как-то на бале вышел случай. «Смею спросить, Ваше Сиятельство, отчего такая опала?..» На этот раз граф отвечал мне сухо французскою пословицею: «Как постель постелешь, так и спать ложись». — «Какая постель — не понимаю...» — «Нет, извините, очень хорошо понимаете». Затем граф нагнулся к моему уху и сказал строго: «Зачем вы Фирс?» А! Чего, топ шер? Зачем я Фирс? «Ваше Сиятельство, да это шутка... Книга... Толкователь». — «Вы в книгу и взгляните... в календарь...» и повер-

нулся ко мне спиной. Какой календарь, топ шерг?.. Я бегом домой. Человек встречает. «Ваше Сиятельство, письмо!» — «Подай календарь». — «Гости были...» — «Календарь!..» — «Завтра вы дежурный». — «Календарь, календарь, говорят тебе, календарь!» Подали календарь. Я начинаю искать имя Фирса. Смотрю — январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Нет... Декабрь, 1 — нет, 5 — нет, 10 — нет, 12, 13, 14 — книга повалилась на пол. 14 декабря празднуется Фирс. Моп шерг, пропал человек. Жениться-то я женился, а служить более не посмел: вышел в отставку. [124, с. 565—567.]

На месте казни (декабристов), одетый в кафтан каторжного и притом в красных гусарских рейтузах, (М. А.) Лунин, заметив графа А. И. Чернышева, закричал ему: «Да вы подойдите поближе порадоваться зрелищу!» [41, с. 59.]

Когда всех осужденных отправили в Читу, Лунина заперли в Шлиссельбурге, в каземате, где он оставался до конца 1829 года. Комендант, взойдя раз в его каземат, который был так сыр, что вода капала со свода, изъявил Лунину свое сожаление и сказал, что он готов сделать все, что не противно его обязанности, для облегчения его судьбы. Лунин отвечал ему: «Я ничего не желаю, генерал, кроме зонтика». [41, с. 59.]

Когда он прибыл в Читу (в 1830), он был болен от шлиссельбургской жизни и растерял почти все зубы от скорбута. Встретясь со своими товарищами в Чите, он им говорил: «Вот, дети мои, у меня остался только один зуб против правительства». [41, с. 59.]

По окончании каторжной работы он был поселен в Урике (Иркутской губернии); там он завел себе небольшую библиотеку, занимался и, несмотря на то что денег было у него немного, помогал товарищам и новым приезжим, которыми прошлое царствование населяло Сибирь. Иркутский губернатор, объезжавший губернию, посетил Лунина. Лунин, показывая ему у

себя 15 томов Свода Законов да томов 25 Полного собрания, и потом французский уютный Кодекс, прибавил: «Вот, Ваше Превосходительство, посмотрите, какие смешные эти французы. Представьте, это у них только и есть законов. То ли дело у нас, как взглянет человек на эти сорок томов, как тут не уважать наше законодательство!» [41, с. 60.]

Гражданский губернатор был в ссоре с вице-губернатором, ссора шла на бумаге, они друг другу писали всякие приказные колкости и остроты. Вице-губернатор был тяжелый педант, формалист, добряк из семинаристов, он сам составлял с большим трудом свои язвительные ответы и, разумеется, целью своей жизни делал эту ссору. Случилось, что губернатор уехал на время в Петербург. Вице-губернатор занял его должность и в качестве губернатора получил от себя дерзкую бумагу, посланную накануне; он, не задумавшись, велел секретарю ответить на нее, подписал ответ и, получив его как вице-губернатор, снова принялся с усилиями и напряжением строчить самому себе оскорбительное письмо. Он считал это высокой честностью. [33а, с. 80.]

Губернатор (А. А.) Корнилов должен был назначить от себя двух чиновников при ревизии. Я был один из назначенных. Чего не пришлось мне тут прочесть! — и печального, и смешного, и гадкого. Самые заголовки дел поражали меня удивлением.

«Дело о потере неизвестно куда дома волостного правления и об изгрызении плана онога мышами».

«Дело о потере двадцати двух казенных оброчных статей», то есть верст пятнадцати земли.

«Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол».

Последнее было так хорошо, что я тотчас прочел его от доски до доски.

Отец этого предполагаемого Василя пишет в своей просьбе губернатору, что лет пятнадцать тому назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василюсой, но что священник, быв «под хмельком», окрестил девочку Васильем, и так внес в метрику. Обстоятельство это, по-видимому, мало беспокоило мужика, но когда он понял, что скоро падет на его дом рекрут-

ская очередь и подушная, тогда он объявил о том голове и становому. Случай этот показался полиции очень мудрен. Она предварительно отказала мужику, говоря, что он пропустил десятилетнюю давность. Мужик пошел к губернатору. Губернатор назначил торжественное освидетельствование этого мальчика женского пола медиком и повивальной бабкой. Тут уж как-то завелась переписка с консисторией, и поп, наследник того, который под хмельком целомудренно не разбирает плотских различий, выступил на сцену, и дело длилось годы, и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужеского пола. [33, с. 267.]

У старика генерала Тучкова был процесс с казной. Староста его взял какой-то подряд, наплутовал и попался под нечет. Суд велел взыскать деньги с помещика, давшего доверенность старосте. Но доверенности на этот предмет вовсе не было дано. Тучков так и отвечал. Дело пошло в Сенат, Сенат снова решил: «Так как отставной генерал-лейтенант Тучков дал доверенность... то...» На что Тучков опять отвечал: «А так как генерал-лейтенант Тучков доверенности на этот предмет не давал, то...» Прошел год, снова полиция объявляет с строжайшим подтверждением: «Так как генерал-лейтенант... то...» — и опять старик пишет свой ответ. Не знаю, чем это интересное дело кончилось. Я оставил Россию, не дождавшись решения. [33а, с. 217.]

— Вот был профессор-с — мой предшественник, — говорил мне в минуту задушевного разговора вятский полицмейстер. — Ну, конечно, эдак жить можно, только на это надобно родиться-с; это в своем роде, могу сказать, Сеславин, Фигнер. — И глаза хромого майора, за рану произведенного в полицмейстеры, блистали при воспоминании славного предшественника.

Показалась шайка воров, недалеко от города, раз, другой доходит до начальства — то у купцов товар ограблен, то у управляющего по откупам деньги взяты. Губернатор в хлопотах, пишет одно предписание за другим. Ну, знаете, земская полиция трус; так какого-нибудь воришку связать да представить она умеет — а там шайка, да и, пожалуй, с ружьями. Земские ничего не сделали. Губернатор призывает полицмейстера и го-

ворит: «Я, мол, знаю, что это вовсе не ваша должность, но ваша распорядительность заставляет меня обратиться к вам». Полицмейстер прежде уж о деле был наслышан. «Генерал,— отвечает он,— я еду через час. Воры должны быть там-то и там-то; я беру с собой команду, найду их там-то и там-то и через два-три дня приведу их в цепях в губернский острог». Ведь это Суворов-с у австрийского императора! Действительно: сказано — сделано, он их так и накрыл с командой, денег не успели спрятать, полицмейстер все взял и представил воров в город.

Начинается следствие. Полицмейстер спрашивает:

— Где деньги?

— Да мы их тебе, батюшка, сами в руки отдали,— отвечают двое воров.

— Мне? — говорит полицмейстер, пораженный удивлением.

— Тебе! — кричат воры,— тебе.

— Вот дерзость-то,— говорит полицмейстер частному приставу, бледнея от негодования.— Да вы, мошенники, пожалуй, уверите, что я вместе с вами грабил. Так вот я вам покажу, каково марать мой мундир; я уланский корнет, и честь свою не дам в обиду!

Он их сечь — признавайся, да и только, куда деньги дели? Те сначала свое. Только как он велел им закатить на две трубки, так главный-то из воров закричал:

— Виноваты, деньги прогуляли.

— Давно бы так,— говорит полицмейстер,— а то несешь вздор такой; меня, брат, не скоро надуешь.

— Ну уж, точно, нам у вашего благородия надобно учиться, а не вам у нас. Где нам! — пробормотал старый плут, с удивлением поглядывая на полицмейстера. [33, с. 257.]

До Петербурга дошли наконец слухи о том, что творится в Пензенской губернии, и туда назначена была ревизия в лице сенатора *Сафонова*. Сафонов приехал туда вечером нежданно, и когда стемнело, вышел из гостиницы, сел на извозчика и велел себя везти на набережную.

— На какую набережную? — спросил извозчик.

— Как на какую! — отвечал Сафонов.— Разве у вас их много? Ведь одна только и есты!

— Да никакой нет! — воскликнул извозчик.

Оказалось, что, на бумаге, набережная строилась уже два года и что на нее истрачено было несколько десятков тысяч рублей, а ее и не начинали. [138, с. 41—42.]

Административная машина того времени была так отлично налажена, что управляющему краем было чрезвычайно легко. Петербург поважнее Казани, да и то в старые годы градоправители его не находили никаких затруднений в исполнении своих многосложных обязанностей.

— Это кто ко мне пишет? — спросит, бывало, петербургский губернатор Эссен, когда правитель канцелярии подаст ему бумагу.

— Это вы пишете.

— А, это я пишу. О чем?

Узнав, о чем он пишет, государственный муж подписывает бумагу.

Бывали администраторы более беспокойные, как, например, эриванский губернатор князь Андроников. Этот все сомневался, не обманывает ли его правитель канцелярии, и придумал способ, посредством которого удостоверился, что его не обманывают.

— Скажи правду, это верно? — спрашивал он правителя канцелярии, подносившего ему бумаги к подписанию.

— Верно, Ваше Превосходительство.

— Взгляни на образ, побожись!

Тот взглянет на образ, побожится; князь Андроников перекрестится и подпишет. [138, с. 33—34.]

В одной уголовной палате замечена была страшная медленность в ходе арестантских дел. Предписание за предписанием следовали одно за другим из министерства в палату о скорейшем решении дел. Спустя несколько времени после чего, председатель палаты приезжает в Петербург и с ликующим лицом является к министру юстиции, докладывая, что все дела в его палате решены.

— Как же вы это сделали? — спросил министр.

— Я, Ваше Сиятельство, — отвечал председатель дворянин, — воспользовался особым случаем. В нашем

губернском остроге содержится несколько весьма опытных чиновников: вот я и роздал им дела,— они мне живо написали все, что нужно.

Министр, граф Панин, услышав это, всплеснул руками и удалился из приемной комнаты, не найдя ничего сказать. [138, с. 47.]

При переводе К. Я. Булгакова из московских почт-директоров в петербургские обер-полицмейстер (Д. И.) Шульгин говорил брату его Александру: «Вот мы и братца вашего лишились. Все это комплот против Москвы. Того гляди, и меня вызовут. Ну уж если не нравится Москва, так скажи прямо: я берусь выжечь ее не по-французски и не по-растопчински, а по-своему, так что после меня не отстроят ее во сто лет». [29, с. 190.]

Гр. Закревский ехал раз поздно вечером с дочерью Мясницким бульваром мимо одного свободного дома, известного в городе под именем «Варшависки». Вдруг из этого увеселительного заведения выскочили пьяные офицеры и подняли крик; граф остановился и, увидев квартального, спросил, что это. «Бордель, Ваше Сиятельство». Затем последовала пощечина, которою граф пожаловал квартального, внушая ему быть вежливее при дамах. Заведение было уничтожено, и за такой смелый подвиг Москва дала Закревскому почетное звание графа Варшавского. По этому случаю М. С. Щепкин сказал: «Один раз сказал квартальный правду, да и тут поколотили!» [70, с. 144.]

После несчастных событий 14 декабря разнеслись и по Москве слухи и страхи возмущения. Назначили даже ему и срок, а именно день, в который вступит в Москву печальная процессия с телом покойного императора Александра I. Многие принимали меры, чтобы оградить дома свои от нападения черни; многие хозяева домов просили знакомых им военных начальников назначить у них на этот день постоем несколько солдат. Эти опасения охватили все слои общества, даже и низшие. В это время какая-то старуха шла по улице и несла в руке что-то съестное. Откуда ни возьмись мальчик, пробежал мимо ее и вырвал припасы из рук

ее. «Ах ты бездельник, ах ты головорез,— кричит ему старуха вслед,— еще тело не привезено, а ты уже начинаешь бунтовать». [29, с. 96—97.]

Первая жена гр. Л. была женщина немолодая, некрасивая, ужасно худощавая, плоская, досчатая. <...> Граф Л. застаёт эту же сожительницу свою в *преступном разговоре* (также и здесь отсылаем читателя или читательницу к английскому словарю) с одним из своих адъютантов. «Поздравляю вас, любезнейший,— говорит он ему.— Я хотел представить вас к Анне на шею, а теперь представлю вас к шпаге за храбрость». [29, с. 259.]

Муж и жена были очень скупы; они жили в доме на двух половинах. Вечером общая приемная комната их никогда не была освещена. Когда докладывали им о приезде кого-нибудь, он или она, смотря по приезжему, т. е. его ли это гость или ее, выходил или выходила из внутренней комнаты со свечою в руке. Когда же гость мог быть *обоюдный*, то муж и жена, являясь в противоположных дверях и завидя друг друга, спешили задуть свечу свою, так что гость оставался в совершенных потьмах. [29, с. 259—260.]

У него <Г. Х. Засса> проживал в доме старинный друг его, майор в отставке, курляндец по рождению, М. Однажды майору надоела вечная суета и тревога в доме и во дворе друга. Постоянные приезды лазутчиков, гонцов, князей и всего военного казачьего сброда. Вечное движение, шум, гам гончих и борзых свор и вся суета эта решили наконец майора уединиться в Ставрополь и расстаться с своим другом. Приближались святки, и майор получил приглашение от Засса приехать к нему погостить и отпраздновать Мартына Лютера жареным гусем с яблоками и черносливом. Майор мигом собрался и пустился в Прочный Окоп. Не доезжая до станицы, на экипаж мирного старого майора нападает партия черкес, завязывает ему глаза и рот, берет в плен и, связанного, мчит в горы. Пленник, окруженный толпою горцев, громко говорящих на своем варварском наречии, предался своему жребию и был

ни жив ни мертв. Наконец он чувствует, что его вводят в дом, слышит, что находится подле огня, который его несколько согревает, а шум и спор между похитителями продолжается. «Вероятно,— думает старик,— они делают меня и спорят о праве владеть мною». Но вдруг снимают с него повязку, и удивленному, пораженному майору представляется кабинет Засса... Сам, довольный, смеющийся, генерал и много казаков, совершенно схожих с неприятелями, которых одежду и вооружение издавна, как известно, себе усвоили. Майор рассердился за злую шутку, плевался, бранился самыми отборными словами и едва было не рассорился со своим другом, который только и умиловил разгневанного потомка Ливонских Рыцарей обещанием, ежели б, чего Боже сохрани, подобная беда стряслась над майором в самом деле, то дружба заставила бы непременно его освободить из плена. Вкусный приготовленный гусь помирил друзей. Однако майор прохворал с неделю, от потрясения ли, страха, или несварения желудка — неизвестно. [66, с. 260.]

Хозяин (за обедом). Вы меня извините, если обед не совсем удался. Я пробую нового повара.

Граф Михаил Вьельгорский (наставительно и несколько гневно). Вперед, любезнейший друг, покорнейше прошу звать меня на испробованные обеды, а не на пробные. [29, с. 231.]

Хозяин. Теперь поднесу вам вино историческое, которое еще от деда хранится в нашем семейном погребе.

Граф Михаил Вьельгорский. Это хорошо, но то худо, что и повар ваш, кажется, употребляет на кухне масло историческое, которое хранится у вас от деда вашего. [29, с. 231.]

Граф Вьельгорский спрашивал провинциала, приехавшего в первый раз в Петербург и обедавшего у одного сановника, как показался ему обед. «Великолепен,— отвечал он,— только в конце обеда поданный пунш был ужасно слаб». Дело в том, что провинциал выпил залпом теплую воду с ломтиком лимона, которую поднесли для полоскания рта. [29, с. 369.]

Лев Пушкин пьет одно вино,— хорошее или дурное, все равно,— пьет много, и никогда вино на него не действует. Он не знает вкуса чая, кофея, супа, потому что там есть вода... Рассказывают, что однажды ему сделалось дурно в какой-то гостиной и дамы, тут бывшие, засуетившись возле него, стали кричать: «Воды, воды!» — и будто бы Пушкин от одного этого ненавистного слова пришел в чувство и вскочил как ни в чем не бывало. [66, с. 201.]

О нем (Ф. Ф. Гагарине) рассказывали следующий анекдот: приехав однажды на станцию и заказав рябчика, он вышел на двор; вслед за ним вошел в станционную комнату известный московский сорванец, который посягнул на жаркое, хотя ему говорили, что оно заказано другим проезжающим. Возвратясь в комнату и застигнув этого господина с поличным, князь преспокойно пожелал ему хорошего аппетита, но, выставив дуло пистолета, заставил проглотить без отдыха еще 11 рябчиков, за которые заплатил. Года через два по взятии Варшавы он был уволен без прошения за то будто бы, что его видели на варшавских гуляньях в обществе женщин низшего разбора. Вскоре он вновь был принят на службу и назначен бригадным генералом. Как начальника его любили, так как он с офицерами обходился запанибрата. Однажды офицеры поздно вечером метали банк в палатке на ковре. Вдруг поднимается пола палатки и из-под нее вылезает, к общему изумлению, рука с картой, при словах: «Господа, аттанде, пятерка пик идет в а - б а н к», и вслед за ней выглянула оскалившаяся, черепообразная, полублудная голова князя. [112, с. 435.]

Кажется, М. Ф. Орлов, в ранней молодости, где-то на бале танцевал не в такт. Вскоре затем явилось в газете, что в такой-то вечер был *потерян такт* и что приглашают отыскавшего его доставить, за приличное награждение, в такую-то улицу и в такой-то дом. Последствием этой шутки был поединок, и, как помнится, именно с князем Сергеем Сергеевичем Голицыным. [29, с. 505.]

Двоюродные братья, князя Гагарины, оба красавцы в свое время, встретились после двадцатилетней разлуки в постороннем доме. Они, разумеется, постарели и друг друга не узнали. Хозяин должен был назвать их по имени. Тут бросились они во взаимные объятия. «Грустно, князь Григорий,— сказал один из них,— но судя по впечатлению, которое ты на меня производишь, должен я казаться тебе очень гадоком». [29, с. 364.]

Федор Федорович Рейс, никогда не читавший химии далее второй химической ипостаси, то есть водорода! Рейс, который действительно попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею. В конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию; ему ехать не хотелось,— он отправил вместо себя племянника... [33, с. 123.]

Чаадаев часто бывал в Английском клубе. Раз как-то морской министр Меншиков подошел к нему со словами:

— Что это, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете?

— Ах, это вы! — отвечает Чаадаев.— Действительно не узнал. Да и что это у вас черный воротник? Прежде, кажется, был красный?

— Да разве вы не знаете, что я — морской министр?

— Вы? Да я думаю, вы никогда шлюпкой не управляли.

— Не черти горшки обжигают,— отвечал несколько недовольный Меншиков.

— Да разве на этом основании,— заключил Чаадаев. [33а, с. 143.]

Какой-то сенатор сильно жаловался на то, что очень занят.

— Чем же? — спросил Чаадаев.

— Помилуйте, одно чтение записок, дел,— и сенатор показал аршин от полу.

— Да ведь вы их не читаете.

— Нет, иной раз и очень, да потом все же иногда надобно подать свое мнение.

— Вот в этом я уж никакой надобности не вижу,— заметил Чаадаев. [33а, с. 143.]

Платон очень недолюбливал графа Шереметева, однако посещал иногда его великолепные обеды и праздники. Раз, когда Платон обедал у Шереметева, подали огромную рыбу.

— Какая это рыба? — спросил граф дворецкого.

— Лосось, Ваше Сиятельство.

— Надобно говорить лососина,— заметил Шереметев и, обращаясь к митрополиту, сказал: Ваше Высокопреосвященство, вы человек ученый, объясните нам, какая разница между лосось и лососина?

— Такая же точно, Ваше Сиятельство,— отвечал Платон,— как между дурак и дурачина. [26, с. 537.]

Когда <В. А.> Перовскому сообщили о замужестве Софи Бобринской, его спросили: «А кто ее выдал за муж?» — «Мужики,— ответил Перовский,— 8000 душ». [119, с. 471.]

<И. П.> Новосильцов имел привычку петь, когда играл в карты. Граф Александр Ив<анович> Соллогуб говорил, что он пел: «Ты не поверишь, ты не поверишь, как ты мила», а когда спускалась Мария Федоровна, он пел: «Ты не поверишь, ты не поверишь божеской милости императрицы». [119, с. 181.]

Известная благотворительница Татьяна Борисовна Потемкина была слишком доступна всем искательствам меньшей братии, да и средней, особенно из духовного звания. Она никому не отказывала в своем посредничестве и ходатайстве; неумоимо, без оглядки и смело обращалась она ко всем предержавшим властям и щедро передавала им памятные и докладные записки. Несколько подобных записок вручила она и митрополиту Московскому Филарету. Однажды была она у него в гостях. В разговоре, между прочим, он сказал ей:

— А вы, матушка, Татьяна Борисовна, не извольте беспокоиться о просьбах, что мне дали: они все решены.

— Не знаю, как и благодарить Ваше Высокопреосвященство за милостивое внимание ваше ко мне.

— Благодарить нечего,— продолжал он,— всем отказано. [29, с. 339].

Старуха <Н. К.> Загряжская говорила великому князю Михаилу Павловичу: «Не хочу умереть скоропостижно. Придешь на небо угорелая и впопыхах, а мне нужно сделать Господу Богу три вопроса: кто был Лжедмитрий, кто Железная маска и шевалье д'Еон — мужчина или женщина? Говорят также, что Людовик XVII увезен из Тампля и его спасли; мне и об этом надо спросить».

— Так вы уверены, что попадете на небо? — ответил великий князь.

Старуха обиделась и с резкостью ответила: «А вы думаете, я родилась на то, чтобы торчать в прихожей чистилища?» [119, с. 566.]

Графа Кочубея похоронили в Невском монастыре. Графиня выпросила у государя позволение огородить решеткою часть пола, под которой он лежит. Старушка Новосильцова сказала: «Посмотрим, каково-то будет ему в день второго пришествия. Он еще будет карабкаться через свою решетку, а другие давно уж будут на небесах». [81, с. 164—165.]

Приятель князя Дашкова выражал ему удивление, что он ухаживает за госпожою, которая не хороша собою, да и не молода. «Все это так,— отвечал князь,— но если бы ты знал, как она благодарна!» [29, с. 117.]

«Нет круглых дураков,— говорил генерал Курута,— посмотрите, например, на В.: как умно играет он в вист!» [29, с. 130.]

Я играла с ним <В. Ф. Одоевским> на фортепиано по пять часов подряд; мой муж храпел полчаса после обеда, а потом спасался бегством от моей музыки, как от кошачьего концерта; княгиня была так ревнива, что

оставалась слушать нас; я ей говорила: «Княгиня, советую вам ехать домой, нас с Одоевским хоть в одну ванну посади, ничего не будет». [119, с. 504—505.]

Раз, кончивший курс казенный студент, очень хорошо занимавшийся и определенный потом в какую-то губернскую гимназию старшим учителем, услышав, что в одной из московских гимназий открылась по его части ваканция младшего учителя, пришел просить у графа <С. Г. Строганова> перемещения. Цель молодого человека состояла в том, чтобы продолжать заниматься своим делом, на что он не имел средств в губернском городе. По несчастию, Строганов вышел из кабинета желтый, как церковная свечка.

— Какое вы имеете право на это место? — спросил он, глядя по сторонам и подергивая усы.

— Я потому прошу, граф, этого места, что именно теперь открылась ваканция.

— Да и еще одна открывается,— перебил граф,— ваканция нашего посла в Константинополе. Не хотите ли ее?

— Я не знал, что она зависит от Вашего Сиятельства,— ответил молодой человек,— я приму место посла с искренней благодарностью. [33а, с. 195.]

Сергей Григорьевич <Строганов> жил у брата своего, министра внутренних дел. Я входил в залу в то самое время, как Строганов выходил. Он был в белых штанах и во всех своих регалиях, лента через плечо; он ехал во дворец. Увидя меня, он остановился и, отведя меня в сторону, стал расспрашивать о моем деле. Он и его брат были возмущены безобразием моей ссылки.

Это было во время болезни моей жены, несколько дней после рождения малютки, который умер. Должно быть, в моих глазах, словах было видно большое негодование или раздражение, потому что Строганов вдруг стал меня уговаривать, чтобы я переносил испытания с христианской кротостью.

— Поверьте,— говорил он,— каждому на свой пай достается нести крест.

«Даже и очень много иногда»,— подумал я, глядя на всевозможные кресты и крестики, застилавшие его грудь. [33а, с. 197.]

Однажды вечером (одноногий А. С. Норов) хотел показать себя галантным по отношению к г-же Никитенко, жене цензора; шел дождь, он надел одну галошу и говорит слуге: «А где же другая?» — «Другая осталась под Бородином». [119, с. 482.]

В ее (Е. М. Хитрово) салоне, кроме представителей большого света, ежедневно можно было встретить Жуковского, Пушкина, Гоголя, Нелединского-Мелецкого и двух-трех других тогдашних модных литераторов. По этому поводу молва, любившая позлословить, выдумала следующий анекдот: Елисавета Михайловна поздно просыпалась, долго лежала в кровати и принимала избранных посетителей у себя в спальне; когда гость допускался к ней, то, поздоровавшись с хозяйкой, он, разумеется, намеревался сесть; г-жа Хитрово останавливала его: «Нет, не садитесь на это кресло, это Пушкина,— говорила она,— нет, не на диван — это место Жуковского, нет, не на этот стул — это стул Гоголя — садитесь ко мне на кровать: это место всех! (Asseyez-vous sur mon lit, c'est la place de tout le monde)». [124, с. 438.]

К празднику светлого воскресения обыкновенно раздаются чины, ленты, награды лицам, находящимся на службе. В это время происходит оживленная мена поздравлений. Кто-то из подобных поздравителей подходит к Жуковскому во дворце и говорит ему: «Нельзя ли поздравить и Ваше Превосходительство?» — «Как же,— отвечает он,— и очень можно». — «А с чем именно, позвольте спросить?» — «Да со днем Святой Пасхи». [29, с. 448.]

Жуковский не имел определенного звания по службе при дворе. Он говорил, что в торжественно-праздничные дни и дни придворных выходов он был *знатною особою обоего пола* (известное выражение в официальных повестках). [29, с. 448.]

Шутки Жуковского были детские, и всегда повторялись; он ими сам очень тешился. Одну зиму он назна-

чил обедать у меня по средам и приезжал в сюртуке; но один раз случилось, что другие (например, дипломаты) были во фраках: и ему и нам становилось неловко. На следующую среду он пришел в сюртуке, за ним человек нес развернутый фрак. «Вот я приехал во фраке, а теперь, братец Григорий,— сказал он человеку,— уложи его хорошенько». [119, с. 20.]

Однажды обедали мы с Плетневым у Гнедича на даче. За обедом понадобилась соль Плетневу; глядь, а соли нет. «Что же это, Николай Иванович, стол у тебя кривой»,— сказал он (известная русская поговорка: без соли стол кривой). Плетнев вспомнил русскую, но забыл французскую поговорку: не надобно говорить о веревке в доме повешенного (Гнедич был крив). [29, с. 368.]

При Павлове (Николае Филипповиче) говорили об общественных делах и о том, что не должно разглашать их недостатки и погрешности. «Сору из избы выносить не должно»,— кто-то заметил. «Хороша же будет изба,— возразил Павлов,— если никогда из нее сору не выносить». [29, с. 74.]

Загоскин отличался, как известно, необыкновенным добродушием и наивностью. Хотя талант его всегда очень ценился знатоками и любителями литературы, но все были изумлены, когда он стал знакомить своих друзей с отрывками из рукописи своего «Юрия Милославского». От автора не ожидали, чтобы он мог написать роман, и притом исполненный такими достоинствами. На одном из первых чтений «Юрия Милославского», происходящем в близко знакомом Загоскину семействе, хозяйка, под живым впечатлением чтения, подошла, по окончании его, к автору и сказала:

— Признаюсь, Михаил Николаевич, мы от вас этого не ожидали.

— И я сам тоже,— отвечал Загоскин. [52, с. 45].

Вариант.

Славу писателя доставил ему <М. Н. Загоскину> «Юрий Милославский». В первый раз читал он его у Вельяминовых. Все удивлялись этому роману. После

чтения стали подходить к нему с похвалами, совершенно справедливыми, но между которых у иных слушателей выражалось такое приветствие: «Ну, Мих(аил) Ник(олаевич), мы этого от вас не ожидали!» — «Правда? — отвечал добродушный Ми(хаил) Ник(олаевич). — Я этого и сам не ожидал!» [43, с. 551.]

При его всегдашней веселости иногда приходили на него и грустные минуты задумчивости, которыми, признаюсь, он всегда смешил меня. Однажды приезжает ко мне Михаил Николаевич: «Грустно, братец! Все думаю: что такое в нас душа?» — «Что тебе это вздумалось?» — «Да вот что: разные ли в нас души, или во всех одинакие? Ежели разные, то за что же человек будет отвечать, что в нем душа или глупая, или злая! А ежели у всех одинакие, то хорошо, как душа попадет в голову умному человеку: вот, например, как мы с тобой, а посадят ее в голову к дураку, она, чай, и думает: чем же я виновата, что сижу в потемках? Право, так. Грустно, братец!» [43, с. 553.]

У меня обедало несколько приятелей. Это было в 1824 году, когда я жил у Николы в Плотниках, в доме Грязновой. В это время в Москве был Грибоедов, которого я знал и иногда с ним встречался в обществе, но не был с ним знаком. Перед обедом Загоскин отвел меня в сторону и говорит мне: «Послушай, друг Мишель! Я знаю, что ты говорил всегда правду, однако побожись!» Я не любил божиться, но уверил его, что скажу ему всю правду. «Ну, так скажи мне — дурак я или умен?» Я очень удивился, но, натурально, отвечал, что умен. «Ну, душенька, как ты меня обрадовал! — отвечал восхищенный Загоскин и бросился обнимать меня. — Я тебе верю и теперь спокоен! Вообрази же: Грибоедов уверяет, что я дурак». [43, с. 553—554.]

Загоскин был довольно рассеян, иногда забывчив. Вскоре после моей женитьбы на Вельяминовой раз он приехал к нам вечером и нашел, что жена моя разливает чай. Эта семейная картина очень его растрогала. «Вот, право, посмотрю я на тебя, — сказал он мне, —

как ты счастлив! У тебя и жена есть!..» — «А Анна-то Дмитриевна?» — «Ах, бабушка! Что я говорю? Я и забыл!!!» [43, с. 554.]

В другой раз стал он что-то рассказывать и начал так: «Покойная моя матушка...» — потом вдруг остановился и перекрестился: «Что это я говорю! Ведь она еще здравствует!» [43, с. 555.]

Он был довольно бережлив, но, получая довольно много денег за свои сочинения, любил иногда себя потешить разными безделками, совсем ненужными и которые стоили дорого. Например, беспрестанно заказывал Лукутину бумажные табакерки с разными картинками, выписывал восьмиствольные пистолеты, карманные барометры, складные удочки и проч. Наконец, кто не знает историю о его шкатулке?

Он вздумал сделать себе дорожную шкатулку, которая бы заключала в себе все: и принадлежности туалета, и библиотеку, и зрительную трубку, и прибор для ужения рыбы, и часы, и принадлежности для письма, и табакерки, и сигары, которых он не курил, — словом, все, что и нужно и не нужно, да может понадобиться! Он накупил вещей, собрал свои, обрезал по самые строки прекрасное маленькое издание французской библии, потому что оно не входило в местечко, и шкатулка вышла огромная и подлинно редкая. Ее делал футлярщик Торнеус. Загоскин показывал ее всегда с удовольствием, и первое слово его всегда было громкое и повелительное: «Отопри!» Замок был с секретом, и всякий, натурально, отказывался отпереть. Загоскин говорил с благородной гордостью: «А я отопру». И отпирал.

Я застал его однажды у Торнеуса и говорю ему: «Я нахожу, Мих(аил) Ник(олаевич), что тут многого недостает!» — «А что бы такое, например?» — «Недостает складного ружья, складного вертела и утюга». — «На что же это?» — «Да случится дорогой застрелить птицу, захочешь ее изжарить. А замараешь манишку, вздумаешь сам вымыть, надобно и выгладить».

Загоскин, натурально, принял это за шутку, однако по зрелом размышлении оказалось, что эта шкатулка действительно не содержит в себе самого нужнейшего для дороги, именно столового прибора и других принад-

лежностей для стола. Загоскин заказал для этого другую шкатулку.

Когда и другая великолепная шкатулка была готова, оказалось, что они не устанавливаются в коляску. Загоскин заказал для шкатулок коляску. Когда готова была и коляска, оказалось, что Мих(айлу) Ник(олаевичу) некуда ехать... [43, с. 555—556.]

Дельвиг однажды вызвал на дуэль Булгарина. Булгарин отказался, сказав: «Скажите барону Дельвигу, что я на своем веку видел более крови, нежели он чернил». [81, с. 159.]

Булгарин просил Греча предложить его в члены Английского клуба. На членских выборах Булгарин был забаллотирован. По возвращении Греча из клуба, Булгарин спросил его:

— Ну что, я выбаллотирован?

— Как же, единогласно,— отвечал Греч.

— Bravo!.. так единогласно?..— воскликнул Булгарин.

— Ну да, конечно единогласно,— хладнокровно сказал Греч.— Потому что в твою пользу был один лишь мой голос; все же прочие положили тебе неизбирательные шары. [52, с. 23.]

Он (Н. В. Гоголь) бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно поесть, и нередко беседы его с Михаил Семеновичем Щепкиным склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаньев. Винам он давал названия квартального и городничего, как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должный порядок, а жженке, потому что зажженная, она горит голубым пламенем, давал имя Бенкендорфа (намек на голубой мундир Бенкендорфа). «А что? — говорил он Щепкину после сытного обеда,— не отправить ли теперь Бенкендорфа?» [137, с. 6.]

Во время путешествия Гоголя по Испании с ним в одной из гостиниц Мадрида произошел такой случай. В этой гостинице, по испанскому обычаю, было грязно,

белье было совсем засаленное. Гоголь пожаловался, хозяин отвечал: «Señor, нашу незабвенную королеву (Изабеллу) причисляют к лику святых, а она во время осады несколько недель не снимала с себя рубашки, и эта рубашка, как святыня, хранится в церкви, а вы жалуетесь, что ваша простыня нечиста, когда на ней спали только два француза, один англичанин и одна дама очень хорошей фамилии; разве вы чище этих господ?» [137, с. 7.]

Когда Гоголю подали котлетку, жаренную на прованском масле и совершенно холодную, Гоголь снова выразил неудовольствие. Лакей преспокойно пощупал ее грязной рукой и сказал:

— Нет, она тепленькая: пощупайте ее! [137, с. 8.]

После обеда кто-то дернул меня за фалдочку; оглянувшись, я увидел Гоголя.

— Пойдем в сад,— шепнул он и довольно скоро пошел в диванную; я последовал за ним, и, пройдя несколько комнат, мы вышли на террасу...

— Знаете ли, что сделаем? — сказал Гоголь,— мы теперь свободны часа на три, пойдем в лес?

— Пожалуй,— отвечал я,— но как мы переберемся через реку?

— Вероятно, там отыщем челнок, а может быть, и мост есть.

Мы спустились с горы напрямиком, перелезли через забор и очутились в узком и длинном переулке вроде того, какой разделял усадьбы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

— Направо или налево? — спросил я, видя, что Гоголь с нерешимостью посматривал то в ту, то в другую сторону переулка.

— Далеко придется обходить,— отвечал он.

— Что ж делать?

— Отправимся прямо.

— Через левую?

— Да.

— Пожалуй.

На основании принятой от поляков поговорки «шляхтич на своем огороде равен воеводе» в Малороссии считается преступлением нарушить спокойствие

владельца, но я был очень стговорчив, и первый полез через плетень. Внезапное наше появление произвело тревогу. Собаки лаяли, злобно кидаясь на нас, куры с криком и кудахтаньем разбежались, и мы не успели сделать двадцати шагов, как увидели высокую, дебелую молодицу с грудным ребенком на руках, который жевал пирог с вишнями и выпачкал себе лицо до ушей.

— Эй вы, школяры! — закричала она, — зачем, что тут забыли? Убирайтесь, пока не досталось вам по шее!

— Вот злючка! — сказал Гоголь и смело продолжал идти, я не отставал от него.

— Что ж, не слышите? — продолжала молодица, озлобляясь, — оглохнули? Вон, говорю, курохваты, а не то позову чоловика (мужа), так он вам ноги перебивает, чтоб в другой раз через чужие плетни не лазили.

— Постой, — пробормотал Гоголь, — я тебя еще не так рассержу!

— Что вам нужно?.. Зачем пришли? — грозно спросила молодица, остановясь в нескольких от нас шагах.

— Нам сказали, — отвечал спокойно Гоголь, — что здесь живет молодица, у которой дитина похожа на поросенка.

— Что такое? — воскликнула молодица, с недоумением посматривая то на нас, то на свое детище.

— Да вот оно! — вскричал Гоголь, указывая на ребенка, — какое сходство! Настоящий поросенок!

— Удивительное, чистейший поросенок, — подхватил я, захохотав во все горло.

— Как! моя дитина похожа на поросенка! — заревела молодица, бледная от злости. — Шибенники (достойные виселицы, сорванцы), чтоб вы не дождали завтрашнего дня, сто болячек вам!.. Остапе, Остапе! — закричала она, как будто ее резали. — Скорей, Остапе!.. — и кинулась навстречу мужу, который, спеша, подходил к нам с заступом в руках.

— Бей их заступом! — вопила молодица, указывая на нас. — Бей, говорю, шибенников! Знаешь ли, что они говорят?..

— Чего ты так раскудахталась? — спросил мужик, остановясь, — я думал, что с тебя кожу сдирают.

— Послушай, Остапе, что эти богомерзкие школяры, ироды, выгадывают, — задыхаясь от злобы, говорила молодица, — рассказывают, что наша дитина похожа на поросенка.

— Что ж, может быть, и правда,— отвечал мужик хладнокровно.— Это тебе за то, что ты меня кабаном называешь... [137, с. 11—14.]

Гоголь передает следующий курьезный анекдот из своего путешествия из Лозанны в Веве:

«Было в исходе первого часа, когда я прибыл в Веве. Я отправился в Hôtel de Fancon. Обедало нас три человека: я посреди, с одной стороны почтенный старик француз с перевязанною рукою и орденом, а с другой стороны — почтенная дама, жена его. Подали суп с вермишелями. Когда мы все трое суп откушали, подали нам вот какие блюда: говядину отварную, котлеты бараньи, вареный картофель, шпинат со шпигованной телятиной и рыбу средней величины к белому соусу. Когда я откушал картофель, который я весьма люблю, особливо когда он хорошо сварен, француз, который сидел возле меня, обратясь ко мне, сказал:

— Милостивый государь...

Или нет, я позабыл, он не говорил «милостивый государь», он сказал:

— Monsieur, je vous servis эту говядиню. Это очень хорошая говядина.

На что я сказал:

— Да, действительно, это очень хорошая говядина.

Потом, когда приняли говядину, я сказал: Monsieur, позвольте вас попотчевать бараньей котлеткою.

На что он сказал:

— С большим удовольствием. Я возьму котлетку, тем более что, кажется, хорошая котлетка.

Потом приняли и котлетку и поставили вот какие блюда: жаркое — цыпленка, потом другое жаркое — баранью ногу, потом поросенка, потом пирожное — компот с грушами, потом другое пирожное — с рисом и яблоками. Как только мне переменили тарелку и я ее вытер салфеткой, француз, сосед мой, попотчевал меня цыпленком и сказал:

— Puis je vous offrir цыпленка?

На что я сказал:

— Je vous demande pardon, monsieur, я не хочу цыпленка, я очень огорчен, что не могу взять цыпленка, я лучше возьму кусок бараньей ноги, потому что я баранью ногу предпочитаю цыпленку.

Потом, когда откушали жаркое, француз, сосед мой, предложил мне компот из груш, сказал:

— Я вам советую, monsieur, взять этого компота, это очень хороший компот.

— Да,— сказал я,— это точно очень хороший компот. Но я едал (продолжал я) компот, который приготавливали собственные ручки княжны В. Н. Р. (Варвары Николаевны Репниной) и который можно назвать королем компотов и главнокомандующим всех пирожных.

На что он сказал:

— Я не едал этого компота, но сужу по всему, что он должен быть хорош, ибо мой дедушка был тоже главнокомандующий.

На что я сказал:

— Очень жалею, что не был знаком лично с вашим дедушкою.

На что он сказал:

— Не стоит благодарности.

Потом приняли блюда и поставили десерт. Но я, боясь опоздать к дилижансу, попросил позволение оставить стол, на что француз, сосед мой, отвечал очень учтиво, что он не находит с своей стороны никакого препятствия.

Тогда я, взвалив шинель на левую руку, а в правую взяв дорожный портфель с белою бумагою и разную собственноручною дрянью, отправился на почту. [137, с. 23—24.]

Один из лучших артистов 2-го класса, Максимов 1-й, вследствие усердного поклонения стеклянному богу, дошел до такой худобы, что поистине остались только кости да кожа, так что когда после смерти Каратыгина он затеял играть роль Гамлета, артисты смеялись и хором советовали ему взять лучше в той же пиесе роль тени.

В Красном Селе, где находился постоянный лагерь гвардии, устроили театр, на котором играли (нрзб.) петербургские артисты, а коли им жить там было негде, то и для них на случай приезда построили домики, кругом коих развели палисадники. Наследник, нынешний государь, проездом остановился у этих домиков; Самойлова, Петр Каратыгин, Максимов и другие артисты бежали на улицу.

— Поздравляю с новосельем,— сказал наследник,— хорошо ли вам теперь?

— Прекрасно! — отвечала Самойлова.— Жаль только, что недостает тени.

— Как недостает? — перебил П. А. Каратыгин,— а Максимов? [63, л. 62—63.]

Театральные чиновники теперь тайком, а прежде открыто снабжали своих знакомых креслами, ложами и всякими местами в театре бесплатно.

К Неваховичу беспрестанно ходил один проситель, искавший места в штате дирекции. Невахович, разумеется, обещал и, разумеется, не исполнил. Проситель был так настойчив, что Нев(ахович) стал от него прятаться. Не находя никогда дома, проситель забрался за кулисы и там поймал-таки Неваховича. Тот успел уже все перезабыть...

— Что вам угодно? — спросил Невахович второпях.

— Как что угодно? Места.

— Места? Эй, капельдинер, проведи их в места за креслами.

— Вы шутите, Александр Львович! Я человек семейный...

— Семейный? Ну так проведи их в ложу второго яруса... [63, л. 64.]

26 августа 1856 (года) проходил юбилей существования столичного русского театра. Вспомнили об этом в мае, а в июне объявили конкурс для сочинения приличной пьесы на этот случай. Разумеется, пьес доставлено слишком мало; пальму первенства получил (В. А.) Соллогуб. Встретясь с П. А. Каратыгиным, увенчанный автор упрекал его, зачем и он не написал чего для юбилея.

— Помилуйте! В один месяц! И не я один! Многие и пера в руки не брали. К тому же в такое время, когда в Пет(ербурге) разброд, кто в деревне, кто за границей! Да еще в такой короткий срок.

— Да отчего же другие успели и прислали.

— Недальние прислали, а прочие не могли. [63, л. 66.]

Петр Каратыгин вернулся из поездки в Москву. Знакомый, повстречавшись с ним, спросил:

— Ну что, П(етр) А(ндреевич), Москва?

— Грязь, братец, грязь! То есть не только на улицах, но и везде, везде — страшная грязь. Да и чего доброго ожидать, когда там и обер-полицмейстер-то — Лужин. [63, л. 67.]

Неваховичи происхождения восточного. Меньшой, Ералаш, не скрывал этого, говоря, что все великие люди современные — того же происхождения: Майербер, Мендельсон, Бартольди, Ротшильд, Эрнст, Рашель, Канкрин и прочие. Старший Невахович был чрезвычайно рассеян. Случилось ему обещать что-то Каратыгину, и так как он никогда не исполнял своих обещаний, то и на этот раз сделал то же...

При встрече с Каратыгиным он стал извиняться:

— Виноват, тысячу раз виноват. У меня такая плохая память... Я так рассеян...

— Как племя иудейское по лику земному...— закончил Каратыгин и ушел. [63, л. 81.]

Однажды актриса Азаревичева попросила инспектора драматической труппы, отставного полковника А. И. Храповицкого, ужасного чудака и формалиста, доложить директору, чтобы бенефис, назначенный ей на такое-то число, было отложен на несколько дней. Все дело было в двух словах, но Храповицкий важно отвечал ей, что он без бумаги не может ходатайствовать о ее просьбе.

— Ах, Александр Иванович,— сказала Азаревичева,— где мне писать бумаги? Я не умею.

— Ну, все равно, надобно соблюсти форму. Здесь же, на репетиции, вам ее напишет Семизатов (секретарь Храповицкого из молодых актеров).

Тут Храповицкий кликнул его, усадил и начал диктовать:

— Пиши... Его высокоблагородию... коллежскому... советнику... и... кавале-ру... господи-ну... инспектору... российской... драматической... труппы... от актрисы... Азаревичевой...— и пошел и пошел приказным слогом излагать ее просьбу к себе самому. Окончив диктовку, он велел Азаревичевой подписать; отдал просьбу ей, по-

том, по форме, велел подать себе, что Азаревичева и исполнила, едва удерживаясь от смеху... Храповицкий очень серьезно, вслух прочел свое диктование и отвечал:

— Знаете ли что? Его сиятельство никак не согласится на вашу просьбу, и я никак не могу напрасно его беспокоить. Советую вам лично его попросить, это другое дело!

И тут же разорвал только что поданную ему бумагу. Азаревичева глаза вытаращила:

— Что же за комедия? Вы бы мне сначала так и сказали, а то зачем же заставили меня подписывать бумагу?

— Сначала я не сообразил! — глубокомысленно отвечал он, — а вы, сударыня, — девица и потому не понимаете формы. [58, с. 192.]

Однажды в мастерскую к Брюллову приехало какое-то семейство и пожелало видеть ученика его Н. А. Рамазанова. Брюллов послал за ним. Когда он пришел, то Брюллов, обращаясь к посетителям, произнес:

— Рекомендую — пьяница.

Рамазанов, указывая на Брюллова, хладнокровно ответил:

— А это — мой профессор. [27, с. 630.]

В Петербург приезжала англичанка, известная портретистка. Спрашивали Брюллова, что он думает о ней.

— Талант есть, — сказал он, — но в портретах ее нет костей: все одно мясо. [29, с. 459.]

Брюллов говорил мне однажды о ком-то: «Он очень слезлив, но когда и плачет, то кажется, что из глаз слюнки текут». [29, с. 459.]

Об Асенковой он (М. С. Щепкин) не перестает жалеть, что ее сгубили мужские роли. Он, как и мы, ненавидит этот гермафродитизм. Один раз Асенкова спросила его, как он ее находит в «Полковнике старых времен»? Он отвечал ей вопросом: «Почему вы не спрашиваете меня, каковы вы были в такой-то роли молодой светской дамы?» — «Потому, что я знаю, что там не-

хороша». — «Следовательно, вы ждете похвалы: ну, так утешьтесь, вы в «Полковнике» были так хороши, что гадко было смотреть». [49, с. 9.]

Раз, помню, один простодушный господин распространился о счастье первобытных человеческих общин, которые жили мирно и безыскусственно, как велит мать-природа, не ведая ни наших радостей, ни наших страданий. Щепкин прервал философа следующим эпилогом: «Шел я как-то по двору, вижу, лежит в луже свинья, по уши в грязи, перевернулась на другой бок и посмотрела на меня с таким презрением, как будто хотела сказать: дурак! ты этого наслаждения никогда не испытал!» [70, с. 313.]

В другой раз собрались у графини Ростопчиной московские литераторы и художники; в это время была в Москве Рашель, и разговор, разумеется, зашел об ее игре. Талант французской артистки сильно не нравился нашим славянофилам, и один из них, «претендент в русские Шекспиры», стал доказывать, что Рашель вовсе не понимает сценического искусства и что игра ее принесет нашему театру положительный вред. Щепкин выслушал резкую тираду и сказал: «Я знаю деревню, где искони все носили лапти. Случилось одному мужику отправиться на заработки, и вернулся он в сапогах. Тотчас весь мир закричал хором: как это, дескать, можно! не станем, братцы, носить сапогов; наши отцы и деды ходили в лаптях, а были не глупее нас! ведь сапоги — мотовство, разврат!.. Ну, а кончилось тем (прибавил старик с насмешливою улыбкою), что через год вся деревня стала ходить в сапогах!» [70, с. 313—314.]

С месяц тому назад явился к М. С. Щепкину А. Лазарев (автор разных сумасшедших политических бредней, известных под именем литературных простынь), поймал его на улице, старик куда-то собирался ехать; тут же ему отрекомендовался: «Как, вы меня не узнаете? Я знаменитый Лазарев!» Вытащил из кармана длиннейшую и пошлую статью, написанную против Герцена и значительно приправленную бранью, и давай ее чи-

тать на улице. Щепкин уже глуховат от старости, в последние годы слезливый до того, что рассказ о купленной говядине повергает его в сладостный плач, слыша имя Герцена (своего старого и близкого друга, как он сам говаривал), расплакался с чувством. Лазарев читал с жестами и обратил на себя внимание прохожих; наконец длинная статья осилена — и он уехал. «О чем вы плакали?» — спрашивают старика дети. «Да он читал о Герцене». — «Да ведь просто-напросто ругал его». — «Ну, я не слышал!» Вечером Лазарев прислал к нему записку такого содержания: «Артист! Твоя слеза — моя награда». [70, с. 157.]

М. С. Щепкин рассказывал, что по приезде в Москву Гедеонова он пошел к нему. Мороз освежил и подкрасил свежим румянцем его щеки. «Ишь какой молодец! — сказал генерал, — а еще выдумал какие-то пять-десять» (намек на юбилей). «Это, Ваше Превосходительство, выд(ум)ал не я, а выдумало время, а Москва ему поверила». [70, с. 150.]

Но вот и еще рассказ о Щепкине. Явился к нему в Ярославле какой-то монах с обычною просьбою подать что-нибудь Богу. Старик отвечал: «До сих пор все, что давал мне Господь, я брал, но сам предложить ему что-нибудь не смею!» [70, с. 151.]

Щепкин, при всей своей строгости к самому себе, имел немало странностей: например, он любил целовать молодых актрис в губы и, идя мимо них, обыкновенно говорил: «Губы! Губы!», чмокал и проходил дальше. Актрисы знали его слабость и не прекословили ему, но иногда с этими поцелуями выходили немалые недоразумения. Один раз при мне он, проходя, обратился к стоявшей на актерском подъезде какой-то даме, вероятно принимая ее за одну из служащих в театре. «Губы! Губы!» — сказал он. «С удовольствием, — отвечала та, — но только, г. Щепкин, пожалуйста, не говорите об этом моему мужу, он у меня ужасно ревнив. Позвольте вам представиться: княгиня такая-то».

Картина! Миллион извинений и доброе пожатие руки. [49, с. 232.]

Жили в Курске, как я уже сказал, весело, и это продолжалось до губернатора А (ркадия) И (вановича) Н (елидова), со вступления которого в управление губернией (не могу определить точно времени, когда это было, в 1808 или в 1809 году) общество начало расстраиваться и делиться на партии, так что к концу года его веселость исчезла, и если бывали какие-либо собрания дворян в одну кучу, то или по случаю чьих-либо именин, или свадеб. Прислушиваясь во всех классах общества, я услышал один ропот на губернатора: первое — что при его средствах живет не по-губернаторски и даже, к стыду дворянства и своего звания, ездил по городу четверней, а не в шесть лошадей, и прислуги было мало, так что в царские дни, когда давал обеды, на которые, кроме должностных людей никого не приглашал, и для такого небольшого числа посетителей приглашали для услуги людей из других домов; и даже за пятью детьми или чуть ли не за шестью ходила одна девушка Сара Ивановна; а как тут были и мальчишки, которых, бедных, приучили с четырех лет самих одеваться, так что ей стоило только приготовить что надеть. «Воля ваша,— говорили все,— это не по-дворянски!» Но главное, что возмущало все общество, это то, что он не брал взяток. «Что мне в том,— говорил всякий,— что он не берет? Зато с ним никакого дела не сделаешь!» [49, с. 96.]

Директор императорских театров А. М. Геденов в надежде добыть очередной орден посулил по оплошности одну и ту же воспитанницу в любовницы двум тузам, а когда спохватился, то исправил ошибку и услужил ею третьему, из еще более высокопоставленных, по протекции которого и удостоился желанной награды. [49, с. 10—11.]



А. П. ЕРМОЛОВ

В 1837 году, во время больших маневров, бывших в окрестностях Вознесенска, одной стороной войск командовал государь император Николай Павлович, а дру-

гою — начальник всей поселенной кавалерии генерал-адъютант граф Витт.

Случилось так, что во время самого жаркого дела без всякой достаточной причины генерал Витт вдруг переменял образ действий — и стал с отрядом отступать.

Государь, не понимая такого неожиданного маневра, спросил у бывшего подле него А. П. Ермолова:

— Что значит это отступление, когда Витт находится в гораздо лучшем положении, чем я?

— Вероятно, Ваше Величество, граф Витт принимает это дело за настоящее,— был ответ Ермолова. [45, с. 279.]

По окончании Крымской кампании, князь Меншиков, проезжая через Москву, посетил А. П. Ермолова и, поздоровавшись с ним, сказал:

— Давно мы с вами не видались!.. С тех пор много воды утекло!

— Да, князь! Правда, что много воды утекло! Даже Дунай уплыл от нас! — отвечал Ермолов. [45, с. 280.]

Генерал Голев, в первый свой визит к А. П. Ермолову, с большим любопытством всматривался в обстановку его кабинета, увешанного историческими картинами и портретами. Особенное внимание его остановил на себе портрет Наполеона I, висевший сзади кресла, обыкновенно занятого Ермоловым.

— Знаете, отчего я повесил Наполеона у себя за спиной? — спросил Ермолов.

— Нет, Ваше Высокопревосходительство, не могу себе объяснить причины.

— Оттого, что он при жизни своей привык видеть только наши спины. [99, с. 889.]

Ермолов в конце 1841 года занемог и послал за годовым своим доктором Высотским. Разбогатев от огромной своей практики, доктор, как водится, не обращал уже большого внимания на своих пациентов; он только на другой день вечером собрался навестить больного. Между тем Алексей Петрович, потеряв терпение и оскорбясь небрежностью своего доктора, взял другого врача. Когда приехал Высотский и доложили о его

приезде, то Ермолов велел ему сказать, что он болен и потому принять его теперь не может. [50, с. 115.]

Прибыв в Москву, Ермолов посетил во фраке дворянское собрание; приезд этого генерала, столь несправедливо и безрассудно удаленного со служебного поприща, произвел необыкновенное впечатление на публику; многие дамы и кавалеры вскочили на стулья и столы, чтобы лучше рассмотреть Ермолова, который остановился в смущении у входа в залу. Жандармские власти тотчас донесли в Петербург, будто Ермолов, остановившись насупротив портрета государя, грозно посмотрел на него!!! [39, с. 406.]

У Ермолова спрашивали об одном генерале, каков он в сражении. «Застенчив»,— отвечал он. [29, с. 383.]

Говорили о смерти Хомякова. «Очень жаль его, большая потеря, да нельзя не пожалеть и — «о семействе его» — тут кто-то сказал. Нет,— продолжал Ермолов,— что же, он семейству оставил хорошее состояние, а нельзя не пожалеть о Кошелеве, который без него остался при собственных средствах своих, т. е. дурак дураком». [29, с. 448.]

При нем же (А. П. Ермолове) говорили об одном генерале, который во время сражения не в точности исполнил данное ему приказание и этим повредил успеху дела. «Помилуйте,— возразил Ермолов,— я хорошо и коротко знал его. Да он, при личной отменной храбрости, был такой человек, что приснись ему во сне, что он в чем-нибудь ослушался начальства, он тут же во сне с испуга бы и умер». [29, с. 124.]

При преобразовании главного штаба и назначении начальника главного штаба, в царствование императора Александра, он же сказал, что отныне военный министр должен бы быть переименован в министра провиантских и комиссариатских сил. [29, с. 124.]

Вскоре после учреждения жандармского ведомства Ермолов говорил об одном генерале: «Мундир на нем зеленый, но если хорошенько поискать, то наверно в подкладке найдешь голубую заплатку». [29, с. 225.]

Сенатор Безродный в 1811 году был правителем канцелярии главнокомандующего Барклая де Толли. Ермолов зачем-то ездил в главную квартиру. Воротясь, на вопрос товарищей: «Ну что, каково там?» — «Плохо,— отвечал Ермолов,— все немцы, чисто немцы. Я нашел там одного русского, да и тот Безродный». [63, л. 32.]



А. С. ПУШКИН

Воспитанникам Лицея было задано написать в классе сочинение: *восход солнца* (любимая тема многих учителей словесности, преимущественно прежнего времени). Все ученики уже кончили сочинение и подали учителю; дело стало за одним, который, будучи, вероятно, рассеян и не в расположении в эту минуту писать о таком возвышенном предмете, только вывел на листе бумаги следующую строчку:

Се от Запада грядет царь природы...

— Что же ты не кончаешь? — сказал автору этих слов Пушкин, который прочитал написанное.

— Да ничего на ум нейдет, помоги, пожалуйста,— все уже подали, за мной остановка!

— Изволь! — И Пушкин так окончил начатое сочинение:

И изумленные народы
Не знают, что начать
Ложиться спать
Или вставать?

Тотчас по окончании последней буквы сочинение было отдано учителю, потому что товарищ Пушкина,

веря ему, не трудился даже прочитать написанного. Можно себе представить, каков был хохот при чтении сочинения двух лицеистов. [3, с. 107.]

Лицейский анекдот. Однажды император Александр, ходя по классам, спросил: «Кто здесь первый?» — «Здесь нет, Ваше императорское Величество, первых, все вторые», — отвечал Пушкин. [133, с. 326.]

Н. И. Тургенев, быв у Н. М. Карамзина и говоря о свободе, сказал: «Мы на первой станции к ней». — «Да, — подхватил молодой Пушкин, — в Черной Грязи». [14, с. 68.]

Однажды в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в темной аллее, с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерег его от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае, не обинуясь, говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь». [82, с. 57.]

На одном вечере Пушкин, еще в молодых годах, был пьян и вел разговор с одной дамою. Надобно прибавить, что эта дама была рябая. Чем-то недовольная поэтом, она сказала:

— У вас, Александр Сергеевич, в глазах двоит?

— Нет, сударыня, — отвечал он, — рябит! [96, с. 686.]

За обедом чиновник заглушал своим говором всех, и все его слушали, хотя почти слушать его было нечего, и наконец договорился до того, что начал доказывать необходимость употребления вина, как самого лучшего средства от многих болезней.

— Особенно от горячки, — заметил Пушкин.

— Да, таки и от горячки, — возразил чиновник с важностью, — вот-с извольте-ка слушать: у меня был приятель... так вот он просто нашим винцом себя от

чумы вылечил, как схватил две осьмухи, так как рукой сняло.

При этом чиновник зорко взглянул на Пушкина, как бы спрашивая: ну, что вы на это скажете? У Пушкина глаза сверкнули; удерживая смех и краснея, отвечал он:

— Быть может, но только позвольте усомниться.

— Да чего тут позволять? — возразил грубо чиновник, — что я говорю, так так, а вот вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною, оно как-то не приходится.

— Да почему же? — спросил Пушкин с достоинством.

— Да потому же, что между нами есть разница.

— Что же это доказывает?

— Да то, сударь, что вы еще молокосос.

— А, понимаю, — смеясь, заметил Пушкин. — Точно, есть разница: я молокосос, как вы говорите, а вы виносос, как я говорю.

При этом все расхохотались, противник не обиделся, а ошалел. [35, с. 176—177.]

Князь (*хозяин за ужином*): А как вам кажется это вино?

Пушкин (*запинаясь, но из вежливости*): Ничего, кажется, вино порядочное.

Князь: А поверите ли, что, тому шесть месяцев, нельзя было и в рот его брать.

Пушкин: Поверю. [29, с. 231.]

Шевырев как был слаб перед всяким сильным влиянием нравственно, так был физически слаб перед вином, и как немного охмелеет, то сейчас растает и начнет говорить о любви, о согласии, братстве и о всякого рода сладостях; сначала в молодости, и это у него выходило иногда хорошо, так что однажды Пушкин, слушая пьяного оратора, проповедующего довольно складно о любви, закричал: «Ах, Шевырев, зачем ты не всегда пьян!» [125, с. 48.]

Однажды пригласил он (А. С. Пушкин) несколько человек в тогдашний ресторан Доминика и угощал их на славу. Входит граф Завадовский и, обращаясь к Пушкину, говорит:

— Однако, Александр Сергеевич, видно туго набит у вас бумажник!

— Да ведь я богаче вас,— отвечает Пушкин,— вам приходится иной раз прожиться и ждать денег из деревень, а у меня доход постоянный — с тридцати шести букв русской азбуки. [85, с. 468.]

Когда хоронили жену Ф. Ф. Кокошкина (рожденную Архарову) и выносили ее гроб мимо его кабинета, куда отнесли лишившегося чувств Федора Федоровича, дверь вдруг отворилась, и на пороге явился он сам, с поднятыми на лоб золотыми очками, с распушенным галстуком и с носовым платком в приподнятой руке.

— Возьми меня с собою,— продекламировал он мрачным голосом вслед за уносимым гробом.

— Из всех сцен, им разыгранных, это была самая удачная,— заключил свой рассказ Сергей Львович Пушкин.

Когда я потом рассказывала это Александру Сергеевичу, он заметил, смеясь: «Соперничество по ремеслу». [60, с. 573—574.]

В 1827 году, когда мы издавали «Московский Вестник», Пушкин дал мне напечатать эпиграмму «Лук звенит, стрела трепещет».

Встретясь со мной дня через два по выходе книжки, он сказал мне: «А как бы нам не поплатиться за эпиграмму». — «Почему?» — «Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека или от белой лошади. (А. Н. Муравьев) (Пушкин назвал тогда по имени лицо, на которое написана эпиграмма) может вызвать меня на дуэль, а он не только белый человек, но и лошадь». [75, стлб. 1947.]

Однажды она (Е. К. Воронцова) прошла мимо Пушкина, не говоря ни слова, и тут же обратилась к кому-то с вопросом: «Что нынче дают в театре?» Не успел спрошенный раскрыть рот для ответа, как подскочил Пушкин и, положив руку на сердце (что он делал, особенно когда отпускал свои остроты), с улыбкою сказал: «Верную супругу, графиня». [119, с. 188.]

Сколько известно до сих пор, Пушкин был в Екатеринославе всего раз, но пробыл в этом городе около двух недель. Это случилось в мае 1820 года. Пребывание поэта в Екатеринославе продолжалось со дня приезда его в этот город на службу к И. Н. Инзову до дня отъезда его на Кавказ с семейством Раевских; точно определить числа, когда случилось то и другое событие, пока нельзя.

Невольный житель Екатеринослава, Пушкин скучал в этом городе; к скуке присоединилась болезнь, жестокая простуда, происшедшая от раннего купания в Днепре. Жил наш поэт в какой-то избенке, в обстановке самой непривлекательной... Генералу И. Н. Инзову в это время было не до Пушкина: он был занят переводом попечительства о колонистах южного края из Екатеринослава в Кишинев, куда вскоре и сам отправился.

Жизнь в глухом и бедном городе при таких обстоятельствах не могла прельщать поэта, только что покинувшего северную столицу и, по-видимому, всеми покинутого и забытого. Но, оказалось, и в пустынном тогда Екатеринославе уже знали Пушкина, как знаменитого поэта, и пребывание его в городе не только огласилось, но и стало событием для людей, восторженно к нему относившихся. Одним из тех людей был тогдашний профессор Екатеринославской духовной семинарии Андрей Степанович Понятовский, киевский уроженец и воспитанник С.-Петербургской духовной академии, кандидат III выпуска 1819 года. Понятовский был горячий любитель словесности, отличный знаток ее, и из тех преподавателей этого предмета, которые так редко встречались и встречаются. Ему было в это время всего 26 лет. Для пылкого юноши-педагога ничего не значило отыскать еще юнейшего поэта и представиться ему в качестве горячего поклонника его таланта. И вот Андрей Степанович в сопровождении богатого екатеринославского помещика (С. С.) Клевцова, надобно думать такого же энтузиаста, отправляется его отыскивать. Находят. Входят в лачужку, занимаемую поэтом, который, как заметно, был тогда в раздраженном состоянии. Пушкин встретил гостей, держа в зубах булку с икрой, а в руках стакан красного вина.

— Что вам угодно? — спросил он вошедших.

И когда последние сказали, что желали иметь честь

видеть славного писателя, то славный писатель отчеканил следующую фразу:

— Ну, теперь видели?.. До свиданья!.. [107, с. 135—136.]

Обед прошел очень весело: князь <Д. А.> Эристов был, как говорится, в ударе и сыпал остротами и анекдотами эротического пошиба. Все хохотали до упаду; один только Пушкин оставался невозмутимо серьезным и не обращал, по-видимому, никакого внимания на рассказы князя. Вдруг, в самом разгаре какого-то развеселого анекдотца, он прервал его вопросом:

— Скажи, пожалуйста, Дмитрий Алексеевич, какой ты советник: коллежский или статский?

— Я статский советник,— отвечал несколько смущенный князь,— но зачем понадобилось тебе это знать?

— Затем, что от души желаю скорее видеть тебя «действительным» статским советником,— проговорил Александр Сергеевич, кусая губы, чтобы не увлечься примером присутствовавших, оглашавших столовую дружным смехом, почин которого был сделан князем Эристовым. [130, с. 402.]

Вскоре после моего выпуска из Царскосельского лицея я встретил Пушкина <...>, который, увидав на мне лицейский мундир, подошел и спросил: «Вы, верно, только что выпущены из Лицея?» — «Только что выпущен с прикомандированием к гвардейскому полку,— ответил я.— А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?» — «Я числюсь по России»,— был ответ Пушкина. [126.]

А. С. Пушкину предлагали написать критику исторического романа г. Булгарина. Он отказался, говоря: «Чтобы критиковать книгу, надобно ее прочесть, а я на свои силы не надеюсь». [64, с. 72.]

Пушкин говаривал: «Если встречу Булгарина где-нибудь в переулке, раскланяюсь и даже иной раз поговорю с ним; на большой улице — у меня не хватает храбрости». [109, с. 274.]

И. И. Дмитриев, в одно из своих посещений Английского клуба на Тверской, заметил, что ничего не может быть страннее самого названия: Московский Английский клуб. Случившийся тут Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что у нас есть названия более еще странные:

— Какие же? — спросил Дмитриев.

— А императорское человеколюбивое общество, — отвечал поэт. [74, с. 536.]

Приезжий торопливо выпрыгнул из тарантаса, вбежал на небольшое крыльцо (станции) и закричал:

— Лошадей!..

Заглянув в три комнатки и не найдя в них никого, нетерпеливо произнес:

— Где же смотритель? Господин смотритель!..

Выглянула заспанная фигурка лысого старичка в ситцевой рубашке, с пестрыми подтяжками на брюках...

— Чего изволите беспокоиться? Лошадей нет, и вам придется обождать часов пять...

— Как нет лошадей? Давайте лошадей! Я не могу ждать. Мне время дорого!

Старичок (...) хладнокровно прошамкал:

— Я вам доложил, что лошадей нет! Ну и нет. Пожалуйте вашу подорожную.

Приезжий серьезно рассердился. Он нервно шарил в своих карманах, вынимал из них бумаги и обратно клал их. Наконец он подал что-то старичку и спросил:

— Вы же кто будете? Где смотритель?

Старичок, развертывая медленно бумагу, сказал:

— Я сам и есть смотритель... По казенной надобности, — прочитал протяжно он. Далее почему-то внимание его обратилось на фамилию проезжавшего.

— Гм!.. Господин Пушкин!.. А позвольте вас спросить, вам не родственник будет именитый наш помещик, живущий за Камой, в Спасском уезде, его превосходительство господин Мусин-Пушкин?

Приезжий, просматривая рассеянно почтовые правила, висевшие на стене, быстро повернулся на каблуке к смотрителю и внушительно продекламировал:

— Я Пушкин, но не Мусин!
В стихах весьма искусен,
И крайне неводержан,
Когда в пути задержан!

Давайте лошадей... [127, с. 3.]

Государь сказал Пушкину: «Мне бы хотелось, чтобы король нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме». — «В таком случае, — подхватил Пушкин, — попрошусь у Вашего Величества туда в дворники». [119, с. 566.]

Кажется, за год до кончины своей он (А. С. Пушкин) говорил одному из друзей своих: «Меня упрекают в изменчивости мнений. Может быть: ведь одни глупцы не переменяются». [7, с. 159.]

(Работа Дениса Давыдова о партизанской войне была отдана) на цензурный просмотр известному А. И. Михайловскому-Данилевскому. (...) Пушкин отзывался: «Это все равно, как если бы князя Потемкина послали к евнухам учиться у них обхождению с женщинами». [108, с. 228.]

В СПб. театре один старик сенатор, любовник Асенковой, аплодировал ей, тогда как она плохо играла. Пушкин, стоявший близ него, свистал. Сенатор, не узнав его, сказал: «Мальчишка, дурак!» П(ушкин) отвечал: «Ошибся, старик! Что я не мальчишка — доказательством жена моя, которая здесь сидит в ложе; что я не дурак, я — Пушкин; а что я тебе не даю пощечины, то для того, чтоб Асенкова не подумала, что я ей аплодирую». [121, с. 182.]

Известный русский писатель Иван Иванович Дмитриев однажды посетил Пушкиных, когда будущий поэт был еще маленьким мальчиком. Дмитриев стал подшучивать над оригинальным личиком Пушкина и сказал:

— Какой арапчик!

В ответ на это десятилетний Пушкин вдруг неожиданно отрезал:

— Да зато не рябчик!

Можно себе представить удивление и смущение старших. Лицо Дмитриева было обезображено рябинами, и все поняли, что мальчик подшутил над ним. [4, с. 516.]

Однажды Пушкин, гуляя по Тверскому бульвару, повстречался со своим знакомым, с которым был в ссоре.

Подгулявший N., увидя Пушкина, идущего ему навстречу, громко крикнул:

— Прочь, шестерка! Туз идет!

Всегда находчивый Александр Сергеевич ничуть не смутился при восклицании своего знакомого.

— Козырная шестерка и туза бьет...— преспокойно ответил он и продолжал путь дальше. [2, с. 8.]

Однажды Пушкин сидел в кабинете графа С. и читал про себя какую-то книгу.

Сам граф лежал на диване.

На полу, около письменного стола, играли его двое детишек.

— Саша, скажи что-нибудь экспромтом...— обращается граф к Пушкину.

Пушкин, мигом, ничуть не задумываясь, скороговоркой отвечает:

— Дитина полоумный лежит на диване.

Граф обиделся.

— Вы слишком забываетесь, Александр Сергеевич,— строго проговорил он.

— Ничуть... Но вы, кажется, не поняли меня... Я сказал:— дети на полу, умный на диване. [2, с. 10—11.]

В доме у Пушкиных, в Захарове, жила больная их родственница, молодая помешанная девушка. Полагая, что ее можно вылечить испугом, родные, проведя рукав пожарной трубы в ее окно, хотели обдать ее внезапной душой. Она действительно испугалась и выбежала из своей комнаты. В то время Пушкин возвращался с прогулки из рощи.

— Братец,— закричала помешанная,— меня принимают за пожар.

— Не за пожар, а за цветок! — отвечал Пушкин.— Ведь и цветы в саду поливают из пожарной трубы. [59, с. 375.]

П(ушкин) решительно поддался мистификации Мери-мэ, от которого я должен был выписать письменное

подтверждение, чтобы уверить П〈ушкина〉 в истине пересказанного мной ему, чему он не верил и думал, что я ошибаюсь. После этой переписки П〈ушкин〉 часто рассказывал об этом, говоря, что Мериме не одного его надул, но что этому поддался и Мицкевич.

— Значит, я позволил себя мистифицировать в хорошем обществе,— прибавлял он всякий раз. [122, с. 42.]

Кто-то, желая смутить Пушкина, спросил его в обществе:

— Какое сходство между мной и солнцем?

Поэт быстро нашелся:

— Ни на вас, ни на солнце нельзя взглянуть не поморщившись. [132, с. 219.]

Пушкин, участвуя в одном журнале, обратился письменно к издателю с просьбою выслать гонорар, следуемый ему за стихотворения.

В ответ на это издатель письменно же спрашивал: «Когда желаете получить деньги, в понедельник или во вторник, и все ли двести рублей вам прислать разом, или пока сто?»

На этот запрос последовал лаконичный ответ Пушкина:

«Понедельник лучше вторника тем, что ближе, а двести рублей лучше ста тем, что больше». [132, с. 220.]

К Пушкину, как известно, нередко обращались за отзывом разные пииты и Сафо, большею частью непризнанные, и гениальный поэт никогда не отказывал в этом. Вот случай с казанской поэтессой, девицей А. А. Наумовой.

Наумова, перешедшая уже в то время далеко за пределы девиц-подростков, сентиментальная и мечтательная, занималась тоже писанием стихов, которые она к приезду Пушкина переписала в довольно объемистую тетрадь, озаглавленную ею «Уединенная муза закамских берегов». Пушкин, много посещавший местное общество в Казани, познакомился также с Наумовой, которая как-то однажды поднесла ему для прочтения пресловутую тетрадь свою со стихами, прося его вписать что-нибудь.

Пушкин бегло посмотрел рукопись и под заглавными словами Наумовой:

Уединенная муза
Закамских берегов

быстро написал:

Ищи с умом союза,
Но не пиши стихов.

[132, с. 222.]

Благодаря своему острому языку, А. С. наживал себе часто врагов.

Во время пребывания его в Одессе жила одна вдова генерала, который начал службу с низких чинов, дослужился до важного места, хотя ничем особенно не отличился. Этот генерал в 1812 году был ранен в переносицу, причем пуля раздробила ее и вышла в щеку.

Вдова этого генерала, желая почтить память мужа, заказала на его могилу богатейший памятник и непременно желала, чтобы на нем были стихи. К кому же было обратиться, как не к Пушкину? Она же его знала. Александр Сергеевич пообещал, но не торопился исполнением.

Так проходило время, а Пушкин и не думал исполнять обещание, хотя вдова при каждой встрече не давала ему покоя.

Но вот настал день ангела генеральши. Приехал к ней и Пушкин. Хозяйка, что называется, пристала с ножом к горлу.

— Нет уж, Александр Сергеевич, теперь ни за что не отделаетесь обещаниями,— говорила она, крепко ухватив поэта за руку,— не выпущу, пока не напишете. Я все приготовила, и бумагу, и чернила: садитесь к столику и напишите.

Пушкин видит, что попал в капкан.

«Удружу же ей, распотешу ее»,— подумал поэт и сел писать. Стихи были мигом готовы, и вот именно какие:

Никто не знает, где он рос,
Но в службу поступил капралом;
Французским чем-то ранен в нос,
И умер генералом!

— Что было с ее превосходительством после того, как она сгоряча прочла стихи вслух — не знаю,— рассказывает поэт,— потому что, передав их, я счел за благо проскользнуть незамеченным к двери и уехать подобру-поздорову.

Но с этих пор генеральша оставила в покое поэта. [136, с. 9—10.]

Во время пребывания Пушкина в Оренбурге, в 1836 году, один тамошний помещик приставал к нему, чтобы он написал ему стихи в альбом. Поэт отказывался. Помещик выдумал стратегию, чтобы выманить у него несколько строк.

Он имел в своем доме хорошую баню и предложил ее к услугам дорогого гостя.

Пушкин, выходя из бани, в комнате для одеванья и отдыха нашел на столе альбом, перо и чернильницу.

Улыбнувшись шутке хозяина, он написал ему в альбом: «Пушкин был у А—ва в бане». [136, с. 12—13.]

Дельвиг, ближайший друг Пушкина, имел необыкновенную склонность всегда и везде резать правду, притом вовсе не обращая внимания на окружающую обстановку, при которой не всегда бывает удобно высказывать правду громко.

Однажды у Пушкина собрались близкие его друзья и знакомые. Выпито было изрядно. Разговор коснулся любовных походов Пушкина, и Дельвиг, между прочим, сообщил вслух якобы правду, что А. С. был в слишком интимных отношениях с одной молодой графиней, тогда как поэт относился к ней только с уважением.

— Мой девиз — резать правду! — громко закончил Дельвиг.

Пушкин становится в позу и произносит следующее:

— Бедная, несчастная правда! Скоро совершенно ее не будет существовать: ее окончательно *зарезет* Дельвиг. [136, с. 13—14.]

Однажды в приятельской беседе один знакомый Пушкину офицер, некий Кандыба, спросил его:

— Скажи, Пушкин, рифму на рак и рыба.

— Дурак Кандыба,— отвечал поэт.

— Нет, не то,— сконфузился офицер.— Ну, а рыба и рак?

— Кандыба дурак! — подтвердил Пушкин.
Картина. Общий смех. [136, с. 16.]

Известно, что в давнее время должность обер-прокурора считалась доходною, и кто получал эту должность, тот имел всегда в виду поправить свои средства. Вот экспромт по этому случаю, сказанный Пушкиным.

Сидит Пушкин у супруги обер-прокурора. Огромный кот лежит возле него на кушетке. Пушкин его гладит, кот выражает удовольствие мурлыканьем, а хозяйка пристает с просьбою сказать экспромт.

Шаловливый молодой поэт, как бы не слушая хозяйки, обратился к коту:

Кот-Васька плут, Кот-Васька вор,
Ну, словно обер-прокурор.

[136, с. 21.]

Спросили у Пушкина на одном вечере про барыню, с которой он долго разговаривал, как он ее находит, умна ли она?

— Не знаю,— отвечал Пушкин, очень строго и без желания поострить,— ведь я с ней говорил по-французски. [136, с. 22.]

Тетушка Прасковья Александровна (Осипова) сказала ему (А. С. Пушкину) однажды: «Что уж такого умного в стихах «Ах, тетушка, ах, Анна Львовна»?», а Пушкин на это ответил такой оригинальной и такой характерной для него фразой: «Надеюсь, сударыня, что мне и барону Дельвигу дозволяется не всегда быть умными». [61, с. 158.]

Однажды Пушкин между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по склонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина; наконец не выдержал и сказал ему: «А знаешь

ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек». Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его.

Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границую, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с любекскими пароходами и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый. [29, с. 168.]

〈Пушкин〉 жженку называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок. [15, с. 49.]

— Как ты здесь? — спросил 〈М. Ф.〉 Орлов у Пушкина, встретясь с ним в Киеве.

— Язык и до Киева доведет, — отвечал Пушкин.

— Берегись! Берегись, Пушкин, чтобы не услали тебя за Дунай!

— А может быть, и за *Прут!* [100, с. 214.]

Пушкин говорил про Николая Павловича: «Хорош-хорош, а на 30 лет дураков наготовил». [115, с. 158.]

Пушкин говаривал про Д. В. Давыдова: «Военные уверены, что он отличный писатель, а писатели про него думают, что он отличный генерал». [113, с. 355.]

У княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания понедельничные; на одном из них пристали к Пушкину, чтобы прочесть. В досаде он прочел «Чернь» и, кончив, с сердцем сказал: «В другой раз не станут просить». [65, с. 175.]

Это было на новосельи Смирдина. Обед был на славу: Смирдин, знаете, ничего в этом не смыслит; я 〈Н. И. Греч〉, разумеется, велел ему отсчитать в обеденный бюджет необходимую сумму и вошел в сношение с любезнейшим Дюмэ. Само собою разумеется, обед вышел на славу, прелесты! Нам с Булгариным

привелось сидеть так, что между нами сидел цензор Василий Николаевич Семенов, старый лицеист, почти однокашник Александра Сергеевича. Пушкин на этот раз был как-то особенно в ударе, болтал без умолку, острил преловко и хохотал до упаду. Вдруг, заметив, что Семенов сидит между нами, двумя журналистами, которые, правду сказать, за то, что не дают никому спуска, слынут в публике за разбойников, крикнул с противоположной стороны стола, обращаясь к Семенову: «Ты, брат Семенов, сегодня словно Христос на горе Голгофе». [65, с. 265—266.]

Пушкин спрашивал приехавшего в Москву старого товарища по Лицею про общего приятеля, а также сверстника-лицеиста (М. Л. Яковлева), отличного мимика и художника по этой части: «А как он теперь лицедействует и что представляет?» — «Петербургское наводнение». — «И что же?» — «Довольно похоже», — отвечал тот. [29, с. 331.]



Н. Н. (П. А. ВЯЗЕМСКИЙ)

За границу из двадцати человек, узнавших, что вы русский, пятнадцать спросят вас, правда ли, что в России замораживают себе носы? Дальше этого любознательность их не идет.

Н. Н. уверял одного из подобных вопросителей, что в сильные морозы от колес под каретою по снегу происходит скрип и что ловкие кучера так повертывают каретою, чтобы наигрывать или наскрипывать мелодии из разных народных песней. «Это должно быть очень забавно», — заметил тот, выпуча удивленные глаза. [29, с. 482.]

Н. Н. говорит, что он не может признать себя совершенно безупречным относительно всех заповедей, но по крайней мере соблюдал некоторые из них; например: никогда не желал дома ближнего своего, ни вола

его, ни осла его, ни всякого скота; а из прочей собственности его дело бывало всяческое, смотря по обстоятельствам. [29, с. 482.]

С N. N. была неприятность или беда, которая огорчала его. Приятель, желая успокоить его, говорил ему: «Напрасно тревожишься, это просто случай». — «Нет, — отвечал N. N., — в жизни хорошее случается, а худое сбывается». [29, с. 257.]

X. Сами признайтесь, ведь Пальмерстон не глуп; вот что он на это скажет.

N. N. (*перебивая его*). Нет, позвольте, если Пальмерстон что-нибудь скажет, то решительно не то, что вы скажете. [29, с. 231.]

N. N. говорит: «Если, сходно с поговоркою, говорится «рука руку моет», то едва ли не чаще приходится сказать «рука руку марает». [29, с. 74.]

N. N. Что ты так горячо рекомендуешь мне K.? Разве ты хорошо знаешь его?

P. Нет, но X. ручается за честность его.

N. N. А кто ручается за честность X.? [29, с. 358.]

Говорили о поколенном портрете O*** (отличающегося малорослостью), писанном живописцем Варнеком. «Ленив же должен быть художник, — сказал N. N., — не много стоило бы труда написать его и во весь рост». [29, с. 90.]

Русский, пребывающий за границу, спрашивал земляка своего, прибывшего из России: «А что делает литература наша?» — «Что сказать на это? Буду отвечать, как отвечают купчихи одного губернского города на вопрос об их здоровье: не так, чтобы так, а так, что не так, что не очень так». [29, с. 190.]

Обыкновенное действие чтений романиста X... когда он читает вслух приятелям новые повести свои, есть то, что многие из слушателей засыпают. «Это нату-

рально, говорит N. N., а вот что мудрено: как сам автор не засыпает, перечитывая их, или как не засыпал он, когда их писал!» [29, с. 364.]

N. Все же нельзя не удивляться изумительной деятельности его: посмотрите, сколько книг издал он в свет!

N. N. Нет, не издал в свет, а разве пустил по миру. [29, с. 296.]

N. N. говорит, что сочинения K.— недвижимое имущество его: никто не берет их в руки и не двигает с полки в книжных лавках. [29, с. 363.]

Греч где-то напечатал, что Булгарин в мизинце своем имеет более ума, нежели все его противники. «Жаль,— сказал N. N.,— что он в таком случае не пишет одним мизинцем своим». [29, с. 90.]

Кто-то сказал про Давыдова: «Кажется, Денис начинает выдыхаться».— «Я этого не замечаю,— возразил N. N.,— а может быть, у тебя нос залег». [29, с. 239.]

N. N. говорит: «Я ничего не имел бы против музыки *будущего*, если не заставляли бы нас слушать ее в настоящем». [29, с. 218.]

Длинный, многословный рассказчик имел привычку поминутно вставлять в речь свою: *короче сказать*. «Да попробуй хоть раз сказать *длиннее сказать*,— прервал его N. N.,— авось будет короче». [29, с. 395.]

«Как это делается,— спрашивали N. N.,— что ты постоянно жалуешься на здоровье свое, вечно скучаешь и говоришь, что ничего от жизни не ждешь, а вместе с тем умирать не хочешь и как будто смерти боишься?» — «Я никогда,— отвечал он,— и ни в каком случае не любил переезжать». [29, с. 452—453.]

Н. Н. говорил о ком-то: «Он не довольно умен, чтобы позволить себе делать глупости». О другом: «А этот недостаточно высоко поставлен, чтобы позволять себе подобные низости». [29, с. 330.]



Ф. И. ТЮТЧЕВ

Князь В. П. Мещерский, издатель газеты «Гражданин», посвятил одну из своих бесчисленных и малограмотных статей «дурному влиянию среды». «Не ему бы дурно говорить о дурном влиянии среды,— сказал Тютчев,— он забывает, что его собственные среды заедают посетителей». Князь Мещерский принимал по средам. [129, с. 22.]

Когда канцлер князь Горчаков сделал камер-юнкером Акинфьева (в жену которого был влюблен), Тютчев сказал: «Князь Горчаков походит на древних жрецов, которые золотили рога своих жертв». [129, с. 22.]

Тютчев очень страдал от болезни мочевого пузыря, и за два часа до смерти ему выпускали мочу посредством зонда. Его спросили, как он себя чувствует после операции. «Видите ли,— сказал он слабым голосом,— это подобно клевете, после которой всегда что-нибудь да остается». [129, с. 23—24.]

Тютчев утверждал, что единственная заповедь, которой французы крепко держатся, есть третья: «Не приемли имени Господа Бога твоего всуе». Для большей верности они вовсе не произносят его. [129, с. 24.]

Княгиня Трубецкая говорила без умолку по-французски при Тютчеве, и он сказал: «Полное злоупотребление иностранным языком; она никогда не посмела бы говорить столько глупостей по-русски». [129, с. 24.]

Тютчев говорил: «Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после Петра Великого — одно уголовное дело». [129, с. 25.]

Слабой стороной графа Д. Н. Блудова (председателя Государственного совета) был его характер, раздражительный и желчный. Известный остряк и поэт Ф. И. Тютчев <...> говорил про него: «Надо сознаться, что граф Блудов образец христианина: никто так, как он, не следует заповеди о забвении обид... нанесенных им самим». [129, с. 25—26.]

Возвращаясь в Россию из заграничного путешествия, Тютчев пишет жене из Варшавы: «Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины». [129, с. 27.]

Про канцлера князя Горчакова Тютчев говорит: «Он незаурядная натура и с большими достоинствами, чем можно предположить по наружности. Сливки у него на дне, молоко на поверхности». [129, с. 30.]

Однажды осенью, сообщая, что светский Петербург очень еще безлюден, Тютчев пишет: «Вернувшиеся из-за границы почти так же редки и малоосязаемы, как выходцы с того света, и, признаюсь, нельзя по совести обвинять тех, кто не возвращается, так как хотелось бы быть в их числе». [129, с. 32.]

Некую госпожу Андриан Тютчев называет: «Неутомимая, но очень утомительная». [129, с. 33.]

Описывая семейное счастье одного из своих родственников, Тютчев замечает: «Он слишком погрузился в негу своей семейной жизни и не может из нее выбраться. Он подобен мухе, увязшей в меду». [129, с. 36.]

По поводу политического адреса Московской городской думы (1869 г.) он пишет: «Всякие попытки к политическим выступлениям в России равносильны стараниям высекать огонь из куска мыла...» [129, с. 38.]

Во время предсмертной болезни поэта император Александр II, до тех пор никогда не бывавший у Тютчевых, пожелал навестить поэта. Когда об этом сказали Тютчеву, он заметил, что это приводит его в большое смущение, так как будет крайне неделикатно, если он не умрет на другой же день после царского посещения. [129, с. 39—40.]

По поводу сановников, близких императору Николаю I, оставшихся у власти и при Александре II, Ф. И. Тютчев сказал однажды, что они напоминают ему «волосы и ногти, которые продолжают расти на теле умерших еще некоторое время после их погребения в могиле». [129, с. 40.]

Некто, очень светский, был по службе своей близок к министру далеко не светскому. Вследствие положения своего, обязан он был являться иногда на обеды и вечеринки его. «Что же он там делает?» — спрашивают Ф. И. Тютчева. «Ведет себя очень прилично, — отвечает он, — как маркиз-помещик в старых французских оперетках, когда случается попасть ему на деревенский праздник: он ко всем благоприветлив, каждому скажет любезное, ласковое слово, а там, при первом удобном случае, сделает пируэт и исчезает». [29, с. 428.]



А. С. МЕНШИКОВ

Князь Меншиков, защитник Севастополя, принадлежал к числу самых ловких остряков нашего времени. Как Гомер, как Иппократ, он сделался собирательным представителем всех удачных остроумцев. Жаль, если никто из приближенных не собрал его остроумств, потому что они могли бы составить карманную скандальную историю нашего времени. Шутки его не раз навлекали на него гнев Николая и других членов императорской фамилии. Вот одна из таких.

В день бракосочетания нынешнего императора в числе торжеств назначен был и парадный развод в

Михайловском. По совершении обряда, когда все военные чины одевали верхнюю одежду, чтобы ехать в манеж: «Странное дело,— сказал кому-то кн⟨язь⟩ М⟨еншиков⟩,— не успели обвенчаться и уже думают о разводе». [63, л. 1—2.]

Простодушное народонаселение низших сословий в Москве принимало Николая с особенным восторгом, что чрезвычайно ему нравилось и за что он взыскал ее милостью, пожаловав ей в свои наместники графа Закревского, нелепое и свирепое чудовище, наводившее на Москву ужас, хуже Минотавра. Собираясь туда ехать, государь сказал Меншикову:

— Я езжу в Москву всегда с особенным удовольствием. Я люблю Москву. Там я встречаю столько преданности, усердия, веры... Уж точно, правду говорят: Святая Москва...

— Этого теперь для Москвы еще мало,— заметил к⟨нязь⟩ М⟨еншиков⟩.— Ее по всей справедливости можно назвать не только Святою, но и Великомученицею. [63, л. 7.]

Граф Закревский, вследствие какого-то несчастного случая, принял одну из тех мудрых мер, которые составляют характеристику его генерал-губернаторствования. Всесиятельнейше повелено было, чтобы все собаки в Москве ходили не иначе как в намордниках. Случилось на это время кн⟨язю⟩ М⟨еншиков⟩у быть в Москве. Возвратясь оттуда, он повстречался с ⟨П. Д.⟩ Киселевым и на вопрос, что нового в Москве:

— Ничего особенного,— отвечал.— Ах нет! Виноват. Есть новинка. Все собаки в Москве разгуливают в намордниках; только собаку Закревского я видел без намордника. [63, л. 8.]

Вариант.

Князь Меншиков и граф Закревский были издавна непримиримыми врагами. В 1849 году Закревский, как военный генерал-губернатор, дал приказ (впрочем, весьма благоразумный), чтобы все собаки в Москве, кроме ошейников, в предосторожность от укушения, имели еще намордники. В это время приехал в Москву князь Меншиков и, обедая в Английском клубе, сказал

обер-полицмейстеру Лужину: «В Москве все собаки должны быть в намордниках, как же я встретил утром собаку Закревского без намордника?» [56, с. 251.]

Князь Меншиков, пользуясь удобствами железной дороги, часто по делам своим ездил в Москву. Назначение генерал-губернатором, а потом и действия Закревского в Москве привели белокаменную в ужас.

Возвратясь оттуда, кн⟨язь⟩ М⟨еншиков⟩ повстречался с гр⟨афом⟩ Киселевым.

— Что нового? — спросил К⟨иселев⟩.

— Уж не спрашивай! Бедная Москва в осадном положении.

К⟨иселев⟩ проболтался, и ответ М⟨еншикова⟩ дошел до Николая. Г⟨осударь⟩ рассердился.

— Что ты там соврал Киселеву про Москву, — спросил у М⟨еншикова⟩ государь гневно.

— Ничего, кажется...

— Как ничего! В каком же это осадном положении ты нашел Москву?

— Ах Господи! Киселев глух и вечно недослышит. Я сказал, что Москва находится не в осадном, а в досадном положении.

Государь махнул рукой и ушел. [63, л. 9—10.]

Генерал-адъютант князь А. С. Меншиков весьма известен своими остротами. Однажды, явившись во дворец и став перед зеркалом, он спрашивал у окружающих: не велика ли борода у него? На это, такой же остряк, генерал Ермолов, отвечал ему: «Что ж, высунь язык да обрейся!» [56, с. 245.]

В 1834 году одному важному лицу подарена была трость, украшенная бриллиантами. Кто-то, говоря об этом, выразился таким образом: «Князю дали палку». — «А я бы, — сказал Меншиков, — дал ему сто палок!» [56, с. 245—246.]

Федор Павлович Вронченко, достигший чина действительного тайного советника и должности товарища

министра финансов, был вместе с этим, несмотря на свою некрасивую наружность, большой волокита: гуляя по Невскому и другим смежным улицам, он подглядывал под шляпку каждой встречной даме, заговаривал, и если незнакомки позволяли, охотно провожал их до дома. Когда Вронченко, по отъезде графа Канкрин за границу, вступил в управление министерством финансов и сделан был членом Государственного совета, князь Меншиков рассказывал:

— Шел я по Мещанской и вижу — все окна в нижних этажах домов освещены и у всех ворот множество особ женского пола. Сколько я ни ломал головы, никак не мог отгадать причины иллюминации, тем более что тогда не было никакого случая, который мог бы подать повод к народному празднику. Подойдя к одной особе, я спросил ее:

— Скажи, милая, отчего сегодня иллюминация?

— Мы радуемся,— отвечала она,— повышению Федора Павловича. [56, с. 246.]

Некоему П., в 1842 г., за поездку на Кавказ пожаловали табакерку с портретом. Кто-то находил неприличным, что портрет высокой особы будет в кармане П.

— Что ж удивительного,— сказал Меншиков,— желают видеть, что в кармане у П. [56, с. 246.]

В 1843 году военный министр князь Чернышев был отправлен с поручением на Кавказ. Думали, что государь оставит его главнокомандующим на Кавказе и что военным министром назначен будет Клейнмихель. В то время Михайловский-Данилевский, известный военный историк, заботившийся в своем труде о том, чтобы выдвинуть на первый план подвиги тех генералов, которые могли быть ему полезны, и таким образом проложить себе дорогу, приготавливал новое издание описания войны 1813—1814 годов. Это издание уже оканчивалось печатанием. Меншиков сказал: «Данилевский, жалея перепечатать книгу, пускает ее в ход без переделки; но в начале сделал примечание, что все, написанное о князе Чернышеве, относится к графу Клейнмихелю». [56, с. 247.]

Граф Канкрин в свободные минуты любил играть на скрипке, и играл очень дурно. По вечерам, перед тем временем когда подавали огни, домашние его всегда слышали, что он пилил на своей скрипке. В 1843 году Лист восхищал петербургскую публику игрой на фортепьяно. Государь после первого концерта спросил Меншикова, понравился ли ему Лист?

— Да,— отвечал тот,— Лист хорош, но, признаюсь, он мало подействовал на мою душу.

— Кто ж тебе больше нравится? — опять спросил государь.

— Мне больше нравится, когда граф Канкрин играет на скрипке. [56, с. 247—248.]

Однажды Меншиков, разговаривая с государем и видя проходящего Канкринина, сказал: «Фокусник идет».

— Какой фокусник? — спросил государь,— это министр финансов.

— Фокусник,— продолжал Меншиков.— Он держит в правой руке золото, в левой — платину: дунет в правую — ассигнации, плюнет в левую — облигации. [56, с. 248].

Во время опасной болезни Канкринина герцог Лейхтенбергский, встретившись с Меншиковым, спросил его:

— Какие известия сегодня о здоровье Канкринина?

— Очень худые,— ответил Меншиков,— ему гораздо лучше. [56, с. 248.]

Перед домом, в котором жил министр государственных имуществ Киселев, была открыта панорама Парижа. Кто-то спросил Меншикова, что это за строение?

— Это панорама,— отвечал он,— в которой Киселев показывает будущее благоденствие крестьян государственных имуществ. [56, с. 248.]

В 1848 году государь, разговаривая о том, что на Кавказе остаются семь разбойничьих аулов, которые для безопасности нашей было бы необходимо разорить, спрашивал:

— Кого бы для этого послать на Кавказ?

— Если нужно разорить,— сказал Меншиков,— то лучше всего послать графа Киселева: после государственных крестьян семь аулов разорить — ему ничего не стоит! [56, с. 248—249.]

Австрийцы дрались против венгерских мятежников, как и всегда, чрезвычайно плохо, и венгерскую кампанию окончили, можно сказать, одни русские. В память этой войны всем русским войскам, бывшим за границей и действовавшим против неприятеля, пожалована государем серебряная медаль с надписью: «С нами Бог, разумеете языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог!» Меншиков сказал: «Австрийский император роздал своим войскам медаль с надписью: «Бог с вами!» [56, с. 249.]

Гвардия наша, в венгерскую кампанию, ходила в поход на случай надобности, но остановилась в царстве Польском и западных губерниях, а когда война кончилась, возвратились в Петербург, не слышав и свиста пуль. Несмотря на это, гвардейцы ожидали, что и им раздадут медали. «Да,— сказал Меншиков,— и гвардейцы получают медаль — с надписью: «Туда и обратно!» [56, с. 249].

При освящении великолепного Кремлевского дворца в Москве, в день Светлого Воскресенья, 3-го апреля 1849 г., государь роздал многие награды участвовавшим в постройке; всех более удостоился получить вице-президент комитета для построения дворца, тайный советник барон Бодэ; ему даны: следующий чин, алмазные знаки св. Александра Невского, звание обер-камергера, медаль, осыпанная бриллиантами, 10 000 рублей серебром; сын назначен камер-юнкером, дочь — фрейлиной, а сам — председателем комитета о построении.

Когда узнали об этом в Петербурге, то князь Меншиков сказал: «Что тут удивительного? Граф Сперанский составил один свод законов, и ему дана одна награда — св. Андрея, а ведь Бодэ сколько сводов наставил». [56, с. 249—250.]

Вместо уволенного в начале 1850 года по болезни министра народного просвещения графа Уварова назна-

чен был министром бывший его товарищ князь Ширинский-Шихматов, а на его определен А. С. Норов, безногий. Ни новый министр, ни товарищ его не славились большим умом и сведениями по предмету просвещения. Князь Меншиков, узнав об этом назначении, сказал:

— И прежде просвещение тащилось у нас, как ленивая лошадь, но все-таки было на четырех ногах, а теперь стало на трех, да и то с норовом. [56, с. 250—251.]

Когда назначили, после смерти графа Вронченко, министром финансов бывшего товарища его П. Ф. Брока, то Меншиков сказал: «Видно, плохи наши финансы, когда уже прибегнули и *ко Броку* (к оброку)». [56, с. 251.]

Во флоте, во время управления морским министерством князя Меншикова, служил в ластовом экипаже один генерал, дослужившийся до этого чина, не имея никакого ордена. В один из годовых праздников все чины флота прибыли к князю для принесения поздравления, в том числе был и означенный генерал. Приближенные князя указали ему на этого генерала как на весьма редкий служебный случай, с тем чтобы вызвать князя к награде убеленного сединами старика; но Меншиков, пройдя мимо, сказал: «Поберегите эту редкость». [56, с. 251—252.]

По увольнении заболевшего графа Уварова от должности министра народного просвещения, на его место назначен был князь Ширинский-Шихматов. Князь Меншиков сказал: «Ну, теперь министерству просвещения дали шах и мат!» [56, с. 252.]

В морском ведомстве производство в чины шло в прежнее время так медленно, что генеральского чина достигали только люди пожилые, а полного генерала — весьма престарелые. Этими стариками наполнены были адмиралтейств-совет и генерал-аудиториат морского министерства, в память прежних заслуг. Естественно, что иногда в короткое время умирали, один за другим, несколько престарелых адмиралов; при одной из таких

смертностей император Николай Павлович спросил Меншикова:

— Отчего у тебя часто умирают члены адмиралтейств-совета?

— Кто же умер? — спросил в свою очередь Меншиков.

— Да вот такой-то, такой-то... — сказал государь, насчитав три или четыре адмирала.

— О, Ваше Величество, — отвечал князь, — они уже давно умерли, а в это время их только хоронили! [56, с. 253—254.]

При одном многочисленном производстве генерал-лейтенантов в следующий чин полного генерала Меншиков сказал:

— Этому можно порадоваться, таким образом многие худые наши генералы пополняют. [56, с. 254.]

Старому генералу П(ашкову) был дан орден св. Андрея Первозванного. Все удивились: за что.

— Это за службу по морскому ведомству, — сказал Меншиков, — он десять лет не сходил с судна. [56, с. 254.]

У князя Меншикова с графом Клейнмихелем была, что называется, или называлось, *контра*; по службе ли, или по другим поводам, сказать трудно. В шутках своих князь не щадил ведомства путей сообщения. Когда строились Исаакиевский собор, постоянный мост чрез Неву и Московская железная дорога, он говорил: «Достроенный собор мы не увидим, но увидят дети наши; мост мы увидим, но дети наши не увидят; а железной дороги ни мы ни дети наши не увидят». Когда же скептические пророчества его не сбылись, он при самом начале езды по железной дороге говорил: «Если Клейнмихель вызовет меня на поединок, вместо пистолета или шпаги предложу ему сесть нам обоим в вагон и прокатиться до Москвы. Увидим, кого убьет!» [29, с. 218—219.]

Он же рассказывал. «Я ездил во внутренние губернии и заболел в одном уездном городе. Плохо становилось, и я думал, что приходит мой конец. Посылаю за священником. Он исповедует меня и под конец спрашивает: «А нет ли еще какого-нибудь грешка на душе?» Отвечаю,

что, кажется, ничего не утаил и все чистосердечно высказал. Он настаивает и все с большим упорством и с каким-то таинственным значением допытывается, не умалчиваю ли чего. «Да что вы еще узнать от меня хотите?» — спросил я. «Вот, например, насчет казенных интересов...» — «Как? Казенных интересов! Что вы этим сказать хотите?» — «То есть, попросту сказать, не грешны ли вы в лихоимстве?» — «О, в этом отношении я совершенно чист, и совесть моя спокойна». Я выздоровел и поехал далее в деревню свою. На возвратном пути, проезжая через тот же уездный городок, вспомнил я священника, исповедь его и хотел добраться, почему так напирал он на своем духовном допросе. «Великодушно простите меня, Ваша Светлость: не знаю, с чего взял я, что вы офицер путей сообщения». [29, с. 219.]

Известно, что когда приехал в Россию Рубини, он еще сохранил все пленительное искусство и несравненное выражение пения своего, но голос его уже несколько изменял ему. Спрашивали князя Меншикова, почему не поедет он хоть раз в оперу, чтобы послушать Рубини. «Я слишком близорук, — отвечал он, — не разглядеть мне пения его». [29, с. 218.]

Приятель наш Лазарев женитьбою своею вошел в свойство с Талейраном. Возвратясь в Россию, он нередко говаривал: «Мой дядя Талейран». — «Не ошибаешься ли ты, любезнейший? — сказал ему князь Меншиков. — Ты, вероятно, хотел сказать: мой дядя Тамерлан». [29, с. 218.]

Денис Давыдов, говоря с (А. С.) Меншиковым о различных поприщах службы, которые сей последний проходил, сказал: «Ты, впрочем, так умно и так ловко умеешь приладить ум свой ко всему по части дипломатической, военной, морской, административной, за что ни возьмешься, что поступи ты завтра в монахи, в шесть месяцев будешь ты митрополитом». [29, с. 214.]



ПРИЛОЖЕНИЕ

Кривой К. после долгого разговора с кривым О. сказал: «Я очень люблю беседовать с ним с глазу на глаз». [29, с. 448.]

Кто-то спрашивает должника: «Когда же заплатите вы мне свой долг?» — «Я и не знал, что вы так любопытны», — отвечает тот. [29, с. 438.]

Умному К. советовали жениться на умной и любезной девице Б. И она, и он были рябые. «Что же, — отвечал он, — вы хотите, чтобы дети наши были вафли». [29, с. 395.]

⟨Некий⟩ проказник-мистификатор читает в Петербургских Ведомостях, что такой-то барин объявил о желании иметь на общих издержках попутчика в Казань. На другой день, в четыре часа поутру, наш мистификатор отправляется по означенному адресу и велит разбудить барина. Тот выходит к нему и спрашивает, что ему угодно. «А я пришел, — отвечает он, — чтобы извиниться и доложить вам, что я на вызов ваш собирался предложить вам товарищество свое, но теперь, по непредвидимым обстоятельствам, раздумал ехать с вами и остаюсь в Петербурге. Прощайте: желаю вам счастливого пути!» [29, с. 415.]

В приемной комнате одного министра (подобные комнаты могли бы часто, по французскому выражению, быть называемы *salle des pas perdus* — сколько утрачено и в них бесполезных шагов?) было много просителей, чающих движения воды и министерских милостей. Один из этих просителей особенно суетился, бегал к запертым дверям министерского кабинета, при-

слушивался, расспрашивал дежурного чиновника: скоро ли выйдет министр? Между тем часы шли своим порядком, и утро было на исходе, а наш проситель все волновался и кидался во все стороны. Кто-то из присутствующих вспомнил стихи Лермонтова и, переделывая их, сказал ему:

Отдохни немного,
Подождешь и ты.

[29, с. 431.]

В игре *секретарь* задан был вопрос: «Что может быть неприятнее полученной пощечины?» — «Две», — сказано в ответ. [29, с. 433.]

— Каким образом ушиблен у тебя, братец, глаз?

— Не образом, а подсвечником, за картами. [54, с. 438.]

Одна дама, услышав, что сало вздорожало по причине войны, вскричала: «Ах, Боже мой! неужели армии будут сражаться при свечах?» [139, л. 22.]

«Как хвалят военные вашу четверку (лошадей)!» — «А еще более *тройку*», — отвечал N., отец трех молодых и прекрасных девиц. [54, с. 432.]

Спрашивали ребенка: «Зачем ты солгал? Тебе никакой не было выгоды лгать». — «Боялся, что не поверят мне, если правду скажу». [29, с. 438.]

Кто-то говорил об одной барыне, которой он не видал: она, должно быть, лицом дурна, потому что приятели ее говорят о ней, что она очень стройна. Это напоминает слово князя Козловского. Чадолубивая мать показывала ему малолетних детей своих, которые были одно некрасивее другого, и спрашивала его: как они ему кажутся. «Они должны быть очень благонравные дети», — отвечал он. [29, с. 244.]

Вот черта из домашней жизни моего почтенного друга. Четырехлетний сынок его, вылитый отец, маленький Фальстаф III, однажды в его отсутствие повторял про себя: «Какой папенька хлаблий! как папеньку госудаль любит!» Мальчика подслушали и кликнули: «Кто тебе это сказывал, Володя?» — «Папенька», — отвечал Володя. [81, с. 160—161.]

Т*** говорит про начальника своего Б***: «Я так уверен, что он говорит противное тому, что думает, что когда скажет мне — садитесь, я сейчас за шляпу и ухожу». [29, с. 484.]

Однажды в сильную грозу убило громом несколько человек. «Жаль, сказал один: не тех бы, кого надобно». [54, с. 430.]

Старичку одному дали при отставке чин, которого с нетерпением он ожидал. Приехал к нему приятель поздравить. Обнялись, поцеловались, сели. «Малой! — закричал хозяин, — подай скорее... знаешь?» Гость думал, что подадут шампанского; но как же удивился он, когда человек подал хозяину календарь и тот начал что-то писать в нем. «Что вы это делаете?» — «Отмечаю, братец, кто приезжал ко мне с поздравлением или присылал поздравлять». — «Да для чего же это?» — «Для того, что когда умру, так бы знали, к кому послать похоронные билеты». [54, с. 324.]

Один старый эстляндский помещик, у которого спальня была подле кладовой, посылал туда по необходимости во время своей болезни кухарку: но, опасаясь, чтобы она там не съела чего-нибудь или не выпила, заставлял ее читать вслух молитвы или петь псалмы. [54, с. 310.]

Покойный П. Р., имевший некогда собственный дом в Москве в самом отдаленном и пустом месте, держал у себя большую дворную собаку. Он чрезвычайно любил ее, но принужден был продать, во-первых, потому,

что собака очень много ела, а во-вторых, по той причине, что за нее дали ему весьма хорошую цену. Стараясь утаить от своих соседей, что продал собаку, и утешить воров, выбегал он каждую ночь на двор и лаял там, что в нем ни было силы. [54, с. 311.]

— Частенько трудитесь, батюшка? — спросил врач священника на похоронах.

— По вашей милости,— отвечал с поклоном священник. [54, с. 437.]

У одной деликатной дамы вскочил на лице или на руке прыщик. Увидела, испугалась и в ту же минуту послала за доктором. Приезжает доктор, степенный, серьезный старичок, осматривает язву и требует немедленно чернил и бумаги: «Скорее, скорее! Боюсь, чтобы не зажило, пока напишу рецепт». [54, с. 436.]

Г-жа Б. не любила, когда спрашивали ее о здоровье. «Уж увольте меня от этих вопросов,— отвечала она,— у меня на это есть доктор, который ездит ко мне и которому плачу 600 р. в год». [29, с. 137.]

— Вставай-ка, брат, да пойдем с тобой в часть — опохмелиться,— говорил городской, поднимая упавшего в грязь пьянчугу.

— Нет, в часть не хочу,— отвечал тот,— а в половину, пожалуй, пойду. [47, № 55.]

Была приятельская и помещичья попойка в деревне ** губернии. Во время пиршества дом загорелся. Кто мог, опрометью выбежал. Достопочтенный А. выбежать не мог: его вынесли и положили наземь на дворе. Послышались встревоженные крики: воды, воды! Спросонья А. услышал их и несколько сиповатым голосом сказал: «Кому воды, а мне водки!» (рассказано свидетелем). [29, с. 375.]

Двое секретарей посольства, английского и австрийского, отправились на медвежью охоту в окрестностях Тосны. Два медведя были обойдены за неделю до их

приезда и, по наблюдениям стороживших их крестьян, получавших за то хорошую плату, оба преспокойно сосали лапы в своих берлогах; но в самый день приезда охотников, как будто встревоженные предчувствием ожидавшей их беды, вдруг исчезли, и охотники, проехавшие около ста верст, нашли только одни логовища да свежие следы скрывшихся мишуков. Молодые дипломаты предались ужасному негодованию и гневу, обвиняя мужиков, что медведи ушли по одной их неосторожности и что, следовательно, они должны возвратить им полученные за обход деньги. Сколько ни уверяли мужики, что они вовсе не причиною такого своеволия медведей, но дипломаты не хотели ничего слушать и требовали возвращения своих денег. К счастью, один крестьянин, посмышленнее других, вызвался поставить им «охоту» почище медвежьей — охоту на лося. «Вот извольте, отцы мои, покушать да поотдохнуть, а уж к утру вам будет лось». Охотники согласились. «А видали ли вы, мои батюшки, лосей-то?» Оказалось, что ни один из них живых лосей не видывал. «Ну так завтра же извольте увидеть, родные мои: такого представлю, что на подивленье». Поверив обещанью, горячие охотники, в нетерпеливом ожидании застрелить незнакомого им зверя, расположились ночевать в деревне, а между тем проворный крестьянин добыл где-то старую, яловую и комолую корову бурой шерсти, отвел ее в самую чащу леса и, бросив голодной яловке охапку сена, явился ни свет ни заря к охотникам с донесением, что он обошел следы молодой лосихи и что для удачной охоты должно следовать за ним тотчас, чтоб на месте быть до рассвета. Разумеется, охотники тотчас же поскакали с вожатым своим в лес и, несмотря на темноту ночи, успели разглядеть в чаще лосиху, смирно стоящую и не замечающую их появления. Думать было нечего: оба Нимврода взвели курки, прицелились и в одно время дали залп, которым бедное животное было убито наповал. Происшествие кончилось тем, что дипломаты щедро наградили своего вожатого и, сверх того, поручили ему за известную плату немедленно доставить убитую ими лосиху в Петербург на показ их приятелям. «Но вы можете угадать,— сказал Челищев в заключение своей истории,— как исполнил мужичок это поручение: лосиха-корова была съедена крестьянами моей деревни, за здравие пронизательных охотников». [46, с. 482—483.]

Один чиновник шел по Эртелеву переулку поздно вечером и видит, что сзади его кто-то догоняет.

Ему представилось, что это непременно должен быть мошенник, и он достал из кармана табакерку. Как только мошенник стал догонять его, он ему весь табак в глаза, а сам давай Бог ноги. На другой день сидит он в департаменте и слышит разговор в соседней комнате: «Представьте себе, господа... мошенники теперь завелись; вчера один в Эртелевом переулке залепил мне в глаза табаком, а сам удрал».

Он узнает голос своего сослуживца и, пораженный рассказом, спрашивает: «А разве это вы были, Иван Матвеевич?» — «Я». — «Ну так извините, пожалуйста; а я вас принял за мошенника!» — «А я вас, Борис Петрович». [47, № 22.]

Старая крестьянка, увидев, что госпожа ее, прочитав принесенное к ней письмо, хотела разорвать его и бросить, сказала: «Не рви, матушка, а отдай лучше мне: сын мой, как взяли его в солдаты, просил меня, чтобы я прислала к нему письмо; пожалуй же мне свое письмецо, так я и пошлю его к сыну». [54, с. 323.]

Зрелая девица (*гуляя по набережной в лунную ночь*). Максим, способен ли ты восхищаться луною?

Слуга. Как прикажете, Ваше Превосходительство. [29, с. 231.]

Когда бываю в русском театре (этому давно), припоминаю отзыв одного слуги. Барин, узнав, что он никогда не видал спектакля, отпустил его в театр. Любопытствуя проведать, какие вынес он впечатления, барин спросил его на другой день:

— Ну, как понравился тебе театр?

— Очень понравился, — отвечал слуга.

— А что именно и более понравилось?

— Да все: тепло, светло, люстра пребогатейшая, так и горит, народу много, ложи наполнены знатными господами и барынями, музыка играет. Праздник, да и только.

— Ну, а далее, как понравились тебе комедия и актеры?

— Да, признаться, когда занавес подняли и начали актеры разговаривать между собою про дела свои, я и слушать их не стал.

Этот простосердечный слуга едва ли не вернейший и лучший критик нашей драматургии. [29, с. 438.]

Е *** говорит, что в жизни должно решиться на одно: на жену или на наемную карету. А если иметь ту и другую, то придется сидеть одному целый день дома без жены и без кареты. [29, с. 118.]

Трусливый муж спрятался от сердитой жены под кровать. Приходит жена с палкою. «Выдь, голубчик, выдь: я с тобою разделаюсь!» — «Не выйду». — «Как смеешь не слушаться меня? Выдь, говорю тебе, приказываю». — «Не выйду! Покажу, что я хозяин в доме». [54, с. 438.]

Один женатый этимолог уверял, что в русском языке много сходства и созвучий с итальянским. Например, итальянец называет жену свою *mia cara*, а я про свою говорю *моя кара*. [29, с. 492.]

Одному знатному и богатому польскому пану пеняли, что он мало денег дает сыновьям своим на прожиток. «Довольно и того, — отвечал он, — что я дал им и свое имя, которое им не следует». [29, с. 215.]

На германских водах молодой француз ухаживал за пригоженькою русской барынею; казалось, и она не была совершенно равнодушна к заискиваниям его. Провинциальный муж ее не догадывался о том, что завязывалось под его глазами. Приятель его был прозорливее: он часто уговаривал его, не теряя времени, уехать с женою в деревню и напоминать, что пришло уже время охотиться. Он прибавлял:

Пора, пора, рога трубят!

[29, с. 432.]

Директор департамента. А ваша невеста хороша собой?

Жених-чиновник. Совсем не гнусна, Ваше Превосходительство. С позволения вашего, она несколько похожа на вашу супругу. [29, с. 297.]

Молодая девица общипывала розу и клала листочки в рот.

— Я и не знал, что вы из самоедок,— сказал ей старый волокита. [29, с. 465.]

À propos¹ в анекдотах вещь важная; à propos одного анекдота, вспомнишь другой, и часто целый вечер сыплются анекдоты, будто с неба. Вот еще один à propos.

Барышня играла на фортепьяно, а гость поместился возле и с особенным вниманием слушал музыку, смущая девушку больно пламенными взорами. Она не выдержала и, чтобы прервать это немое объяснение в любви, спросила с живостью: вы, верно, очень любите музыку?

— Нет! Терпеть не могу, а вот у меня есть брат, так тот тоже музыки терпеть не может. [63, л. 87.]

Робкий, по крайней мере на словах, молодой человек, не смея выразить устно, пытался под столом выразить ногами любовь свою соседке, уже испытанной в деле любви. «Если вы любите меня,— сказала она,— то говорите просто, а не давите мне ног, тем более что у меня на пальцах мозоли». [29, с. 466.]

Одна разгульная барыня, еще довольно свежая и благообразная, вместе с взрослою и миловидною дочерью завели трактир, а чтобы дать публике понятие о двойном их промысле, наняли квартиру в большом доме и на углу повесили вывеску:

здесь обе

дают

[63, л. 118.]

¹ кстати (фр.).

Л. Подпишитесь на выдачу какой-нибудь ежегодной суммы в пользу заведения для раскаявшихся грешниц.

М. Покорнейше благодарю! Я и так уже издержал довольно денег в пользу их до раскаяния, а теперь ни денег, ни охоты нет на новые издержки. [29, с. 297.]

В обществе, где весьма строго уважали чистоту изящного, упрекали Гоголя, что он сочинения свои испещряет грязью самой подлой и гнусной действительности.

— Может быть, я и виноват,— отвечал Гоголь,— но что же мне делать, когда я как нарочно натыкаюсь на картины, которые еще хуже моих. Вот хотя бы и вчера, иду в церковь. Конечно, в уме моем уже ничего такого, знаете, скандального не было. Пришлось идти по переулку, в котором помещался бордель. В нижнем этаже большого дома все окна настежь; летний ветер играет с красными занавесками. Бордель будто стеклянный: все видно. Женщин много; все одеты, будто в дорогу собираются: бегают, хлопчут. Посреди залы — столик, покрытый чистой белой салфеткой; на нем икона и свечи горят. Что бы это могло значить?

У самого крылечка встречаю пономаря, который уже повернул в бордель.

— Любезный! — спрашиваю,— что это у них сегодня?

— Молебен,— покойно отвечал пономарь,— едут в Нижний на ярмонку. Так надо же отслужить молебен, чтобы Господь благословил и делу успех послал. [63, л. 104.]

Слепой Молчанов (Петр Степанович) слышит однажды у себя за обедом, что на конце стола плачет его маленький внучек и что мать бранит его. Он спрашивает причину тому. «А вот капризничает,— говорит мать,— не хочет сидеть тут, где посадили его, а просится на прежнее место». — «Помилуй,— отвечает Молчанов,— да вся Россия плачет о местах. Как же ему не плакать? Посади его, куда он просится». [29, с. 119.]

Два генерала рассуждали о том, какое светило, солнце или луна, заслуживает преимущества.

Один, не колеблясь, назвал солнце, но другой глубокомысленно заметил: а я так думаю, что луне принадлежит эта честь; что за важность светить, как солнце, днем, когда и без этого светло, а ведь месяц светит ночью, когда темно. [47, № 27.]

Вскоре после бедственного пожара в балагане на Адмиралтейской площади в 1838 году кто-то сказал: «Слышно, что при этом несчастии довольно много народа сгорело».

— Чего много народа,— вмешался в разговор департаментский чиновник,— даже сгорел чиновник шестого класса. [29, с. 342.]

Один барин не имел денег, а очень хотелось ему деньги иметь. Говорят: голь на выдумки хитра. Наш барин запасся двумя или тремя подорожными для разъезда по дальним губерниям, и на этих подорожных основывал он свои денежные надежды. Приедет он в селение, по виду довольно богатое, отдаленное от большого тракта и, вероятно, не имевшее никакого понятия о почтовой гоньбе и о подорожных; пойдет к старосте, объявит, что он чиновник, присланный от правительства, велит священнику отпереть церковь и созвать мирскую сходку. Когда все соберутся, он начнет важно и громко читать подорожную: «По указу Его императорского Величества»; при этих словах он совершит крестное знамение, а за ним крестится и весь народ. Когда же дойдет до слов: *«выдавать ему столько почтовых лошадей за указные прогоны, а где оных нет, то брать из обывательских»*,— тут скажет он, что у него именно *оных-то* и нет, т. е. прогонов, т. е. денег, а потому и требовал от обывателей такую-то сумму, которую назначал он по усмотрению своему. Получив такую подать, отправляется он далее в другое селение, где повторяет ту же проделку. [29, с. 98—99.]

В одном уезде умер помещик, у которого при жизни, кроме собственной, была в распоряжении его одна только ревизская душа. Наследников не оказалось, и уездный суд распорядился по законам, которыми повелено у умирающих людей без наследников

остающееся имущество брать в казенное ведомство. Деловой канцелярист за болезнью секретаря сочинил журнальное постановление: «Такой-то помещик волею Божиею помре; наследников ни мужеска ни женска пола не явилось, и по сему душа оного помещика и зачислена в казенное ведомство». [139, л. 20.]

Тот же деловой канцелярист был однажды прикомандирован к чиновнику, отправленному в уезд по важному делу, вследствие чего оба они и поехали к назначению своему, но в пути случилось несчастье: чиновник заболел, да в тот же день и умер; что делает канцелярист? На такой экстренный случай он не имел от начальства никаких наставлений. Уведомить официально уездный суд,— о избави Бог!

Известно было ему правило, что всякая бумага должна идти по команде и что не было примера, чтоб канцеляристы вступали с присутственным местом прямо в переписку, и для того подумал, подумал и наконец примыслил: взял перо и написал: «Рапорт от такого-то чиновника в такой-то уездный суд. Сего 20 октября от приключившейся внезапно мне апоплексии я умер; а посему и прошу уездный суд сделать законное распоряжение насчет сдачи бумаг, при которых дежурствует теперь бессменно находящийся при мне канцелярист, которого рекомандую с отличнейшей стороны. За смертью же своею я рапорта не подписываю, а только для лучшей вероятности сего происшествия прикладываю казенную печать». [139, л. 20—21.]

Некоторого земского суда чиновник был послан для освидетельствования мертвого крестьянина, найденного близ большой дороги. Он донес суду: «что по освидетельствовании мертвого тела, боевых знаков на нем не оказалось, и причина смерти неизвестна, а только остается в подозрении покойникова голова, которой при нем не обнаружено». [139, л. 21—22.]

Проезжающий поколотил станционного смотрителя. Подобного рода путевые впечатления не новость. Смотритель был с амбицией. Он приехал к начальству просить дозволения подать на обидчика жалобу и взыскать с него бесчестие. Начальство старалось убедить его бросить это дело и не давать ему огласки.

«Помилуйте, Ваше Превосходительство,— возразил смотритель,— одна пощечина, конечно, в счет не идет, а несколько пощечин в сложности чего-нибудь да стоят». [29, с. 118.]

Начальник департамента. Мне кажется, я вас где-то встречал.

Молодой проситель, желающий получить место в департаменте. Так точно, Ваше Превосходительство: я иногда там бываю. [29, с. 358.]

Чиновник. Я пришел всепокорнейше просить Ваше Превосходительство уволить меня на год в заграничный отпуск.

Директор департамента. Что это вам вздумалось?

Чиновник. Да так-с; нынешний год нехорош для чиновников.

Директор. Как нехорош?

Чиновник. В нынешний год почти все табельные дни приходят на воскресенья, так что мало остается неприсутственных дней. Поэтому и желаю я воспользоваться этим годом. [29, с. 297.]

Один департаментский чиновник никак свикнуться не мог с выражением «написать записку в третьем лице». В таких случаях он докладывал начальству: «Не прикажете ли написать записку от Вашего Превосходительства в трех лицах?» [29, с. 452.]

Секретарь (это было в старину) сказал писцу: «Помилуй, братец! Сколько запятых наставил ты: что слово, то запятая? К чему это?» — «Да с запятыми-то, сударь, красивее!» [54, с. 317.]

Одно правительственное лицо писало всегда своею рукою черновые проекты по делам особенной важности. Этот грамотей, для облегчения себя, совершенно выкинул из русской азбуки неугомонное *ль* и употреблял везде одно *е*. В конце бумаги выставлял он с дюжину *ль* и, отдавая бумагу для переписыванья, говорил чиновнику: «Распоряжайтесь ими, как знаете». [29, с. 428.]

Говорили однажды о звукоподражательности, о *собрании* некоторых слов на разных языках, так что и незнающему языка можно угадать приблизительно, по слуху, к какой категории то или другое слово должно принадлежать. В Москве приезжий итальянец принимал участие в этом разговоре. Для пробы спросили его: «Что, по-вашему, должны выражать слова: любовь, дружба, друг?» — «Вероятно, что-нибудь жесткое, суровое, может быть, и бранное», — отвечал он. «А слово «телятина»?» — «О, нет сомнения, это слово ласковое, нежное, обращаемое к женщине». [29, с. 296.]

При одной престарелой любительнице словесности говорили о романах Вальтера Скотта и очень часто упоминали его имя. «Помилуйте, батюшка, сказала она: Вольтер, конечно, большой вольнодумец, а скотом, право, нельзя назвать». Эта почтенная старушка была большая охотница до книг, особливо до романов. [54, с. 315—316.]

Кто-то говорил, что он желает умереть не в надежде, что будет лучше, а что по крайней мере будет иначе. Молодой стихотворец приносит к опытному критику два стихотворения свои с просьбою сказать ему, которое из них можно напечатать. По выслушании первого стихотворения, критик не обинюясь говорит стихотворцу: печатайте второе! [29, с. 163.]

Н., известный немецкий литератор, отдал для продажи несколько экземпляров нового сатирического своего сочинения швейцару одного из здешних клубов. Через несколько времени спросил он его: «Покупают ли у тебя мои сочинения?» — «Покупают, покупают, — отвечал швейцар, — читают и смеются».

На ту пору случился в передней русский поэт... (Но имени ему здесь нет...) Услышав, или, так сказать, по-модному *подслушав* все это, отдал он также на комиссию швейцару сотню экземпляров нового своего стихотворения. Через неделю этот поэт, или рифмач, спрашивает его: много ли продал он книжек? «Ни одной, сударь, — отвечает тот с примерным простодушием, — всем показываю: читают, смеются, а не покупают». [54, с. 321.]

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В настоящем сборнике сведены вместе тексты одной только жанровой разновидности, которую можно назвать «историко-биографический анекдот». Цель такого отбора — дать читателю, наряду с представлением о жанре, представление о той или иной эпохе, о той или иной исторической личности. При этом мы старались отбирать такие анекдоты, которые вместе с конкретными (правда, далеко не всегда достоверными) историческими и биографическими подробностями содержат некую остроту, пуант, придающие рассказу литературную завершенность. Естественно, при размытости понятия о «смешном» в сборник попали и собственно анекдоты и рассказы о забавных ситуациях и beaux mots (то есть своего рода «прото-тексты», из которых, в процессе их распространения, могли родиться жанрово чистые тексты). Весь корпус вполне условно разделен на несколько хронологических циклов, внутри которых дополнительно выделяются отделы, посвященные наиболее популярным рассказчикам или героям анекдотических историй. В качестве материала для сравнения в Приложении даны тексты бытового или нравственно-сатирического звучания, не несущие примет конкретного исторического периода.

Тексты анекдотов — жанра, в высшей степени обладающего свойством анонимности, — часто даются нами во «вторичных» вариантах, отражающих не изначальную, а скорее конечную, полученную в результате длительного бытования форму. В ряде случаев приводятся несколько вариантов одного и того же сюжета. Краткая ссылка на источник дается в конце каждого фрагмента: первая цифра обозначает номер источника в Списке источников, вторая — страницу соответствующей публикации. Исчерпывающий комментарий, немислимый в издании данного типа, заменен аннотированным Словарем имен, в котором отражены сведения, помогающие понять исторический контекст анекдотических рассказов и происшествий.



СЛОВАРЬ ИМЕН¹

Апраксин В. И. (1788—1822) — полковник Кавалергардского полка, флигель-адъютант Александра I, впоследствии фаворит великого князя Константина Павловича; был известен своими карикатурами, разоблачавшими жизнь высшего общества, и дерзкими остроумными ответами.

Аракчеев А. А. (1769—1834) — генерал от инфантерии, командующий корпусом военных поселений, фаворит Александра I в последние годы его царствования.

Архаров Н. П. (1742—1814) — с 1771 г. московский обер-полицмейстер (по его имени полицейских сыщиков стали называть архаровцами). Впоследствии губернатор в Москве (1782), генерал-губернатор новгородского и тверского наместничеств и генерал-губернатор Петербурга (1797).

Багратион П. И. (1765—1812) — генерал от инфантерии, участник суворовских походов, герой войны 1812 г.

Балакирев И. А. (1699—1793) служил при Петре I, при Екатерине I — поручик лейб-гвардии Преображенского полка, при Анне Иоанновне — придворный шут.

Баратынский Е. А. (1800—1844) — поэт, близкий друг А. С. Пушкина.

Барков И. С. (ок. 1732—1768) — поэт и переводчик, широкую известность приобрел как автор стихотворений.

Башуцкий П. Я. (1771—1836) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, петербургский комендант, сенатор.

Безбородко А. А. (1747—1799) — государственный деятель. С 1775 г. назначен секретарем к Екатерине II для принятия прошений, поступающих на высочайшее имя. Долгие годы вершил дела в Коллегии иностранных дел. Павел I назначил А. А. Безбородко канцлером.

Бироны (Бирены) — Эрнест Иоганн (1690—1772), герцог Курляндский (с 1737), фаворит императрицы Анны Иоанновны, регент при императоре Иване VI (1740); Густав (1700—1746), брат предыдущего, генерал-аншеф (1740), командир Измайловского полка.

Блудов Д. Н. (1785—1864) — литератор, член общества «Арзамас», с 1832 г. министр внутренних дел, с 1837 г. министр юстиции,

¹ В словарь не вошли общеизвестные имена, а также имена эпизодических персонажей анекдотов.

позже — президент Академии наук, председатель Государственного совета и Комитета министров.

Бобринская С. А. (1799—1866) — урожденная графиня Самойлова, жена графа А. А. Бобринского.

Булгаков А. Я. (1781—1863) — московский почт-директор с 1832 г.

Булгарин Ф. В. (1789—1859) — писатель, журналист, редактор «Северного архива» (1822—1825), издатель «Северной пчелы» (1825—1859) и «Сына отечества» (1825—1839), негласный осведомитель III отделения.

Бутурлин М. П. (1786—1860) — генерал-лейтенант, нижегородский губернатор.

Виельгорский Мих. Ю. (1788—1856) — музыкальный деятель, композитор и критик.

Вильбоа Н. П. (Вильбуа) (ум. 1760) — француз, на русской службе с 1698 г., контр-адмирал.

Витт И. О. (1781—1840) — генерал-лейтенант, начальник военных поселений в Новороссии.

Войков А. Ф. (1777—1839) — журналист, издатель, поэт, член общества «Арзамас», автор сатиры «Дом сумасшедших», переводчик «Садов» Делиля.

Волконская З. А. (1789—1862) — урожденная княжна Белосельская-Белозерская, поэтесса, композитор и певица; в 1824—1829 гг. ее салон в Москве посещали многие известные писатели и артисты; с 1829 г. жила в Италии.

Волконский П. М. (1776—1852) — министр двора (1826—1852).

Воронцова Е. К. (1792—1880) — урожденная графиня Браницкая, жена М. С. Воронцова, генерал-фельдмаршала, в 1823—1844 гг. Новороссийского генерал-губернатора. Адресат нескольких лирических стихотворений А. С. Пушкина.

Вронченко Ф. П. (1780—1852) — при Канкрине товарищ министра финансов; с 1845 г. министр.

Геденов А. М. (1791—1867) — действительный тайный советник, директор Императорских театров, обер-гофмейстер.

Глинка С. Н. (1775—1847) — публицист, издатель, редактор «Русского вестника», впоследствии цензор, автор «Записок».

Голицын А. Н. (1773—1844) — обер-прокурор Синода, министр народного просвещения и духовных дел.

Голицын В. С. (1794—1861) — флигель-адъютант Александра I, в 1830-х гг. командующий центром Кавказской линии, генерал-майор, поэт и композитор-дилетант.

Голицын Д. В. (1771—1844) — участник войны 1812 г., с 1820 г. московский генерал-губернатор.

Голицын М. А. (1697—1775) — шут Анны Иоанновны.

Голицын С. Г. (1803—1868) — отставной штабс-капитан артиллерии, поэт-дилетант, композитор, рассказчик и остролов.

Горчаков А. М. (1798—1883) — дипломат; министр иностранных дел, канцлер, светлейший князь.

Греч Н. И. (1787—1867) — журналист, прозаик, издатель; представитель так называемого «торгового» направления в литературе.

Давыдов Д. В. (1784—1839) — поэт, участник войн 1812—1814 гг., польских кампаний 1830—1831 гг.

Д'Акоста Ян — выходец из Португалии; прибыл в Россию в царствование Петра I.

Дашков П. М. (1763—1807) — генерал-лейтенант, киевский военный губернатор (1798), московский губернатор, предводитель дворянства (с 1801).

Дельвиг А. А. (1798—1831) — поэт, издатель альманахов «Северные цветы», «Подснежник» и «Литературной газеты»; друг А. С. Пушкина.

Державин Г. Р. (1743—1816) — поэт, статс-секретарь Екатерины II, сенатор.

Дибич-Забалканский И. И. (1785—1831) — граф, генерал-фельдмаршал.

Дмитриев И. И. (1760—1837) — поэт, баснописец, ближайший сподвижник Н. М. Карамзина, министр юстиции (1810—1814), сенатор, известный рассказчик и остролов.

Дмитриев М. А. (1796—1866) — литератор, мемуарист, племянник И. И. Дмитриева.

Долгорукий В. Л. (ок. 1670—1739) — дипломат, член Верховного тайного совета; был послан в Курляндию с известием об избрании Анны Иоанновны и предъявил ей «ограничительные пункты», сужающие полномочия самодержавной власти; после провала замыслов «верховников» был сослан, а впоследствии казнен.

Елагин И. П. (1725—1794) — писатель и государственный деятель, сенатор, обер-гофмейстер. В 1766—1779 гг. управлял театрами. Играл значительную роль в русском масонстве.

Ермолов А. П. (1772—1861) — генерал, видный полководец и дипломат, участник суворовских походов и войн с Наполеоном, в 1816—1827 гг. главнокомандующий на Кавказе.

Загоскин М. Н. (1789—1852) — писатель, автор исторических романов «Юрий Милославский», «Рославлев» и др., драматург, директор московских театров.

Загряжская Н. К. (1747—1837) — урожденная Разумовская; ее рассказы были записаны А. С. Пушкиным.

Закревский А. А. (1786—1865) — участник Отечественной войны 1812 г., генерал-губернатор Финляндии (1823—1831), министр внутренних дел (1828—1831), с 1831 г. в отставке, позднее московский военный генерал-губернатор (1848—1859).

Засс Г. Х. (1797—1883) — командующий правым флангом Кавказской линии (с 1840).

Захаржевский Я. В. (1780—1860) — возглавлял Царскосельское дворцовое управление.

Зубов П. А. (1767—1822) — фаворит Екатерины II, участник заговора против Павла I.

Инзов И. Н. (1768—1845) — генерал-лейтенант, главный почитель и председатель Комитета об иностранных поселенцах южного края России, к канцелярии которого был прикомандирован высланный из Петербурга Пушкин (1820—1823).

Каверин П. Н. (1763—1853) — сенатор, в 1797—1802 гг. московский обер-полицмейстер.

Кампенгаузен Б. Б. (1772—1823) — единомышленник и сотрудник М. М. Сперанского, с 1811 г. государственный контролер.

Канкрин Е. Ф. (1774—1845) — с 1823 г. министр финансов.

Капнист В. В. (1758—1823) — поэт, драматург, друг Г. Р. Державина.

Кеннеди Мэри — первая камер-фрау императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I.

Киселев П. Д. (1788—1872) — генерал от инфантерии, начальник штаба 2-й армии (1819—1829), министр государственных имуществ (1838—1856), посол в Париже (1856—1862).

Киселев Ф. И. (1758—1809) — генерал, московский приятель Ф. В. Ростопчина.

Клейнмихель П. А. (1793—1869) — с 1832 г. дежурный генерал Главного штаба, с 1835 г. управляющий департаментом военных поселений, впоследствии граф, главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями.

Княжнин Я. Б. (1742—1791) — драматург, видный представитель русского классицизма.

Кокошкин Ф. Ф. (1743—1833) — драматург, директор московских театров.

Копьев А. Д. (1767—1846) — поэт, драматург, автор комедий «Лебедянская ярмарка» и «Что наше, того нам и не надо»; был известен своими мистификациями, розыгрышами, остроумными ответами.

Кологривов Д. М. (1779—1830) — гофмейстер, острослов и мистификатор.

Корнилов А. А. (1801—1856) — лицеист I выпуска, вятский губернатор.

Костров Е. И. (ок. 1750—1796) — поэт, переводчик «Песен Оссиана» Дж. Макферсона и «Илиады» Гомера.

Кочетова Е. Н. (ум. 1867) — фрейлина императрицы Марии Федоровны, племянница Е. Р. Дашковой.

Кочубей В. П. (1768—1834) — член Негласного комитета при

Александр I, министр внутренних дел, с 1827 г. председатель Государственного совета и Комитета министров.

Кочубей М. В. (1779—1844) — урожденная Васильчикова, супруга В. П. Кочубея.

Красинский В. И. (1789—1858) — генерал от кавалерии, маршал польского сейма.

Кречетников М. Н. (1729—1793) — генерал-аншеф. Принимал участие в Семилетней войне. С 1772 г. — псковский, а с 1775 г. — тверской губернатор; с 1782 г. — наместник калужский и тульский, с 1790 г. управлял тремя малороссийскими губерниями; в 1793 г. назначен главнокомандующим во вновь присоединенных областях Польши.

Кульнев Я. П. (1763—1812) — генерал, участвовал в шведской кампании 1808—1809 гг. и в турецкой кампании 1810—1811 гг., герой войны 1812 г., погиб в сражении под Клястицами.

Курута Д. Д. (1770—1838) — генерал, управляющий двором вел. кн. Константина Павловича в Варшаве.

Кутайсов И. П. (1759—1834) — фаворит Павла I, его брандмейстер и камердинер, возвысившийся до звания обер-штальмейстера двора.

Лабзин А. Ф. (1766—1825) — масон, конференц-секретарь Академии художеств.

Ланжерон А. Ф. (1763—1831) — в 1815—1823 гг. генерал-губернатор Одессы и Новороссийского края.

Лесток И. И. (1692—1767) — хирург, первый придворный лейб-медик, действительный тайный советник, главный директор медицинской канцелярии; способствовал возведению на престол императрицы Елизаветы Петровны.

Лопухин В. И. (1703—1797) — отец масона И. В. Лопухина, генерал-поручик.

Лунин М. С. (1787—1845) — подполковник Гродненского гусарского полка, член Союза благоденствия и Северного общества декабристов, публицист.

Львов С. Л. (1742—1812) — генерал от инфантерии, любимец Г. А. Потемкина, имевший особый дар, рассказывая что-нибудь, представлять это в забавном виде.

Мартынов П. П. (1782—1838) — командир лейб-гвардии Измайловского полка; в 1830-е гг. комендант Зимнего дворца.

Межаков П. А. (1786—1865) — поэт, автор сборников «Уединенный певец» (1817) и «Стихотворения» (1828). Был связан с петербургскими литературными кругами (Крылов, Державин, Гнедич); выступал как меценат и любитель искусств.

Меншиков А. С. (1787—1869) — адмирал, управляющий морским министерством, известный остро слов.

Мещерский В. П. (1845—1914) — беллетрист, публицист, издатель газеты «Гражданин».

Милонов М. В. (1792—1821) — поэт-сатирик, автор сборника «Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения» (СПб., 1819).

Мириан Ираклиевич (ум. 1834) — грузинский царевич, сенатор.

Михайловский-Данилевский А. И. (1798—1848) — военный историк, член Российской Академии, председатель военно-цензурного комитета (с 1835), генерал-майор, впоследствии генерал-лейтенант.

Молчанов П. С. (1773—1831) — переводчик, управляющий делами Комитета министров.

Мордвинов Н. С. (1754—1845) — адмирал, член Государственного совета.

Нарышкин А. Л. (1760—1826) — обер-гофмаршал, директор императорских театров, знаменитый остролов.

Нарышкин Л. А. (1733—1799) — обер-штальмейстер, приближенный Екатерины II; рассказчик, остролов, мистификатор.

Неваховичи — литературная семья, из представителей которой пользовались известностью Лев Николаевич Невахович и его двое сыновей: Александр Львович (ум. 1880) — поэт (печатался в «Северной пчеле»), переводчик французских фарсов, секретарь директора императорских театров А. М. Гедеонова, а затем и начальник репертуарной части; Михаил Львович (1817—1849) — известный карикатурист, издатель журнала «Ералаш».

Неелов С. А. (1781—1852) — поэт-эпиграмматист.

Нессельроде К. В. (1780—1862) — управляющий министерством иностранных дел в 1816—1856 гг., с 1845 г. канцлер.

Новиков Н. И. (1744—1818) — писатель, издатель, общественный деятель; в 1792 г. арестован и отправлен в заключение.

Норов А. С. (1795—1869) — участник Отечественной войны 1812 г. (под Бородином ему оторвало ногу), писатель, переводчик, член Российской Академии и Академии наук, с 1827 г. чиновник министерства внутренних дел, впоследствии товарищ министра и министр народного просвещения, сенатор, член Государственного совета.

Обольянинов П. Х. (1752—1841) — генерал-прокурор при Павле I.

Одоевский В. Ф. (1804—1869) — писатель, литературный и музыкальный критик, сенатор, камергер.

Оленин А. Н. (1763—1843) — президент Академии художеств (с 1817), директор Публичной библиотеки (с 1811), археолог и историк, член Государственного совета, с 1826 г. государственный секретарь.

Оленина В. А. (1802—1877) — дочь А. Н. и Е. М. Олениных. С детских лет видела И. А. Крылова в доме родителей и была его любимицей среди детей оленинского дома.

Оленина Е. М. (1768—1838) — урожденная Полторацкая, жена А. Н. Оленина.

Ореус И. М. (1787— ум. после 1860) — действительный тайный советник, товарищ министра финансов, сенатор.

Орлов М. Ф. (1788—1842) — генерал-майор, участник войн 1812—1814 гг., член декабристских организаций.

Остерман Ф. А. (1723—1804) — сын канцлера А. И. Остермана, действительный тайный советник, сенатор. С 1773 г. в течение нескольких лет состоял губернатором Москвы.

Павлов Н. Ф. (1803—1864) — писатель.

Педрилло Антонио — итальянец; был приглашен в Россию как придворный скрипач.

Перовский В. А. (1795—1857) — внебрачный сын А. К. Разумовского, участник войны 1812 г., в 1833—1842 гг. оренбургский военный губернатор, член Государственного совета.

Пестель И. Б. (1765—1843) — генерал, в 1806—1818 гг. сибирский генерал-губернатор, отец декабриста.

Платов М. И. (1751—1818) — генерал от кавалерии, атаман Войска Донского, участник войн с Наполеоном.

Платон (Петр Левшин) — митрополит Московский (1737—1812).

Попов В. С. (1743—1822) — статс-секретарь Екатерины II.

Потемкин-Таврический Г. А. (1739—1791) — светлейший князь, генерал-фельдмаршал; государственный деятель, фаворит Екатерины II.

Потемкина Т. Б. (1801 или 1797—1869) — урожденная княжна Голицына, жена А. М. Потемкина, известная благотворительница.

Приклонский П. Н. (ок. 1770 — после 1825) — директор московских театров.

Пушкин А. М. (1771—1825) — дальний родственник А. С. Пушкина, поэт-дилетант, переводчик Расина и Мольера, рассказчик, острослов.

Раевский Н. Н. (1771—1829) — генерал от инфантерии, участник войны 1812—1814 гг.

Разумовский К. Г. (1728—1803) — президент Императорской Академии наук (1746), гетман Украины (1747), сенатор, генерал-адъютант (1762), фельдмаршал.

Репнина В. Н. (1803—1891) — дочь Н. Г. Репнина (1778—1845), старшего брата декабриста С. Г. Волконского, в 1816—1835 гг. малороссийского военного губернатора.

Рибопьер А. И. (1781—1865) — обер-камергер, член Государственного совета.

Ростовцев Я. И. (1803—1860) — генерал-адъютант, начальник штаба, а затем начальник управления военно-учебных заведений, член главного комитета по крестьянским делам.

Ростопчин Ф. В. (1763—1826) — государственный деятель, занимавший ряд крупных постов в царствование Павла I; в войну

1812 г. — генерал-губернатор Москвы; автор художественно-публицистических брошюр, комедий; острослов, рассказчик.

Румянцев Н. П. (1754—1826) — государственный деятель и дипломат, канцлер, известный собиратель русских древностей, сын фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского.

Румянцев-Задунайский П. А. (1725—1796) — генерал-фельдмаршал, выдающийся русский полководец, герой русско-турецкой войны 1768—1774 гг.

Румянцев С. П. (1755—1836) — сын генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского, посол в Пруссии (1785—1788), Швеции (1793—1795), министр уделов (1798—1800), основатель Румянцевского музея в Петербурге.

Рылеев К. Ф. (1795—1826) — поэт, издатель альманаха «Полярная звезда», один из руководителей Северного общества декабристов.

Рылеев Н. И. (ум. 1808) — петербургский обер-полицмейстер (с 1784), впоследствии губернатор (1793—1807).

Самойлов А. Н. (1744—1814) — генерал-прокурор и государственный казначей при Екатерине II.

Сандунов С. Н. (1756—1820) — известный русский актер, владелец знаменитых сандуновских бань; его брат Н. Н. Сандунов — юрист-практик, автор работ по правоведению, преподаватель Московского университетского благородного пансиона, драматург, переводчик Шиллера.

Скобелев И. Н. (1778—1849) — генерал, комендант Петропавловской крепости (с 1839), писатель.

Сленин И. В. (1789—1836) — петербургский книгопродавец (с 1817) и издатель.

Смирнова-Россет А. О. (1809—1882) — фрейлина, приятельница А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, В. Ф. Одоевского, автор интересных мемуаров, яркая рассказчица.

Соболевский С. А. (1803—1870) — библиофил и библиограф, поэт-эпиграмматист, друг А. С. Пушкина.

Соллогуб А. И. (1784—1843) — церемониймейстер, тайный советник, отец В. А. Соллогуба.

Соллогуб В. А. (1813—1882) — писатель, автор повестей, сатирических куплетов, водевилей, мемуарист.

Сперанский М. М. (1772—1839) — государственный деятель, с 1807 г. статс-секретарь при Александре I, с 1808 г. член комиссии составления законов, с 1812 г. в ссылке, в 1816 г. назначен пензенским губернатором, в 1819 г. — генерал-губернатором Сибири, с 1821 г. в Петербурге, член Государственного совета.

Строганов А. Г. (1795—1891) — генерал-майор.

Строганов С. Г. (1794—1882) — попечитель Московского учебного округа.

Суворов А. В. (1729—1800) — великий русский полководец, генералиссимус.

Сулакадзев А. И. (1771—1830?) — антиквар, прозванный «Хлестаковым от археологии».

Сумароков А. П. (1717—1777) — драматург, баснописец, теоретик стихосложения, один из ведущих представителей русского классицизма; славился своей литературной обидчивостью.

Татищев А. Д. (1697—1760) — в царствование Анны Иоанновны устроитель придворных развлечений, с 1742 г. — генерал-полицмейстер.

Толстой В. В. (ум. 1838) — придворный, владелец крепостного театра в Царском Селе (1810-е гг.).

Толстой Ф. И. (1782—1846) — известный дуэлянт и бретер, за пребывание на Алеутских островах был прозван «Американцем».

Тормасов А. П. (1752—1819) — генерал, участник войн с Наполеоном, в 1814—1819 гг. генерал-губернатор Москвы.

Траполи В. Ф. — херсонская помещица.

Тредиаковский В. К. (1703—1768) — поэт, переводчик, теоретик стихосложения.

Трубецкой С. П. (1790—1860) — участник Отечественной войны 1812 г., капитан лейб-гвардии Преображенского полка, с января 1821 г. полковник; декабрист, член Союза спасения, Союза благоденствия, один из руководителей Северного общества.

Тургенев А. И. (1784—1845) — общественный деятель, археограф и литератор, директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий (1810—1824), с февраля 1819 г. камергер, близкий друг А. С. Пушкина.

Тургенев А. М. (1772—1868) — директор Медицинского департамента, автор мемуаров.

Тургенев Н. И. (1789—1871) — брат А. И. Тургенева, писатель, экономист, член декабристских организаций; с 1824 г. жил за границей.

Уваров С. С. (1786—1855) — литератор, член общества «Арзамас», с 1818 г. президент Академии наук, в 1834—1849 гг. министр народного просвещения.

Уваров Ф. П. (1769? — 1824) — генерал от кавалерии, участник заговора против Павла I, с 1821 г. командир гвардейского корпуса.

Хвостов А. С. (1753—1820) — поэт-сатирик, эпиграмматист.

Хвостов Д. И. (1757—1835) — писатель-графоман, член Российской Академии и «Беседы любителей российского слова», сенатор; был женат на племяннице А. В. Суворова.

Филарет (Дроздов) (1782—1867) — с 1826 г. московский митрополит.

Хитрово Е. М. (1783—1839) — дочь М. И. Кутузова, близкая знакомая А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, В. А. Жуковского, И. И. Козлова, А. И. Тургенева, В. А. Соллогуба.

Цицианов Д. Е. (1747—1835) — масон, член ложи «Немезида», основатель восстановленного в 1801 г. Московского Английского клуба, известный рассказчик.

Чаадаев П. Я. (1794—1856) — офицер л.-гв. Гусарского полка, член Союза благоденствия; мыслитель, автор «Философских писем» и «Апологии сумасшедшего».

Чаплиц Е. И. (1768—1825) — генерал-лейтенант, участник войн с Наполеоном 1805—1814 гг.

Чернышев А. И. (1786—1857) — участник Отечественной войны 1812 г., с 1826 г. граф, военный министр (1827—1852), с 1841 г. князь, генерал-адъютант, председатель Государственного совета.

Чичагов В. Я. (1726—1809) — адмирал, командир Балтийского флота, участник Шведской войны 1789—1790 гг.

Чичагов П. В. (1765—1849) — адмирал, в 1812 г. командующий Дунайской, а затем и 3-й Западной армией; после неудачной попытки отрезать Наполеону путь к отступлению за рекой Березина вышел в отставку (февраль 1813) и жил за границей.

Шаликов П. И. (1768—1852) — поэт, эпигон Карамзина, переводчик, журналист, издатель «Дамского журнала» (1823—1833).

Шаховской А. А. (1777—1846) — драматург и режиссер, член «Беседы любителей русского слова», начальник репертуарной части петербургских театров (1802—1818, 1821—1825).

Шевырев С. П. (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы, один из организаторов журналов «Московский вестник» и «Московский наблюдатель», профессор Московского университета.

Шереметев Б. П. (1652—1719) — полководец, генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I.

Шешковский С. И. (1727—1794) — чиновник Тайной канцелярии; после ее упразднения (1762) состоял при тайной экспедиции I департамента Сената в должности обер-секретаря. Фактически, на протяжении нескольких десятилетий — глава политического сыска в России.

Ширинский-Шихматов П. А. (1790—1853) — в молодости поэт и переводчик; в 1842—1850 гг. товарищ министра народного просвещения; с 1850 г. министр.

Шишков А. С. (1754—1841) — адмирал, министр народного просвещения, член Государственного совета, президент Российской Академии, писатель, автор «Записок».

Шувалов И. И. (1727—1797) — фаворит Елизаветы I, меценат, покровитель М. В. Ломоносова.

Шулеников М. С. (1778—1842) — генерал-аудитор флота, директор аудиторского департамента морского министерства (с 1836), поэт.

Шульгин Д. И. — генерал-майор, московский обер-полицмейстер в 1825—1830 гг.

Щепкин М. С. (1788—1863) — знаменитый актер, автор «Записок», рассказчик.

Эристов Д. А. (1797—1858) — лиценст II курса (1814—1820), чиновник Комиссии по составлению законов, впоследствии генерал-аудитор флота, сенатор, тайный советник; автор «Словаря о святых», эпиграмматист, сочинитель устных куплетов, зачастую весьма фривольных.

Эссен П. К. (1772—1844) — участник войн с Наполеоном, в 1830—1842 гг. петербургский генерал-губернатор.

Юсупов Н. Б. (1750—1831) — дипломат, директор императорских театров, главноначальствующий в экспедиции Кремлевского строения в Москве, сенатор, владелец Архангельского, коллекционер и меценат.

Ягужинский П. И. (1683—1736) — сподвижник Петра I; генерал-аншеф, генерал-прокурор Сената, обер-шталмейстер, кабинет-министр.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Анекдоты графа Суворова. СПб., 1865.
2. Анекдоты из жизни Пушкина. М., 1899.
3. Анекдот о Пушкине // Москвитянин, 1853, № 4.
4. Анекдоты о Пушкине // Родник, 1899.
5. Анекдоты о Суворове, изданные Е. Фуксом. СПб., 1827.
6. Анекдот о Сумарокове // Русский Архив, 1874, № 4.
7. Анненков П. В. Материалы к биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855.
8. Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861.
9. Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. М., 1830. Ч. 3.
10. Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. СПб., 1836.
11. Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. СПб., 1847. Ч. 2.
12. Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. СПб., 1847. Ч. 3.
13. Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. СПб., 1836. Ч. 4.
14. Барсуков Н. П. Жизнь и труды Погодина. СПб., 1888. Т. I.
15. [Бартенев П. И.] Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. М., 1925.
16. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб., 1841. Ч. 1.
17. Булгаков А. Я. Воспоминания о 1812 годе и вечерних беседах у графа Ф. В. Ростопчина // Старина и новизна, 1904. Кн. 7.
18. Булгарин Ф. В. Воспоминания. СПб., 1846. Ч. 1.
19. Булгарин Ф. В. Воспоминания. СПб., 1846. Ч. 2.
20. Булгарин Ф. В. Воспоминания. СПб., 1847. Ч. 3.
21. Бурнашев В. П. Воспоминания об А. Е. Измайлове // Дело, 1874, апрель.
22. Бурнашев В. П. Наши чудоеи. СПб., 1875.
23. Вацуро В. Э. Из разысканий о Пушкине // Временник пушкинской комиссии. 1972. Л., 1974.
24. Вейдемейер А. И. Двор и замечательные люди в России во второй половине XVIII столетия. СПб., 1842. Ч. 2.
25. XVIII век. СПб.— М., 1868. Ч. 2.
26. Воспоминания И. М. Снегирева // Русский Архив, 1866.

27. Воспоминания Солнцева // Русская Старина, 1876. Т. XV.
28. Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1882. Т. VII.
29. Вяземский П. А. Старая записная книжка // Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. VIII.
30. Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1884. Т. IX.
31. Вяземский П. А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988.
32. Гаевский В. П. Сочинения Кострова // Современник, 1850, № 8.
33. Герцен А. И. Полн. собр. соч. М.—Л., 1956. Т. VIII.
- 33а. Герцен А. И. Полн. собр. соч. М.—Л., 1956. Т. IX.
34. Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895.
35. Горчаков В. П. Из дневника // Москвитянин, 1850, № 2.
36. Греч Н. И. Записки о моей жизни. СПб., 1886.
37. Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930.
38. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980.
39. Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1940.
40. Дворян князя К. Г. Разумовского // Москвитянин, 1852, кн. 4.
41. Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988.
42. Дмитриев И. И. Сочинения. М., 1986.
43. Дмитриев М. А. Воспоминания о М. Н. Загоскине // Загоскин М. Н. Москва и москвичи. М., 1988.
44. Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869.
45. Древняя и новая Россия. 1877. Т. 3.
46. Жихарев С. П. Записки современника. М.—Л., 1955.
47. Забавные изречения, смехотворные анекдоты, или домашние остроумцы // Отдел рукописей ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, ф. 608, № 4435.
48. Загробные записки князя Н. С. Голицына. Из сказаний дяди его, князя Александра Николаевича // Русский Архив, 1905, № 12.
49. Записки актера Щепкина. М., 1988.
50. Записки Богуславского // Русская Старина, 1879. Т. XXVI.
51. Записки Энгельгардта // Русский вестник, 1859, № 4.
52. Из жизни русских писателей. СПб., 1882.
53. Из записной книжки А. М. Павловой // Русский Архив, 1874, № 11.
54. Измайлов А. Е. Собр. соч. в 2-х т. СПб., 1849. Ч. 2.
55. Из старой Соймоновской записной книжки // Русский Архив, 1904, № 3.
56. Исторические рассказы и анекдоты из жизни русских государей и замечательных людей XVIII и XIX столетий. СПб., 1885.
57. Исторический вестник, 1881, июнь.
58. Каратыгин П. А. Записки. СПб., 1888.
59. Каратыгин П. А. А. С. Пушкин // Русская Старина, 1879, № 6.
60. Каратыгина А. М. Воспоминания // Русская Старина, 1880, № 7.

61. Керн А. П. Воспоминания о Пушкине. М., 1988.
62. И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982.
63. Кукольник Н. В. Анекдоты // Отдел рукописей Института русской литературы, ф. 371, № 73.
64. Литературная газета, 1830, № 45.
65. Литературные кружки и салоны: 1-я половина XIX в. М., 1930.
66. Лорер Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984.
67. Лубяновский Ф. П. Воспоминания. М., 1872.
68. *Mercure de France*, 1802. Т. IX.
69. Маяк, 1840, № 4.
70. Михаил Семенович Щепкин: Жизнь и творчество. М., 1984. Т. 2.
71. Мои бредни. Записки А. П. Хвостовой // Русский Архив, 1907, № 1.
72. Моквитянин, 1842, № 2.
73. Письма А. С. Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927.
74. Письма Н. М. Языкова // Исторический вестник, 1883, № 12.
75. Погодин М. П. К предсказаниям о Пушкине // Русский Архив, 1870.
76. Подлинные анекдоты Екатерины Великой. М., 1806.
77. Полное и обстоятельное собрание подлинных исторических, любопытных, забавных и нравоучительных анекдотов четырех увеселительных шутов Балакирева, Д'Акосты, Педрилло и Кульковского. СПб., 1869.
78. Полные анекдоты о Балакиреве, бывшем шуте при дворе Петра Великого. М., 1837. Ч. 1.
79. Полные анекдоты о Балакиреве, бывшем шуте при дворе Петра Великого. М., 1837. Ч. 2.
80. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 17-ти т. М.—Л., 1949. Т. 11.
81. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 17-ти т. М.—Л., 1949. Т. 12.
- 81а. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 17-ти т. М.—Л., 1959. Т. 17.
82. Пущин И. И. Записки о Пушкине: Письма. М., 1988.
83. Пыляев М. И. Старая Москва. СПб., 1891.
84. Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб., 1889.
85. Рассказ А. Ф. Голицына-Прозоровского (по записи П. И. Бартенева) // Русский Архив, 1888. Кн. 3.
86. Рассказы А. Я. Бутковской // Исторический вестник, 1884. Т. 4.
87. Рассказы из недавней старины // Русский Архив, 1882.
88. Рассказы Е. П. Львовой // Русская Старина, 1880. Т. 28.
89. Рассказы о старине // Русский Архив, 1868.
90. Ростопчин Ф. В. Письмо к Ф. И. Киселеву // Русский Архив, 1863.
91. Ростопчин Ф. В. Письма к П. Д. Цицианову // XIX век. М., 1872.
92. Русская Старина, 1871. Т. IV.
93. Русская Старина, 1872. Т. V.

94. Русская Старина, 1872. Т. VI.
95. Русская Старина, 1874. Т. IX.
96. Русская Старина, 1874. Т. X.
97. Русская Старина, 1874. Т. XI.
98. Русская Старина, 1875. Т. XII.
99. Русская Старина, 1881. Т. 30.
100. Русская Старина, 1903, № 7.
101. Русские мемуары: 1800—1825. М., 1989.
102. Русские эксцентрики и остряки // Искра, 1859, № 40.
103. Русский Архив, 1863, № 5—6.
104. Русский Архив, 1864, № 7—8.
105. Русский Архив, 1871.
106. Русский Архив, 1874, № 3.
107. Русский Архив, 1879, № 9.
108. Русский Архив, 1880. Кн. III.
109. Русский Архив, 1882. Кн. 2.
110. Русский Архив, 1884. Кн. III.
111. Русский Архив, 1889. Кн. 2.
112. Русский Архив, 1897, № 7.
113. Русский Архив, 1899. Кн. II.
114. Русский Архив, 1901. Кн. VII.
115. Русский Архив, 1910. Кн. III.
116. Русский инвалид, 1864, 24 мая, № 116.
117. Русское чтение. СПб., 1845. Ч. 1.
118. Смирнова-Россет А. О. Автобиография. М., 1895.
119. Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989.
120. Смирнова-Россет А. О. Записки. М., 1895.
121. Снегирев И. М. Дневник // Русский Архив, 1902. Кн. III.
122. Соболевский С. А. Письмо к М. Н. Логинову // Пушкин и его современники. Вып. XXXI—XXXII.
123. Соллогуб В. А. Пережитые дни // Русский Мир, 1874, № 117.
124. Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988.
125. Соловьев С. М. Записки. Пг., 1915.
126. Старый лицеист // Новое время, 1880, № 1521.
127. Суворов П. П. Пушкин в Лашеве // Московские ведомости, 1901, № 323.
128. Толстой С. Л. Федор Толстой Американец. М., 1926.
129. Тютчевiana. Эпиграфы, афоризмы, остроуты Ф. И. Тютчева. М., 1922.
130. Фелькнер А. Из воспоминаний об А. С. Пушкине // Живописное обозрение, 1880, № 21.
131. Черты из жизни Екатерины II // Древняя и новая Россия, 1879. Т. I.
132. Шевляков М. В. Исторические лица в анекдотах. СПб., 1900.

133. Шевырев С. П. Воспоминания о Пушкине // Майков Л. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899.
134. Шишков А. С. Записки. Берлин, 1870. Т. I.
135. Штейнгель В. И. Сочинения и письма. Иркутск, 1985. Т. 1.
136. Шутки и остроты А. С. Пушкина. СПб., 1899.
137. Шутки, остроты и избранные мысли Н. В. Гоголя: Собрание анекдотов, острот, шуток, избранных мыслей и воспоминаний современников / Собрал М. С. Козман. Одесса, 1902.
138. Эпоха Николая I / Под ред. М. О. Гершензона. М., 1911.
139. Яковлев В. И. [Собрание анекдотов] // Отдел рукописей Института русской литературы АН СССР, ф. 367, оп. 2, № 448.
140. Яцевич А. Пушкинский Петербург. Л., 1935.

Е. Курганов, Н. Охотин

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Курганов. «У нас была и есть устная литература...» 3

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНЕКДОТ КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА

От Петра до Елизаветы	9
Екатерины славный век	35
Царствование Павла I	77
Александр I и его время	97
Николаевская эпоха	169
Приложение	240
От составителей	253
Словарь имен	254
Список источников	265

Р89 Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века/Вступ. ст. Е. Курганова; Сост. и примеч. Е. Курганова и Н. Охотина; Худож. Г. Клодт.— М.: Худож. лит., 1990.—270 с.

ISBN 5-280-01010-3

Краткий исторический рассказ, микроновелла, острое изречение — все эти разновидности анекдота с античных времен сопутствовали большой литературе, дополняли официальную историю, биографии «знаменитых мужей». Расцвет литературного анекдота в русской культуре приходится на конец XVIII — первую половину XIX столетия.

В этой книге впервые представлены вместе анекдоты, любовно собранные и обработанные А. С. Пушкиным, П. А. Вяземским, Денисом Давыдовым и многими другими известными деятелями эпохи.

Среди персонажей сборника — литераторы, государственные деятели, военачальники, салонные говоруны, оригиналы и чудаки — русские люди в их частном и общественном быту.

Р $\frac{4702010101-419}{028(01)-90}$ 12-90

ББК 84Р1

**РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНЕКДОТ
КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА**

Редактор

И. Парина

Художественный редактор

А. Моисеев

Технический редактор

В. Нефедова

Корректоры

О. Левина, Н. Пехтерева

ИБ № 5714

Сдано в набор 19.04.90. Подписано в печать 29.08.90. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага кн.-жури. № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28.
Усл. кр.-отт. 14,7. Уч.-изд. л. 13,06. Тираж 500 000 (1 зав. 1—250 000) экз.
Изд. № 1-3449. Заказ 279. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО
«Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати.
113054, Москва, Валуевая, 28

2р. 50к.

